

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



КОНРАД ФЕРДИНАНД МЕЙЕР

НОВЕЛЛЫ



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

83-3

PA



562/78°

В С Е М И Р Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

Г Е Р М А Н И Я

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

КОНРАДА ФЕРДИНАНДА МЕЙЕРА

CONRAD FERDINAND MEYER

1825—1897

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. Г. ГОРНФЕЛЬДА



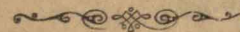
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В С Е М И Р Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

КОНРАД ФЕРДИНАНД МЕЙЕР

Н О В Е Л Л Ы

ПЕРЕВОД Е. Э. БЕРТЕЛЬСА, Л. П. КАР-
САВИНА, П. О. МОРОЗОВА, А. Н. и
Ю. Л. РИМСКИХ-КОРСАКОВЫХ. ВСТУ-
ПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ А. Г. ГОРНФЕЛЬДА



П Е Т Е Р Б У Р Г — М О С К В А . — М С М Х Х И И

Марка издательства работы художника
Ю. П. Анненкова.

Настоящее издание отпечатано в
типографии Первой Петроградской
Трудовой Артели Печатников (Мо-
ховая, 40) в количестве 5250 экз.
Главлит № 4665.—Гиз. № 4046.



614981

Н О В Е Л Л Ы

NOVELLEN

1873 — 1885 гг.

КОНРАД ФЕРДИНАНД МЕЙЕР

I

К.-Ф. Мейер принадлежит к группе больших немецких писателей второй половины XIX века, до сих пор остающихся почти совершенно неизвестными русским читателям. Показательно, что даже в последнем издании Энциклопедического Словаря Брокгауза-Ефрона К.-Ф. Мейеру уделено всего двенадцать строк, при чем характеристика его ограничивается несколько общими словами: „Отличительные черты его таланта—правдивость психологического анализа и пластичный реализм его изображений; но фантазия его нередко увлекается мрачными, ужас наводящими темами. Прозаический слог его очень оригинален, а стихотворения богаты меткими метафорами“. Эта характеристика, в равной степени подходящая и к Шекспиру, не сопровождается к тому же никакой оценкой, никаким указанием на значительность литературной личности К.-Ф. Мейера, на место, занимаемое им в судьбах немецкой литературы. Из современников К.-Ф. Мейера в России читали и ценили не только Шпильгагена и Ауэрбаха, но и Марлит и Вернера; из исторических романистов знали не только Эберса и Дана, но и Грегора Самарова; крупнейший же из представителей немецкого исторического романа остался вне поля зрения русского читателя, несмотря даже на то, что самое значительное его произведение—новелла „Святой“—давно издано в русском переводе ¹⁾. Вина русского читающего общества не велика: даже в пределах немецкой литературы надлежащая оценка К.-Ф. Мейера—равно как некоторых современных ему романистов, например, Готфрида Келлера и Отто Людвига—произведена сравнительно недавно, и в восьмидесятих годах прошлого века К. Ф. Мейер далеко не занимал того высокого места, какое занимает теперь в литературных влечениях и оценках своих соотечественников.

Сознательный мастер формы, он чрезвычайно непосредствен в своем творческом сознании, и убедительнейшее обнаружение этой непосредственности—в том медленном, нащупывающем подходе к

¹⁾ Имеется издание „Всемирной Литературы“, под ред. проф. Ф. А. Брауна, Пет. 1921.

своему призванию, которым отличается художественное развитие К.-Ф. Мейера. Он выступил необычайно поздно,—но первые его содания мало чем уступают последним.

Конрад-Фердинанд Мейер родился 11 октября 1825 года в семье зажиточного и уважаемого цюрихского „патриция“. Род его ведет начало от одного из тех старых цеховых мастеров, которыми по праву гордилась старая Германия, в значительной степени созданная их трудом, мужеством, сознанием долга. Но ближайшие предки К.-Ф. Мейера уже не были ремесленниками; среди них уже в XVIII веке были лица духовные, фабриканты, военные. Дед Мейера был полковник, принимавший деятельное участие в кровавых усобицах, вызванных в Швейцарии великой французской революцией; отец его был членом высшего государственного учреждения Цюриха—кантонального совета—и историком. Консервативный республиканец, он вынужден был надолго отойти от политической деятельности, когда бури июльской революции (1830 г.) потрясла и мирный Цюрих. „Безукоризненно честный—говорит о нем известный государствовед Блунчи—он был убежденным сторонником представительной республики и решительным противником абсолютной демократии, шумливое существо которой, так сказать, физически оскорбляло его. При этом Мейер был подлинный республиканец, простой и разумный... Особенно привлекательно в нем было соединение истинного патриотизма с чистотой и правдивостью его существа“. Устраненный от политики, он взял на себя преподавание истории в средней школе и вскоре настолько выдвинулся исследованиями по отечественной истории, что получил от цюрихского университета степень доктора honoris causa. Университетские дела вернули Фердинанда Мейера и к власти: в 1839 году приглашение на кафедру знаменитого свободомыслящего богослова и философа Д.-Ф. Штрауса вызвало не только бурю в консервативных кругах, но и настоящий государственный переворот. Радикалы были свергнуты, и Ф. Мейер, вернувшись вместе с своими единомышленниками к власти, стал во главе всего ведомства народного образования в кантоне.

Эту маленькую, но подлинную революцию К.-Ф. Мейер считал одним из самых значительнейших воспоминаний своей ранней юности. „Помню, пишет он, как взятый из Библии эпиграф одной из направленных против Штрауса брошюр—„Прогоните страуса в пустыню“—вызвал во мне вопрос: „ведь в Библии говорится о птице, а не о человеке. Не обманывают ли народ, так применяя слова Библии?“ И, как теперь, вижу, отец улыбнулся и вдохнул“...

Первоначально он, вообще, развивался быстро и в детстве удивлял окружающих неожиданными вопросами. Почти невероятно звучит сообщение его матери в письме из эпохи июльской революции: „Конрад

принимает просто необычайное участие в великой борьбе и с торжественной глубиной объявляет себя сторонником „священного дела народа“. Это, конечно, было отголоском разговоров старших: борцу за дело народа едва минуло шесть лет. Громадное влияние на его судьбу имела мать. „Она представлялась мне воплощенным идеалом женственности—рассказывает Блунчи:—Мне всегда были не по душе остроумные женщины, соперничающие с мужчинами. Но в ней я находил благороднейшие свойства высокого духа, быстрый и ясный ум, глубокую проницательность, тонкое нравственное чувство, и в то же время изящество, нежность, мягкость... Она была религиозна, но без нетерпимости и ханжества. Религия давала ей точку опоры, в которой она нуждалась тем более, что ее порывистая и увлекающаяся душа легко переходила должные границы. В ней было что-то необычайное, неподдающееся предвидению. Это ставило ее духовно выше мужа при всем его образовании. Его мораль была педантичнее. Она отваживалась на то, пред чем колебалось его мужество. В конце тяжелой жизни и в завершение долгого вдовства, она пала жертвой болезненного настроения и нервной возбудимости. Помещенная в лечебницу для душевно-больных, она утопилась“. Здесь, очевидно, источник печального недуга, впоследствии приведшего и К.-Ф. Мейера к роковому исходу.

Пока что, течение его юности тоже трудно назвать вполне безболезненным. Рано потеряв отца, умершего в конце тридцатых годов, К.-Ф. Мейер рос в теснейшем общении с матерью. Нельзя сказать, чтобы она вполне разбиралась в сыне; он был причудлив в суждениях и слаб волей, задумчив и малообщителен. Понемногу он стал ограничиваться обществом своей сестры Бетси, которая, моложе его на пять лет, всю жизнь оставалась преданнейшим его другом. В этом настроении спасением для него явился переезд на берега Женевского озера, куда—еще до окончания гимназии—отправила его мать для усвоения французского языка и для новых воспитательных влияний, которые—так надеялась она—окажутся более действительными, чем ее неровные, подчас слишком суровые, но всегда неуверенные приемы. „Мои друзья не могут упрекнуть меня в том, что я балую его; наоборот, я слишком туго затянула удила и боюсь, как бы не порвать совсем нить, связующую меня с этим неукротимым духом—писала она другу их семьи, лозанскому историку Луи Вюльмену:—Я потеряла его доверие в значительной степени потому, что слишком ревностно старалась внедрить в него мои религиозные убеждения“.

Поселившись весной 1843 года в Лозанне, юноша провел здесь год под ровным, благожелательным, глубоким влиянием Вюльмена, которого он не переставал любить и уважать всю жизнь. Дом гостеприимного Вюльмена был культурным центром, где можно было

встретить такие светила духовной жизни, как Мицкевич и Сент-Бев, Мишле и Монталамбер. Вюльмен любил юношу и направил его мысль к историческим интересам, и не внешней только благодарностью является то, что в основу самого привлекательного из созданий К.-Ф. Мейера—герцога Рогана в „Юрге Еначе“—положен образ Вюльмена. „Вы будете довольны моим герцогом Роганом,—писал он много лет спустя Вюльмену,—моделью для него отчасти были вы, если, впрочем, откинуть его легковерие, которое никогда не было вашим недостатком“.

К занятиям языками присоединилось увлечение литературой, особенно французской, где юноша жадно переходил от Мольера к Мюссе. Естественно, что с этим увлечением связались первые попытки самостоятельного творчества,—лирические стихотворения, довольно бесцветные и маловыразительные. Пробыв год в Лозанне, отдохнувший и овладевший собою юноша неожиданно вернулся домой, получил здесь в гимназии аттестат зрелости и поступил—по совету Блунчи—на юридический факультет. Выбор этот оказался неудачным: правописание не заинтересовало молодого человека, все более склонявшегося к искусству. Он занялся живописью и колебался между нею и поэзией. Мать послала несколько его стихотворений проживавшему в Штутгарте знакомому поэту Пфигеру с просьбой рассудить, какой из жизненных путей выбрать молодому художнику. Она настолько была уверена в благоприятном отзыве о стихотворениях юноши, что, не распечатав даже ответного письма, повесила его на елку, как рождественский подарок для сына. Горькая ирония судьбы была в этом радостном сюрпризе: Пфигер советовал К.-Ф. Мейеру отказаться от поэзии и заняться живописью.

Ему было уже 24 года, когда его мать писала Вюльмену: „Мой бедный сын почти все в том же состоянии, в мрачном настроении, удручен той же непобедимой неспособностью заниматься каким-либо трудом. Он всегда грустен, часто обеспокоен своим здоровьем, склонен считать себя предметом недоброжелательства окружающих и создавать себе призраки в духе своих тяжелых мыслей. Он страдает оттого, что не видит цели, не может избрать поприща, не может принять решения. Редкие прогулки, чтение, незначительные занятия—вот что заполняет его жизнь, не давая ни малейшего удовлетворения. И я могу сказать, что не жду от него ничего на этом свете“.

Мать скрывала по мере сил от сына свой печальный взгляд на него, но затаенная ее тоска не могла быть для него тайной. Несмотря на горячую взаимную любовь, не было ясности в их отношениях, не было дружеской откровенности. Друген он был с сестрой, но и она не постигала его глубокой тоски, его болезненной потребности в оди-

ночестве. Его напряженная мрачность разрешилась, наконец, настоящей нервной болезнью. Помещенный в психиатрическую лечебницу, он оправился на этот раз довольно быстро и опять поехал к своему отечески-разумному другу Вюльмену, настойчивое воздействие которого положило конец темной поре его жизни.

Прежде всего он взялся за работу: он стал преподавать историю в лозанском училище для глухонемых, он углубился в перевод „Рассказов из меровингских времен“ Огюстэна Тьерри, который, по его позднейшему признанию, воздействовал на него „в проникновении в душу народа“. Под влиянием свободно верующего, мыслящего Вюльмена, он отрешился от своих религиозных сомнений и укрепился в протестантском мировоззрении, более моральном, чем догматическом, особенно оттеняемом в К.-Ф. Мейере той враждой его к существу католицизма, в основе которой лежала только жажда моральной правды и духовной свободы в религии.

II

Это время—вторая половина пятидесятых годов—ознаменована рядом значительных событий в душевной жизни К.-Ф. Мейера. Здесь и мимолетная любовь, бездейственная, мечтательная, но тем более мучительная, и смерть матери, и влияние университетских учителей, напр., известного историка Возрождения Якоба Бурхарта, и политические волнения, потрясшие родину и еще более тесное сближение с сестрой и продолжительные путешествия—долгое пребывание в Париже, Мюнхене, Италии. Все эти впечатления копила душа, как бы уже готовая к творческому проявлению. Неясно было, однако, в какой форме осуществится оно, не выяснен окончательно даже язык, в формы которого может облечься мысль, уже напряженно искавшая воплощения. К.-Ф. Мейер писал по-прежнему немецкие стихи, уже гораздо более зрелые, но серьезно подумывал о французских работах, тем более, что французский, которым он владел в совершенстве, был законченный литературный язык, тогда как сбиходной речью К.-Ф. Мейера был с детства швейцарский диалект, и верхне-немецкая литературная речь не была в сущности его родным языком. Так шли годы. Материальная обеспеченность, дававшая возможность не заботиться о хлебе насущном, не заставляла сделать последний решительный шаг, и жизнь шла во внешней беззаботности, при глубокой внутренней напряженности и сосредоточенности. Он писал, но жил вне всякого литературного общения, не умел или не хотел сойтись с цюрихскими писателями, и повсюду наталкивался на культурную обывательщину, самоуверенную, консервативную, иногда делающую полезное дело, но неизменно тягостную для подлинного поэта. О печалью при-

ходится вспомнить, что в эти самые годы в том же Цюрихе, совсем неподалеку от К.-Ф. Мейера, жил другой большой писатель и тонкий ценитель, на суждение которого начинающий и хоть не юный уже поэт мог бы спокойно опереться — романист Готфрид Келлер. Но им не суждено было сойтись на этот раз — и К.-Ф. Мейер жил в качестве просто состоятельного обывателя „не у дел“, и меншанское высокомерие не без видимого основания поглядывало на него сверху вниз, окончательно зачислив в ряды бесполезных, хоть и безобидных неудачников.

Ему было уже 35 лет, когда растущее самосознание и ощущение некоторой значительности лирических произведений, накопившихся в его портфеле, заставили его попытать счастья в издательском мире. Он собрал десятка два стихотворений, над которыми работал последние годы и, пересмотрев и подновив их, предложил их одному издателью. Отказ лишил его мужества на несколько лет. Если бы не сестра, деятельно поддерживавшая его, подбодрявшая и хлопотавшая об издании, К.-Ф. Мейер, быть может, так и остался бы поэтом для самого себя. Поехав с его стихотворениями к штутгартским друзьям и ценителям, она добилась здесь их одобрения, добилась и того, что солидное издательство взялось выпустить в свет — за счет автора — стихотворения К.-Ф. Мейера. Наконец, в 1864 году — без имени автора — появились „Двадцать баллад“ — *Zwanzig Balladen. Von einem Schweizer*“. Впечатление, произведенное этим сборником, нельзя назвать широким; достаточно сказать, что французская рецензия Вюльмена гораздо благоприятнее и теплее немногих немецких отзывов, которыми откликнулась литературная Германия на первый сборник своего будущего классика. Но, не распространяясь в широких кругах, впечатление, произведенное „Двадцатью балладами“ оказалось кое-где и веским, и это имело чрезвычайное значение в самочувствии и дальнейшем развитии автора. Его оценили немногие изданные, его узнали и признали его соотечественники. Его стихотворения стали появляться в журналах, его поэтические вдохновения стали увереннее и определеннее. Новый ряд баллад присоединился к старым и, не удовлетворенный этой слишком сжатой формой, автор замыслил уже эпическую поэму, героем которой должен был явиться граубюнденский боец и вождь Юрг Енач. Этот замысел требовал ближайшего знакомства с местом деятельности героя. Все лето 1867 года К.-Ф. Мейер с сестрой отдали блужданиям по Граубюндену, где впервые зародилась в нем также — осуществленная через много лет — мысль о сюжете повелли „Die Richterin“. Пока в глубинах творческой души созревали эти замыслы, поэт, поселившийся теперь в Кюснахте на Цюрихском озере, в отдалении от городской суеты, работал над новым сборником стихотворений. Созданные здесь, по его собственному признанию,

„без пыла согревающего сердечного участия“ „Романсы и картины“ были, однако, первой книгой К.-Ф. Мейера, появившейся под его именем. Он знал ей цену, и в известном сборнике „Geschichte des Erstlingwerks“ („История литературного первенца“) говорил: „в ней нет отчетливых индивидуальных черт, кроме разве двух: во-первых, выросшей из внутренних юношеских борений покорности судьбе, тяготеющей к одиночеству и, во-вторых, закаленного в продолжительных исторических занятиях чутья справедливости, заложенного еще в отеческой крови“. Нетрудно видеть отчетливый отпечаток этих черт и на дальнейших, более значительных, созданиях К.-Ф. Мейера, но он в самом деле еще чувствовал себя неопределенным, неустоявшимся, колеблющимся. Старый холостяк, он не создал своего домашнего очага, литературный дилетант, он не сосредоточился на своем творчестве, междуплеменный швейцарец, он делил свои симпатии между различными народами и, будучи уже немецким поэтом, все тяготел к французскому творчеству. Он созрел медленно и неровно; нужен был решительный натиск судеб, суровые толчки и удары, чтобы достигли закрепления и обнаружения отдельные ступени этого медлительного движения к законченности в личности и ее жизненных проявлениях. Одним из таких событий было появление в печати, другим — и, быть может, более значительным — франко-прусская война. Под ее впечатлениями К.-Ф. Мейер окончательно сознал себя немцем. „1870 год был для меня критическим годом, — говорит он в своей автобиографии: — великая война, расщепившая и возбудившая у нас в Швейцарии души человеческие, решила борьбу также в моей груди. Охваченный незаметно назревавшим чувством племенной связи я, под влиянием этого всемирно-исторического события, сбросил с себя французскую оболочку — и в потребности дать выражение этому перелому в моем существе, написал „Последние дни Гуттена“.

Если к этому перелому прибавить еще одно событие — в 1875 году, на пятьдесят первом году жизни, он женился, — то здесь, можно сказать, заканчивается внешняя биография К.-Ф. Мейера. С тех пор как он стал писателем, история его жизни есть история его книг. Годы развития тянулись долго, но законченный мастер, мыслящий, образованный, глубоко чувствующий жизнь, явился плодом их. Отныне существование его заполнено его работами, его семейной жизнью, путешествиями, друзьями. На этом перевале жизненного пути он — в письме к любопытствующей приятельнице — бросил общий взгляд на свое прошлое и настоящее. „Пронесшая из старинной цюрихской семьи, — рассказывает он здесь, — я рано потерял отца, состоявшего на государственной службе, и вырос под рукой чрезвычайно умной и милой, но чрезвычайно нежной матери довольно беспорядочно, был довольно слаб здоровьем, которое и до сих пор не окрепло, много странствовал,

особенно по Италии, много занимался—особенно древними языками... После смерти матери я жил вместе с совершенно не похожей на меня, но бесконечно дорогой мне сестрой в течение ряда лет в загородном доме на Цюрихском озере... И я не „цеховой писатель“. Для этого у меня нет честолюбия (я скорее боюсь известности, чем ищу ее), ни рутины, ни живых моделей—ибо я склонен к отшельничеству. Охотнее всего я погружаюсь в эпохи прошлого, заблуждения коих (а вместе с тем вековые, всему человечеству присущие заблуждения) служат для меня предметом легкой иронии, давая мне возможность изображать вечно-человеческое в более художественной форме, чем это позволила бы мне грубая реальность современных сюжетов“.

Эти отчетливые формулы самопознания отчеканились уже в разгаре творческой деятельности. Долго нарастало в К.-Ф. Мейере ощущение его подлинного назначения; лишь в „Гуттене“ он нашел себя. Это первое его значительное произведение показало ему его эпический дар, его способность к психологическому углублению, его тяготение к сосредоточению большого всемирного исторического содержания в сжатой небольшой картине. Историческая новелла естественно стала той литературной формой, к которой стремилось дарование К.-Ф. Мейера. Но, прежде чем перейти к ней, он отдал еще раз дань эпической поэме, осуществив в стихотворном рассказе свой старый замысел—идиллическую легенду „Энгельберг“.

Поэма „Последние дни Гуттена“, где пред мыслью великого реформационного борца проходит вся его жизнь, может быть рассматривается как некоторый предвестник дальнейших произведений К.-Ф. Мейера: и в них он всего охотнее обращается к эпохе возрождения и реформации, и в них дает широкому историческому содержанию сжатую, законченную форму. Первым из таких произведений была историческая повесть „Амулет“ (1873), действие которой происходит в Варфоломеевскую ночь, вторым (1874) роман „Георг Енач“¹⁾, который впоследствии—хотя строгие ценители ставят его ниже некоторых других сочинений К.-Ф. Мейера,—сделался, однако, самым популярным из них (в 1910 году вышло сотое издание). Оно и понятно: роман изображает маленькую немецкую²⁾ область в момент напряженной борьбы за свою политическую самостоятельность и религиозную свободу. Другие произведения К.-Ф. Мейера требуют от читателя, быть может, более утонченного вкуса, более изысканного

¹⁾ Так назывался роман лишь в первом издании; в дальнейшем он, согласно местному народному произношению, носит название „Юрг Енач“.

²⁾ Собственно немецко-итальянскую: через Граубюнден проходит граница, разделяющая племена германские и романские, и население его очень смешано.

внимания к форме. Здесь же содержание так сильно, так проникнуто напряженным патристическим настроением, что оно естественно зажигает читателя, всегда легко откликающегося на мотив любви к угнетенной родине и ее героического освобождения. Любовь к родине, при всем своем эстетическом безразличии, ставившем его вне политической жизни его современности, умел чувствовать и К.-Ф. Мейер. В своей автобиографии он отмечает, что в эпоху внутренней борьбы за объединение Швейцарии (в начале XIX века) его дед по матери был сторонником объединения, а дед по отцу—противником, и „этому слиянию в моих жилах крови двух резко противостоящих политических противников я приписываю, — говорит он, — мою политическую беспартийность“. Однако, он гордится тем, что этот дед, полковник Мейер, защищал родной Цюрих, когда его обстреливали войска Гельветийской республики. Он и вообще далеко не так беспартиен, как ему кажется,—так, например, он часто и определенно выступает против политики католичества, но он чувствует глубоко, и чувства его не получают словесного, прозаического, крикливого выражения; их надо разыскивать в скупости его признаний и сухости его произведений, но не пожалеет тот, кому удастся в глубинах этих произведений войти в соприкосновение с благородной личностью поэта.

III

Писал он, вообще, медленно, тщательно обрабатывая свои произведения, и лишь в 1878 году за романом последовала повесть „Выстрел с церковной кафедры“, а в 1880 году—большая новелла „Святой“ (Изд. „Всемирной Литературы“), которую многие считают лучшим произведением К.-Ф. Мейера. Здесь с удивительной силой и выразительностью нарисованы образы короля английского Генриха II и его канцлера Фомы Бекета, которого католическая церковь, признав сперва святым мучеником, впоследствии объявила чуть не преступником. С чрезвычайным искусством оправдана эта двойственность в рассказе простого человека, швейцарского оружейника, который, будучи на службе в Англии, сам участвовал в роковых столкновениях столь больших и сложных людей, какими был св. Томас Кентерберийский и его повелитель. Рассказчик с увлечением передает события, не понимая их смысла, но читателю понемногу раскрывается этот смысл и тайники человеческой сложности, к концу рассказа приводящие его в содрогание. За „Святым“ следовал новый сборник стихов, поставивший К.-Ф. Мейера в первые ряды тогдашних немецких лириков. Частью эти стихотворения, исторические по содержанию, лирические по тону, приближаются к историческим повестям К.-Ф. Мейера. В немецкую балладу, после бессмертных баллад Шиллера и его бли-

жайших преемников, постепенно понизившуюся до поверхностного стихотворного пересказа исторического или мифического анекдота, баллады К.-Ф. Мейера внесли новую серьезность и подлинную художественность. Больше всего он был именно художником, для которого миром его творческих интересов, миром его эстетических созданий замыкался мир человеческих страстей и столкновений. Оттого он с вдумчивым вниманием, но и с ровным бесстрашием отражал необъятную громаду всемирно-исторической жизни в глубинах своей души и в своих произведениях. Чистая лирика его сдержанна; он не кается, не исповедуется. Но нежно, как бы нехотя, он касается сокровенных струн своей души—и делает это так искусно, что ответно звучит им душа читателя и чувствует свои жизненные испытания выраженными в музыкальном стихе этого чужака, этого уединенного аристократа, сытого и богатого швейцарца. Ибо одною жизнью живут наши души в их общечеловеческих глубинах, об одном говорят нам всегда большие писатели.

В новом издании „Новелл“ (1882) к ним присоединились два небольших, но очень своеобразных и тонких рассказа: переданный от имени знаменитого гуманиста Поджио „Плавт в женском монастыре“ и „Паж Густава Адольфа“ (русс. пер. 1912 г., изд. Орфенова)—история любящей шведского короля девушки, в качестве пажа последовавшей за ним в роковой для обоих поход. Тонким знатоком человеческой души показал себя К.-Ф. Мейер в появившейся в следующем году новелле „Страдания одного мальчика“; пред стареющим Людовиком XIV в будуаре его возлюбленной г-жи Ментенон рассказывает здесь врач короля Фагон, как довели до гибели отцы иезуиты прелестного юношу—вверенного их воспитанию сына маршала Вуффлера, мстя отцу за то, что он разоблачил одну из гнусных проделок. Как здесь рассказчиком является умный доктор Фагон, в „Святом“—арбалетчик Ганс, в „Плавте“—гуманист Поджио, так и в следующей новелле Мейера „Женитьба монаха“ (1884) рассказ вложен в уста рассказчика, издающего хорошо ему известные события пред слушателями. На этот раз рассказчиком является сам Данте при дворе веронского тирана Кангранде,—и удивительным очарованием обвевает эта повесть монаха, который изменил своему истинному призванию не потому, что разуверился в нем, но ради другого, под влиянием чужой воли.

К.-Ф. Мейер был счастлив в эти годы напряженного творчества радостной семейной жизни, дружеского общения с людьми; с детства слабый, он был теперь здоров, независим в обществе, известен в литературе. На вопрос приятеля,—его будущего биографа, Фрея, как он поживает, он ответил: „Я доволен Богом и миром“. В конце 1879 года у него родилась дочь; в начале 1880 г. цюрихский университет, в воздаяние его высоких художественных заслуг, тесно связанных

с наукой истории, увенчал его степенью доктора философии honoris causa, и Мейер с умилением вспоминал в благодарственном ответе, что той же чести своевременно удостоен был и его отец.

Особое место в его жизненном обиходе занимали дружеские отношения. К.-Ф. Мейер охотно завязывал и поддерживал дружественные связи. По видимости, оно как будто плохо мирится с его сосредоточенностью и склонностью к уединению, но действительность говорит за себя: у отшельника К.-Ф. Мейера, любившего одиночество и знавшего его цену, было много друзей, связь с которыми имела свою значительность в его духовной жизни; без указания на их вереницу был бы неполон жизненный образ поэта. Еще в молодости, вскоре после сближения с Вольменом, сыгравшим такую роль в творческом пути К.-Ф. Мейера, он в Италии познакомился с известным ее государственным деятелем бароном Беттино Риказоли (1809—1880), образ которого отразился на некоторых созданиях К.-Ф. Мейера. Действенная сила привлекала поэта-мыслителя к диктатору Тосканы; какое-то государственное величие привлекало его и к его соседу, польскому графу Станиславу Платеру, известному создателю музея польской революции в Рапперсвиле, на берегу Цюрихского озера. Едва поселившись во вновь приобретенном имении, он писал отсюда приятелю: „Здесь в Кильхберге мой сосед—граф Платер, которого поляки определили своим представителем при государях и народах, и жена которого, бывшая морганатическая супруга короля бельгийского, артистка и писательница Каролина Бауэр. Он почти король, она почти королева, я почти поэт—дело пойдет на лад“.

Давно уже сошелся и долго поддерживал К.-Ф. Мейер дружбу с супругами Вилле, привлекавшими его своей даровитостью и неизменной одухотворенностью всего их существа; муж Франсуа Вилле, остроумный журналист и политический деятель (отмеченный еще в „Германии“ Гейне), играл роль в общественном движении сороковых годов, жена, заметная романистка, тонкая, пламенная натура, сумела после их переселения на Цюрихское побережье объединить вокруг себя кружок интереснейших людей, среди которых выделялись „три Готфрида“—политик Кинкель, эстетик Земпер и поэт Келлер.

Отношения К.-Ф. Мейера и Готфрида Келлера до сих пор болезненно задевают немецких исследователей. При известном различии общественного положения, в их судьбе было нечто общее; они были земляки, они вышли из одного класса, они оба долго не могли нащупать свое призвание, поздно выступили и поздно были признаны. Они могли быть обогащены взаимным пониманием, могли найти поддержку во взаимной близости, но этого не было: были благопристойные отношения, было известное уважение и понимание, но было и нечто препятствующее ясной, дружественной близости; это был более

всего характер Готфрида Келлера: его неровность, его подозрительность, его угрюмое брюзжание, нередко под влиянием винных паров доходившее до неистовых взрывов беспричинного раздражения. На расстоянии он мог быть хорошим другом; в непосредственной близости он был невыносим. И когда К.-Ф. Мейер, после кончины Готфрида Келлера, отозвался на эту личную и общественную утрату скорбным воспоминанием, он счел нужным, прежде всего, отметить отсутствие личной близости. В очень хороших отношениях он был с романисткой Луизой фон Франсуа (1817—1893), и его письма к ней—быть может, лучшая часть в его богатой переписке.

Так жил он в богато обставленной загородной усадьбе, спокойный и благополучный, всецело отдавшись своим художественным и научным интересам. Он откликался на общественные и литературные явления—ряд ценных статей остался памятником его умственной отзывчивости. В художественных его исканиях главнейшим средоточием его внимания являются попрежнему извилистые пути человеческого просветления и роковые бури в душе сильных людей. В „Правительнице“¹⁾ (1885)—женщина мужественная и мощная душой, облеченная высоким званием и с высоким умом, достоинством и совестью творящая суд в целой округе, скрывает в глубине души великий грех, из которого проистекают тяжкие страдания для ее дочери. В „Искушении Пескары“ К.-Ф. Мейер еще раз вернулся к всегда занимавшей его теме о великом соблазне, охватывающем подчас сильные души—и именно тогда интересном для художника, когда ему противостоит подлинная сила большого, хоть и не всемогущего духа.

Новелле „Анджела Борджа“ (1891) суждено было быть последним произведением К.-Ф. Мейера, хотя после ее создания он прожил еще около восьми лет. Эпоха, в которой он черпал лучшие свои вдохновения—итальянское Возрождение—вновь прочувствованная и воспроизведенная в ряде колоритнейших образов, явилась фоном, на котором разворачивается трогательная повесть духовного возрождения язычески-безоглядной юношеской души и нежной любви, сковавшей прекрасную девушку с несчастным слепцом.

Новыми вереницами теснились образы в творческом воображении, и новые замыслы занимали К.-Ф. Мейера. Давно уже занимал его „Династ“—история графа Тоггенбурга, разыгравшаяся в первой половине XV века, на фоне Констанцского собора; Фридрих II Гогенштауфен должен был явиться героем другой новеллы; предлагались „Решение госпожи Лауры“ (от этого замысла сохранилась прекрасная характери-

¹⁾ Немецкое заглавие „Die Richterin“ не поддается точному переводу, так как в русском языке нет слова, обозначающего женщину, исполняющую обязанности судьи.

стика Петрарки). „Дже-Исидор“ и т. д. Трагические сюжеты его не вели тяготели к драматической форме, и он не раз колебался в окончательном выборе формы. „Анджела Борджа“ была начата в виде драмы; в той же форме замышлен был „Петр Винеа“ (Фридрих II). Поэта тяготили эти колебания, напряженная работа над „Анджелой Борджа“, в которой подчас и заметны следы этой напряженности, грозила исчерпать его духовные силы: слишком хрупка была его душевная организация, слишком тяжело наследие больной матери. Давно уже поэт жаловался на многоразличные недомогания: летом 1892 года он почувствовал вдруг полное изнеможение, нарастающее раздражение, невозможность встречаться с людьми, неведомый страх. Временами он был близок к самоубийству; в одно из роковых мгновений он сжег почти все свои рукописи—и потеря эта безмерно велика, так как он издавна, не вынося „излишнего“ любопытства исследователей, углубляющихся в первоначальные замыслы и очерки, имел обыкновение, после напечатания своих вещей, уничтожать все подготовительные работы; таким образом, в уничтоженных рукописях могли заключаться только отрывки и части задуманных, находящихся в работе, быть может, уже почти законченных произведений. Наконец, бредовые идеи окончательно ослили ясную мысль поэта. Семье пришлось расстаться с ним. В больнице для умалишенных он пробыл больше года и вышел из нее в сентябре 1893 года утихомирленным, но неизлеченным душевным инвалидом. В этом состоянии он прожил дома еще шесть лет. Он писал еще иногда стихи, значительные по какому-то вескому содержанию, видимо владевшему его темной мыслью, но не находящему выражения; еще слабее, чем в этой предсмертной лирике, форма в прозаических статьях—в несвязных характеристиках Лютера и П. Гергардта. Его нельзя было назвать безумным в эти печальные годы тихого, притупленного прозябания, но до конца так и не проявилась его душа. 28 ноября 1897 года он, сидя за книгой, вдруг почувствовал себя дурно—и через час скончался на руках жены и дочери. Он был уже стар и поврежден разумом, но даже то немногое, что осталось среди его посмертных бумаг, удостоверяет, что К.-Ф. Мейер успел дать лишь долю того, на что способно было его медлительное, суровое, сильное творчество.

IV

Благовоспитанный, сдержанный человек, мягкий в суждении собеседник, мало действенная натура, бесстрастный историк в творчестве, он мог казаться отрицанием всякой страстности. В действитель-

ности, жизнь чувств была в нем не только глубока, но в своей пассивности и напряженна. В „Искушении Пескары“ он говорит о папе Клименте: „как ни тонки сипетения его политики, как ни благорассудительны его речи, в глубине души это все же страстный человек“. Таков был и сам К.-Ф. Мейер, признавшийся в одном письме: „Я прежде всего человек сильно любящий, часто сердящийся и способный даже к ненависти“. Правда, эта страстность не проявлялась в действии, но тем бурнее были ее проявления в глубинах души; она давала возможность гамлетически бездейственному художнику, мыслящему исторiku, всем существом входить в душевный мир его героев; неизменно столь напряженно действенных, столь решительных и сильных волей, что самое тяготение К.-Ф. Мейера к этим энергичным и волевым людям Возрождения кажется вызванным этой их жизненной противоположностью.

Однако, его творчество требовало напряжения воли — и на это напряжение он был способен. Мы располагаем небольшим количеством его первоначальных набросков и планов, но мы имеем полную возможность удостовериться на их основании, что с необычайной медленностью и последовательностью выросло создание К.-Ф. Мейера от мало определенного зачатка до крепкого, богатого и законченного организма. Его замыслы напоминают его биографу первоначальные наброски лучших вещей Ветховена: здесь также все часто бледно и даже тривиально в исходной точке, чтобы вырасти в великое целое в законченном создании. Не только при ранних попытках творчества, но уже вполне зрелым мастером, К.-Ф. Мейер начинал с туманного, еле для него самого определенного очерка, чтобы путем настойчивой борьбы осложнить и обогатить его. В процессе этой борьбы ему не раз приходилось разрушать с трудом воздвигнутое здание, отказываться от почти завершенного произведения, чтобы путем существеннейших переработок совершенно преобразить его общую конструкцию, — в энергии и настойчивости для этой работы в нем не было недостатка. „Я борюсь с моими сюжетами, — говорил он, — как патриарх Яков с ангелом: я не отпущу тебя — ты должен благословить меня“. Он бился над отдельными эпитетами и образами, как Флобер, но гораздо больше внимания он уделял выразительности целых фигур и внутренней благоразмерности всего произведения. И каждое его произведение полно громадной внутренней сосредоточенности, достигнутой преднамеренно и сознательно. Никакая аналитическая мысль не раскроет, однако, читателю этого средоточия: его раскроет лишь непосредственное чувство. В новелле „Женитьба монаха“ Данте является только рассказчиком; его немногие замечания, как будто отвлекающие его слушателей от живого течения рассказа, служат лишь пояснением его, и общее внимание как будто

приковано к своеобразной и печальной судьбе столь напрасно отрекшегося от мира и любви человека. Но вот прах несчастного Асторре распростерт пред нами рядом с останками его жены. Кончен рассказ. „Данте поднялся с места. „Я заплачу за свое место у камелька, — сказал он, — и пойду отдамся блаженной дреме. Владыка мира да охранит нас всех!“ Он повернулся и вышел в дверь, которую раскрыл перед ним пап. Глаза собеседников не отрывались от него, пока он медленно поднимался по лестнице, освещенной факелами“. И навеки связан читатель этим могучим зрительным впечатлением; из рассказчика Данте вдруг стал центральной фигурой своего рассказа, — и начинает казаться, что не новелла об Асторре обрамлена беседой Данте, а, наоборот, вся история женившегося монаха только фон, на котором должна с нечеловеческой отчетливостью выделиться фигура Данте.

Эта отчетливость фигур — основная задача К.-Ф. Мейера и, быть может, главное его достижение. Показать живых людей и посредством их образов показать автора, показать рассказчика — такова его неперемнная цель. Он был исторический романист и вознес историю в романе выше, чем кто-либо из его немецких современников; он был объективный создатель образов людей далеко ушедшего от нас времени. Но ни прошлое в целом, ни исторические образы не были самодовлеющей целью его творчества, а всегда средством. — средством признания и исповеди. „Я пользуюсь формой исторической новеллы, — писал он Феликсу Бова, — просто для того лишь, чтобы выразить в ней мои переживания и мои личные чувства; я предпочитаю ее роману из современной жизни, потому что она лучше скрывает мою личность и держит читателя на расстоянии. Таким образом, под прикрытием высоко объективной и определенно-художественной формы, я по существу насквозь субъективен и индивидуален. Во всех фигурах „Пескары“, даже в этом гнусном Мороне, есть нечто от К.-Ф. Мейера“.

Это признание дает нам возможность определить, что занимало К.-Ф. Мейера в себе самом. Он углублялся в эпоху, когда личность человеческая была менее сложна, чем в его время; он рисовал подчас людей хитрых, тонких, двоедушных, но это, прежде всего, люди далекого прошлого, люди не сложные, люди единого душевного устремления, люди простые. Строят ли они многоумные политические планы или живут изо дня в день, колеблются ли между двумя правдами или твердо знают, как им жить и что делать, ловкие интриганы или грубые деспоты, тонкие честолюбцы или беззаветно любящие девушки, сладострастники или подвижники, это всегда стихийно страстные, можно сказать, всегда наивные люди. Простота их душевного строя делает их подчас элементарными, почти банальными; но это сознательная и намеренная элементарность. Именно простейшее

в душе занимает К.-Ф. Мейера—поэтому-то он неизменно сопоставляет простую душу и сложность жизни. Борьба происходит ведь и в простой душе; быть может, в этой душе она проявляется, если не с наибольшей силой, то с наибольшей выразительностью; это столкновение как раз и соблазняет К.-Ф. Мейера. Его не влечет психологическая игра современности; вся тонкость современных ощущений упрощается для него в таких образах, как епископ Томас Бекет, как полководец Пескара, как Стемма Вульф, „правительница“. Разорваны души их, ставшие полем битвы, но это крепкие, здоровые, стихийные души. Оттого герои его рассказов—подлинные герои. Не то, чтобы героическое влекло его своим величием, своей силой—хотя было, конечно, и это,—но оно привлекало его, прежде всего, своими художественными возможностями: это был материал наиболее соответствовавший его потребностям, его приемам, его стилю. А стиль, требования искусства, внутренняя повелительность формы—это законы творчества К.-Ф. Мейера.

V

Самым любимым из писателей его времени был для К.-Ф. Мейера Тургенев; и это указывает на ту школу, которую он прошел. Нет ничего общего между историческими повествованиями К.-Ф. Мейера и сосредоточенными на текущей современности произведениями Тургенева, который целью своей ставил передать „образ и давление времени“, то-есть своего времени. Но есть и нечто общее между нашим художником и немецким поэтом, даже кой в чем внешнем: так, мы видели, К.-Ф. Мейер вслед за Тургеневым охотно ведет рассказ не от своего имени, влагая его в уста какого-либо рассказчика. Эта общность проявляется и в более значительном. Изысканное внимание к форме отличает обоих писателей; оба были натуры глубоко художественные. Но не в мастерстве слова, не в заботливо отчеканенной фразе сосредоточена сила впечатления, ими производимого. Классики по стилю, романтики по идеалистическому настроению, оба—реалисты по бытовому содержанию. Это бытовое содержание имеет особую окраску у Мейера: не в подробностях внешнего быта заключается оно, а в реальном изображении всего потока исторической жизни в наиболее выразительном его моменте. К эпохе К.-Ф. Мейера немцы выдвинули целый ряд исторических романистов, которые имели в свое время успех, но теперь кажутся не художниками, творчески воссоздающими жизнь былого, а лишь популяризаторами накопившихся в науке данных о материальной культуре минувших веков. В большинстве случаев ученые, почти все они—как прежде всего Эберс, затем Риль, Дан, отчасти даже Фрейтаг,—заполняют

свои романы рассказом о внешних формах былой жизни, загромаждают свой рассказ вещами. Люди, изображенные ими, не живут в воображении читателя и не затрагивают его мысли своей особенной душой, свойственной лишь человеку отдаленного прошлого. Именно на этой душе сосредоточено все внимание К.-Ф. Мейера. Он передает события иногда даже как будто слишком точно и суховато; но это потому, что события для него только рамка, в которой проявляются живые тогдашние люди. Он говорит и о формах внешней жизни: о костюмах и об обычаях, об архитектуре и о нравах; но он не вязнет в этих подробностях; едва намечая их, он умеет придать им такую выразительность, которая много ярче и сильнее перечня старинных вещей, каким до сих пор слишком охотно заполняют свои произведения исторические романисты. С этой точки зрения приемы К.-Ф. Мейера подходят к тому способу исторического изображения, который гениально применен у нас в „Капитанской дочке“ или „Войне и мире“. Правда, Пушкин и Толстой жили так близко к изображенной ими эпохе, что легко могли общаться с живыми ее свидетелями и уже поэтому не очень сосредоточивались на бытовой ее окраске. Но важнее то, что и они, как К.-Ф. Мейер, душу человека, ушедшего в историю, не подменяли внешними свидетельствами, остатками прошлого, а прозревали ее сквозь вещи и документы в самом ее существе, в историческом своеобразии, которое они неведомыми путями постигали своим творческим прозрением. Нетрудно было бы целые курсы археологии, целые моря знаний о материальных древностях перелить в форму романа, но художественное самоограничение было высшим требованием эстетической природы К.-Ф. Мейера. Он отбирал немного из многого для того, чтобы многое было сказано в немногом.

„Ничто не возвышает так над пошлостями бытия,—сказал однажды своему будущему биографу К.-Ф. Мейер,—как искусство. Маккиавелли, садясь к письменному столу за работу, надевал праздничное платье. Сродное чувство охватывает при этом меня: словно я переступаю порог храма“. Эта торжественность творчества соответствовала и душевному строю К.-Ф. Мейера, и стилю его произведений. Не чуждаясь в редких случаях легкого юмора, он никогда не забавлял, никогда не импровизировал, и самый строй его созданий насквозь проникнут этой неизменной серьезностью.

Поэтому, как отмечено в одной из лучших его характеристик, он любит критические эпохи, моменты великих столкновений и поворотов в истории: создание германской империи при Карле Великом, ее распадение в эпоху Тридцатилетней войны, Возрождение, Реформацию, век „короля-солнца“ Людовика XIV. Бурю в природе, бурю в истории, бурю в душе человеческой охотно изображал К.-Ф. Мейер.

Оттого его особенно привлекал момент искушения, соблазна, момент борьбы двух страстей или двух пониманий долга в сильном человеке: его привлекала трагедия, отдаленные громы которой чувствуются даже там, где К.-Ф. Мейер изображает перед нами идиллию. Большинство его героев—большие, сильные духом люди: велики их способности, велик душевный размах, неукротимы страсти, безмерны возможности. Все это сталкивается в их душе; все предстает в форме всеохватывающего искушения. Одни преодолевают демона, бушующего в их груди,—то заглушают голос совести, то говорят о двух противоположных, но равно правых устремлениях долга и чести,—другие гибнут в этой борьбе. Но ни один из героев К.-Ф. Мейера не уходит от нас в мрак безвестности, не связав нас глубочайшим сочувствием к его взлетам и падениям, к его сверхчеловечески крупной личности, к его трагической судьбе.

К.-Ф. Мейер был художественная натура, чуждая жизненного строительства, чувствительная, но беспорывная, эстетическая и консервативная. Не то, чтоб ему всегда и во всем был мил лик мира сего, но он охотно принимал общепринятое в ближайшем окружении. Человек мыслящий, он не впадал в пошлость в этой покорности существующему, в этом почтении к традиции, однако, почтение было нерушимо. Он, например, был не только религиозен, но и церковно-религиозен. День в его доме начинался с того, что он читал семье отрывок из Библии, а затем произносил краткую импровизированную молитву. В этой протестантской условности не было ни общественного лицемерия, ни отречения от прав мысли. „Бесконечно дороги мне послания ап. Павла,—писал он в одном письме,—дороги уже потому, что они—сплошь история, сплошь твердая почва, тогда как Евангелие от Иоанна, и не только его последняя глава, подчас производит на меня чуть не жуткое впечатление... Я думаю, что о многих предметах мы мыслим одинаково, но вы бы изумились, если бы знали, как во мне примиряется не только великое тяготение к области Вечного, но и великая приверженность лютеранству, крепкой и стройной протестантской церкви с критическим отношением к евангельским документам, вытекающим из твердых исторических воззрений, мало того—с убежденнейшим монизмом, решительнейшим недоверием ко всяким иным категориям, кроме человеческих. Не могу сам иногда не смеяться над этими противоречиями с тем достохвальным легкомыслием, которое мне так необходимо для обуздания моей сильнейшей склонности к меланхолии, унаследованной мною от моей матушки и воплощающей весь мой лиризм“.

Это, конечно, не легкомыслие—для такого самобичующего укора не имел оснований К.-Ф. Мейер, но это ведь и не героическая борьба за некую ненайденную и смутно предощущаемую правду. Нельзя.

конечно, не отделить К.-Ф. Мейера от той группы современных ему немецких писателей, легкий и радостный эстетизм которых определял и, пожалуй, исполнил всю их деятельность. Это так называемые „мюнхенцы“—Гейбель, Гейзе, Шак, Линг, Гроссе; внешним образом объединяет его с ним тяготение к формальной завершенности, не глубоко и могуче у К.-Ф. Мейера именно то, что было поверхностно и вяло у этих жрецов красоты и искусства для искусства. Оттого при всем культе формы, запечатленном в их творчестве, они не сумели сообщить ей той подлинности, той значительности, которая сделала К.-Ф. Мейера общепризнанным классиком именно в те годы, когда литературное движение во имя „последовательного натурализма“ и вскоре сменившего его символизма понизило в Германии оценку этих „эпигонов“ до чрезвычайности. Проходили чредой литературные поколения и вкусы; к ряду современников и ближайших предшественников К.-Ф. Мейера, в свое время считавшихся чуть не бессмертными, теперь относятся с почтительным равнодушием; но высокое место, занимаемое К.-Ф. Мейером в оценке отечественных читателей и критиков, кажется непоколебимым. В этой оценке сходятся все—сторонники формы, и любители глубокого содержания, и реалисты, и символисты, католики, к церкви которых он был так враждебен, и протестанты, первоучителей которых он возвеличил так вдохновенно, молодежь и старость, переживающая в напряженных конфликтах, им воссозданных, жизненные испытания своего прошлого, широкая публика, увлекающаяся ярким историческим нарядом рассказов К.-Ф. Мейера, и избранные ценители, в ощущении которых вечно возрождается неумирающая форма, им созданная.

Начиная со второй половины прошлого века, немецкая художественная литература явно отстает от блестящего развития европейской изящной словесности именно в той области, в которой словесное искусство Европы сделало в эту эпоху свои величайшие завоевания: в области романа. Немецкая литература не может здесь указать на создания, которые можно было бы поставить рядом с романами Диккенса, Флобера, Толстого, и в связи с этим остались недостаточно в свое время оцененными те ее второстепенные, но несомненные силы, художественная значительность которых была осознана лишь впоследствии. К таким деятелям немецкого романа несомненно принадлежит К.-Ф. Мейер. Он не только не представляется в наши дни в каком бы то ни было смысле устарелым, но находит полное признание в ряде сменявшихся литературных направлений, несмотря на произведенную ими разрушительную критическую работу. Если не без основания полагают, что новейший немецкий роман своими современными формами и достижениями во многом обязан воздействию иноземных образов, то важнейшим и живейшим деятелем этого воз-

действия был К.-Ф. Мейер, под влиянием французских и русских образцов сообщивший немецкой новелле ту внутреннюю сосредоточенность, ту энергию и полноту, отрицанием которой была расплывчатая манерность его предшественников. Оттого и в новелле, и в лирике К.-Ф. Мейер есть для нынешних строителей немецкой изящной словесности живая традиция, живой учитель художественного слова. Непрестанный поток повторных изданий его сочинений свидетельствует о неиссякающем увлечении, которое черпает в них немецкий читатель. Русскому читателю, обладателю недостигаемо высоких образцов словесного творчества, его произведения дают меньше, конечно, и они должны быть вовлечены в круг его живых литературных интересов.

А. Г. Горнфельд



АМУЛЕТ

(1873 г.)

Предо мною лежат старые пожелтевшие листки с заметками начала семнадцатого века. Я передаю их на языке нашего времени.

I

Сегодня, четырнадцатого марта 1611 года, я отправился верхом из своих владений на Бильском озере в Курсион, к старому Боккару, чтобы закончить затянувшиеся переговоры о продаже принадлежащей мне дубовой и буковой рощи близ Мюнхвейлера. В продолжительной переписке добивался старик понижения цены. В ценности этого лесного участка не могло быть серьезных сомнений; тем не менее, старец считал своим долгом выторговать с меня хоть сколько-нибудь. Так как, однако, я имел достаточно оснований оказать ему любезность и, кроме того, нуждался в деньгах для того, чтобы облегчить моему сыну, состоявшему на службе Генеральных Штатов и обрученному с кругленькой белокурой голландкой, устройство нового хозяйства, я решил уступить и поскорее покончить сделку.

Я застал его в его старинном поместье одиноким и опустившимся. Его седые волосы в беспорядке нависали ему на лоб и затылок. Когда он услышал о моей готовности уступить, его потухшие глаза при этом радостном известии засверкали. На склоне лет копил и собирал он богатства, забывая, что с ним кончался род его и что все его имущество должно было достаться чуждым ему наследникам.

Он повел меня в маленькую комнату в башне, где в изъеденном червями шкафу хранились его бумаги, предложил сесть и попросил составить договор. Окончив эту небольшую работу, я обернулся к старику, который в это время рылся в ящиках, в поисках печати, повидимому, затерявшейся среди вещей. Увидев, как по-

спешно он все разбрасывал, я невольно поднялся, желая ему помочь. В это время он как раз с лихорадочной торопливостью открыл потайной ящик; я подошел к нему, взглянул и — не мог удержатъ глубокого вздоха.

В ящике лежали рядом два странных, слишком хорошо мне знакомых предмета, а именно: продырявленная войлочная шляпа, когда-то пробитая пулей, и круглый большой серебряный образок, с довольно грубо вычеканенным изображением Эйнзидельской Божьей Матери.

Старик повернулся ко мне, как бы отвечая на мой вздох, и заговорил жалобным тоном:

— Да, да, господин Шадау, Божья Матерь Эйнзидельская еще могла оберегать меня и дома, и на поле брани, но с тех пор, как на свет появилась ересь и опустошила и нашу Швейцарию, могущество милостивой Царицы Небесной угасло даже для верных католиков. Это сказалося на Вильгельме, моем милом мальчике». И слеза появилась на его седых ресницах.

При этой сцене мне стало больно, и я сказал старику несколько слов утешения по поводу утраты его сына, бывшего моим сверстником и павшего рядом со мной смертельно раненым. Но мои слова, казалось, его расстроили, или же он не дослушал их, потому что он снова поспешно вернулся к разговору о нашем деле, снова начал искать печать, наконец, нашел ее, укрепил купчую и, вскоре, без особенной вежливости, отпустил меня.

Я отправился домой. Дорогой, в сумерках, с ароматом весенней ночи, поднимались предо мной, с такой непреодолимой силой, с такой ясностью, в таких резких очертаниях, картины прошлого, что мне становилось больно.

Судьба Вильгельма Боккара была тесно сплетена с моей, сначала в радости, потом в горе. Я навлек на него смерть. И все же, как бы меня это ни угнетало, я не раскаиваюсь, и сегодня поступил бы так же, как тогда, когда мне не было двадцати лет. Тем не менее, воспоминания о давно минувшем до того захватили меня, что я решил письменно изложить всю эту необычайную историю и этим облегчить свою душу.

II

Я родился в 1553 году и не знал своего отца, несколько лет спустя павшего на окопах Сен-Кантена. Будучи по происхождению из Тюрингии, мои предки искони состояли на военной службе и следовали в бой за многими полководцами. Мой отец оказал особенно много услуг герцогу Ульриху Вюртембергскому, за преданную службу предоставившему ему должность в своем графстве Мюмпельгард и оказавшему содействие его браку с одной девицей из Берна, предок которой был его другом еще в те времена, когда Ульрих изгнанныком скитался по Швейцарии. Однако, моему отцу было не по себе на спокойном месте, и он поступил на службу Франции, в это время собиравшейся защищать Пикардию от Англии и Испании. Это был его последний поход.

Мать моя последовала за отцом в могилу немного спустя. Меня взял к себе дядя со стороны матери, владелец поместья у Вильского озера, представлявший собой явление своеобразное и утонченное. Он мало вмешивался в общественные дела, и в землях Бернских его терпели лишь благодаря его блестящему имени, записанному в летописи страны. С юных лет он занимался толкованием Библии, что, правда, не было удивительно в эту эпоху религиозных потрясений. Но удивителен был сделанный им из некоторых мест Св. Писания, в особенности из Откровения Иоанна, вывод, что настал конец света и что, поэтому, неблагоприятно и суетно накануне этой катастрофы основывать новую церковь. Вследствие этого он решительно и упорно отказывался пользоваться принадлежащим ему по праву местом в Бернском соборе. Как сказано, только его уединенная жизнь защищала его от карающей руки церковной власти.

На глазах этого безбидного и милого человека я вырос на деревенской свободе, если и не без строгости, то все же не зная розог. Общество мое составляли мальчишки соседней деревни и их пастор, строгий кальвинист, которому мой дядя самоотверженно предоставил обучать меня господствующему в стране вероучению.

Эти два воспитателя моей юности расходились во многом. Между тем, как богослов вместе со своим учителем Кальвином смотрел на

вечность адских мук, как на необходимую основу богобоязни, мирянин утешал себя грядущим прощением и радостным воскресением. Суровая последовательность учения Кальвина доставляла наслаждение моему разуму и развивала мои мыслительные способности. И я овладевал этим учением словно прочной сетью, не теряя в ней ни одной петли, но сердце мое, без оговорок, принадлежало дяде. Его картины будущего интересовали меня мало, только один раз ему удалось смутить меня. Уже давно я лелеял мечту обладать диким жеребчиком, чудной чалой масти, виденным мною в Биле. Однажды утром я пришел с этой большой просьбой к дяде, сидевшему углубленным в книгу. Я боялся отказа, не из за высокой цены, а из за всем известной неукротимости коня, которого я желал обвездить. Едва я успел открыть рот, как он устремил на меня пристальный взор своих светящихся голубых глаз и торжественно сказал: — «Знаешь ли ты, Ганс, что означает конь бледный, на котором сидит смерть?»

Я опешил, пораженный ясновидческим даром дяди; но взгляд, брошенный в развернутую перед ним книгу, выяснил мне, что он говорит об одном из четырех апокалиптических всадников и что к моему коню это не имеет ни малейшего отношения.

Ученый пастор преподавал мне одновременно математику и даже начатки военного искусства, поскольку возможно почерпнуть их из известных руководств, так как в молодости своей, будучи студентом в Женеве, он побывал и на поле битвы и на укреплениях.

Было предreshено, что я, достигнув семнадцати лет, поступлю на военную службу; вопрос относительно того, под чьим командованием я должен провести первые годы своей службы, для меня был тоже решен. Слава великого Колиньи наполняла тогда весь мир. Не победами возвысился он, таковых не выпало ему на долю, но поражениями, которым, благодаря своему искусству полководца и силе характера, он умел придать значение побед. Он возвышался над всеми полководцами своего времени, уступая только испанскому Альбе, которого я ненавидел, как смертный грех. Подобно моему отважному отцу, верно и упрямо стоявшему за протестантскую веру, и моему начитанному в Библии дяде, не-

одобрительно относившемуся к папизму и находившему, что он предreshен Откровением в образе Вавилонской Блудницы, я сам уже начал горячо склоняться в эту сторону. Еще будучи мальчиком, я был записан в ряды протестантского отряда, когда, в 1567 году, надо было взяться за оружие, чтобы оградить Женеву от вторжения Альбы, который из Италии, вдоль Швейцарской границы пробирался в Нидерланды. Юноше было не в могоу оставаться в уединении Шомона, как называлась усадьба моего дяди.

В 1570 году Сен-Жерменский эдикт открыл гугенотам доступ ко всем должностям во Франции. Колиньи, призванный в Париж, обсуждал с королем, сердце которого он, как говорили, завоевал вполне, план похода против Альбы для освобождения Нидерландов. С нетерпением ожидал я на долгие годы затягивавшегося объявления войны, которое должно было вызвать меня в ряды воинов Колиньи, ибо конница его искони состояла из немцев, а имя моего отца ему должно было быть памятно с прежних времен.

Но это объявление войны все оттягивалось, и двум досадным происшествиям было суждено омрачить последние дни, проведенные мною на родине.

Однажды, в мае, когда мы с дядей вечером ужинали в тени цветущей липы, перед нами предстал с довольно заискивающим видом незнакомец, в поношенной одежде, беспокойные глаза и грубые черты которого произвели на меня неприятное впечатление. Он представился милостивым господам как шталмейстер, что в нашем обиходе означало просто конюха, и я уже был готов спроводить его, так как дядя до тех пор не обращал на него никакого внимания, когда незнакомец стал выкладывать передо мной все свои познания и способности.

— Я владею шпагой, — сказал он, — как немногие, и с высшей школой фехтования я знаком основательно.

Будучи лишен возможности посещать городские фехтовальные залы, я именно в этом видел пробел в своем образовании и поэтому, несмотря на мое инстинктивное отвращение к незнакомцу, не задумываясь, воспользовался представившимся случаем. Я потащил незнакомца в свою фехтовальную комнату и дал ему в руку клинок, при посредстве которого он так превосходно справился со

мной, что я немедленно стоворился с ним и взял его к нам на службу.

Дяде я объяснил, как благоприятен случай в последний момент перед отъездом обогатить сокровищницу моих рыцарских познаний.

С этой минуты я проводил с незнакомцем, — он сообщил, что он по происхождению богемец, — вечер за вечером, зачастую до позднего часа, в моей оружейной комнате, которую я возможно ярче освещал двумя стенными лампами. Я легко усвоил выпады, парадные и вольты и скоро теоретически вполне уверенно исполнял все приемы «школы» к полному удовлетворению моего учителя; тем не менее я приводил его в отчаяние тем, что никак не мог отделаться от известной, врожденной мне размеренности в движениях, которую он называл медлительностью и своим молниеносно сверкавшим клинком побеждал шутя.

Для того, чтобы внушить мне недостающий пыл, он прибегнул к довольно странному способу. Он пришил на свою фехтовальную рубашку сердце из красной кожи, обозначавшее место, где билось живое сердце, и во время фехтования насмешливо и вызывающе указывал на него левой рукой. При этом он выкрикивал разнообразнейшие боевые клики, чаще всего: «Да здравствует Альба!» — «Смерть нидерландским мятежникам!» — или же: «Смерть еретикам Колиньи! На виселицу его!» Несмотря на то, что эти возгласы в глубине души возмущали меня и делали мне этого человека еще более противным, мне не удавалось ускорить своего темпа, потому что, как старательный ученик, я уже достиг наивысшей доступной мне скорости. Как то вечером, когда мой богемец как раз поднял свой страшный крик, в боковую дверь, с озабоченным видом, вошел дядя, чтобы посмотреть, что происходит, но тотчас же, ужаснувшись, удалился, ибо в эту минуту мой противник с восклицанием «смерть гугенотам!» нанес мне в середину груди жестокий удар, который, будь это в серьез, провизил бы меня.

На следующее утро мы завтракали под нашей липой; у дяди было что-то на душе; я полагаю, что это было желание отделаться от нашего жуткого сожителя. В это время бильский городской рассыльный передал ему письмо с большой печатью. Дядя вскрыл его,

наморщил во время чтения лоб и передал его мне со словами: «Вот тебе на! Прочти, Ганс, и обсудим, что делать».

Там было сказано, что какой-то богемец, несколько времени тому назад обосновавшийся в Штутгарте в качестве учителя фехтования, из ревности злодейски заколол свою жену, по рождению швабку. Было установлено, что преступник скрылся в Швейцарию; более того, что его, или кого-то чрезвычайно с ним схожего, будто бы, видели на службе у владельца Шомона; что последнего, к коему, в память покойного Шадау, зятя его, особенно благоволил герцог Христофор, настоятельно просят арестовать подозреваемого, произвести предварительный допрос и, в случае, если подозрения подтвердятся, доставить виновного на границу. Бумага с подписью и приложением печати исходила от герцогской канцелярии в Штутгарте.

Во время чтения этого документа я в раздумьи взглянул по направлению комнаты моего учителя, которая, находясь в верхнем этаже замка, была видна со двора, и увидел, что он стоит у окна и занимается чисткой шпаги. Порешив схватить преступника и передать его в руки правосудия, я все же бессознательно повернул бумагу так, что, взглянув вниз, он должен был заметить большую красную печать. Этим я давал судьбе краткий срок для его спасения.

Мы обсудили с дядей вопрос о задержании и отсылке виновного; ибо в том, что это он, мы не сомневались ни минуты.

Затем, с пистолетами в руках, мы оба поднялись в комнату богемца. Она была пуста; но, взглянув в открытое окно поверх деревьев во дворе, мы увидели вдали, где дорога скрывалась за холмами, скачущего всадника. Когда мы спустились, посыльный из Билия, привезший бумагу, бросился к нам навстречу, жалобно говоря, что он не может найти своего коня, которого он привязал за воротами, пока его самого угощали на кухне.

К этой досадной истории, привлечшей всеобщее внимание и в устах людей принявшей фантастические размеры, присоединилась другая неприятность, которая сделала для меня дальнейшее пребывание дома невозможным.

Я был приглашен на свадьбу в Биль, лежащий на расстоянии какого-нибудь часа ходьбы, городок, где я имел много, впрочем,

поверхностных, знакомств. При моей довольно замкнутой жизни я слыл за гордеца, а так как в ближайшем будущем я помышлял, хотя бы в скромной должности, вплести свою жизнь в великие судьбы протестантского мира, я не мог находить интерес во внутренних раздорах и городских сплетнях маленькой Бильской республики. Поэтому приглашение не особенно улыбалось мне, и только по настояниям моего так же уединявшегося, но несмотря на это общительного, дяди я согласился принять его.

С женщинами я был застенчив. Будучи крепкого телосложения и необыкновенно высокого роста, но некрасив лицом, я смутно представлял себе, что отдам все свое сердце только одной и что случай к этому представится в среде, окружающей моего героя Колинны. Кроме того, я был твердо уверен, что полное счастье может быть куплено лишь ценою всей жизни.

Среди моих юношеских увлечений, первое место после великого адмирала занимал его младший брат Дандело, смелое сватовство которого, известное всему миру, разжигало мое воображение. Свою возлюбленную, лотарингскую девушку, он увез из родного города Нанси, на глазах у своих смертельных врагов, католиков Гизов, с торжественными трубными звуками проехав с нею мимо герцогского замка.

Я желал, чтобы нечто подобное было предназначено и мне.

Скучный и угрюмый я отправился в Биль. Ко мне были очень предупредительны и за столом указали место около премоной девушки. Как это всегда бывает с застенчивыми людьми, для того, чтобы избежать молчания, я впал в другую крайность и, чтобы не показаться невежливым, оживленно ухаживал за своей соседкой. Против меня сидел сын городского головы, важного москательного торговца, стоявшего во главе аристократической партии; ибо в маленьком Биле, как и в больших республиках, были свои аристократы и демократы. Франц Годиляр (так звали молодого человека), имея, быть может, какие-нибудь виды на мою соседку, с возрастающим интересом и враждебными взглядами следил за нашим разговором, чего я, впрочем, вначале не замечал.

Хорошенькая девушка спросила меня, когда я думаю уезжать во Францию.

— Как только будет объявлена война палачу Альбе, — ответил я горячо.

— О таком человеке следовало бы говорить в более почтительных выражениях! — бросил мне через стол Годиляр.

— Вы забываете, — возразил я, — о насилиях над нидерландцами. К их притеснителю не может быть уважения, будь это хоть величайший полководец в мире!

— Он умирал мятежников, — был ответ, — и дал пример полезный и для нашей Швейцарии.

— Мятежников! — воскликнул я, и залпом выпил стакан огненного кортальо. — Они мятежники не больше и не меньше, чем те, кто дали клятву на Рютли!

Годиляр принял заносчивый вид, поднял с важностью брови и продолжал, ухмыляясь:

— Если когда-нибудь основательный ученый исследует это дело, то, быть может, обнаружится, что восставшие против австрийцев крестьяне лесных кантонов были глубоко неправы и повинны в мятеже. Впрочем, это сюда не относится; я только утверждаю, что молодому человеку без заслуг, независимо от каких-либо политических мнений, не к лицу осыпать ругательствами знаменитого воина.

Этот намек на невольную задержку в моей военной службе возмутил меня до глубины души, желчь поднялась во мне:

— Негодай, — крикнул я, — тот, кто берет под свою защиту негодая Альбу!

Поднялась бессмысленная потасовка, из которой Годиляра унесли с разбитой головой, а я удалился с окровавленной и изрезанной брошенным в меня стаканом щекой.

Утром я проснулся с чувством великого стыда, предвидя, что я, защитник евангельской истины, прослышу пьяницей.

Недолго думая, я упаковал мой дорожный мешок и простился с дядей. Я рассказал ему о своей неудаче и, после непродолжительного разговора, он дал согласие на то, чтобы я ожидал объявления войны в Париже. Я взял сверток золота из маленького наследства моего отца, вооружился, оседлал своего чалого коня и выехал по дороге во Францию.

III

Без особых приключений я проехал Франш-Конте и Бургундию, добрался до берегов Сены и как-то вечером увидел башни Мелэна, над которыми нависли тяжелые грозовые тучи. До городка оставалось не больше часа езды. Проезжая деревню, находившуюся у дороги, я увидел на каменной скамье у довольно приличной гостиницы «Три Лилии» молодого человека, который, повидимому, тоже был путешественником и воином; однако, его одежда и вооружение были так нарядны, что мое кальвинистское одеяние резко от него отличалось. Так как в план моего путешествия входило до наступления ночи добраться до Мелэна, я лишь бегло ответил на его поклон и проехал мимо. При этом мне послышалось, что он крикнул мне вслед:—Счастливого пути, земляк!

Еще четверть часа я упрямо продолжал свой путь; в это время гроза тяжело надвигалась мне навстречу, воздух становился невыносимо душным, и короткие горячие порывы ветра поднимали на дороге столбы пыли. Мой конь храпел. Вдруг ослепительная молния с треском ударила в нескольких шагах от меня в землю. Мой конь стал на дыбы и бешеными прыжками бросился обратно по направлению к деревне, где под проливным дождем, у самых ворот гостиницы, мне, наконец, удалось укротить испуганного жеребца.

Молодой проезжий, улыбаясь, поднялся с каменной скамьи, защищенной навесом, позвал конюха, помог мне отвязать дорожный мешок и сказал:

— Не раскисайте, что вам придется переночевать здесь; вы найдете тут прекрасное общество.

— Я не сомневаюсь в этом!—отвечал я с поклоном.

— Я, конечно, говорю не о себе,—продолжал он,—а об одном почтенном старом господине, которого хозяйка называет парламентским советником—видимо, важном сановнике—и его дочери или племяннице, несравненной девушке... Отведите господину комнату!—с этими словами он обратился к входившему хозяину.—А вы, земляк, скорее переоденьтесь и не заставляйте нас ждать, ибо ужин готов.

— Вы называете меня земляком?—спросил я по французски, так как и он обращался ко мне на этом языке.—Почему вы принимаете меня за такового?

— По всему вашему облику!—весело отвечал он.—Прежде всего вы немец, а по вашей твердости и положительности я узнаю в вас уроженца Берна. Я же ваш верный союзник из Фрибурга и зовусь Вильгельмом Боккар.

Я последовал за хозяином в комнату, которую он указал мне, переделался и спустился вниз в столовую, где меня ожидали. Боккар подошел ко мне, взял меня за руку и представил седому господину благородной наружности и стройной девушке в амазонке, говоря: «Мой товарищ и земляк...» При этом он взглянул на меня вопросительно.

— Шадау из Берна,—закончил я.

— Мне чрезвычайно приятно,—ответил старый господин любезно,—познакомиться с молодым гражданином знаменитого города, которому мои братья по вере в Женеве стольким обязаны. Я парламентский советник Шатильон, которому религиозный мир дает возможность вернуться в его родной город Париж.

— Шатильон?—повторил я с почтительным изумлением,—это фамилия великого адмирала.

— Я не имею чести состоять с ним в родстве,—возразил парламентский советник,—или если и в родстве, то только в очень дальнем; но я знаком и дружен с ним, насколько это позволяет различие сословий и личных заслуг. Однако, садимся, господа; суп дымится, а вечер достаточно велик для разговоров.

Мы сели за дубовый стол с витыми ножками. С одной стороны сидела молодая девушка, по правую и левую руку от нее было накрыто для советника и Боккара, я же помещался напротив. Когда трапеза была закончена при обычных расспросах и дорожных разговорах, и к скромному десерту был подан искристый напиток соседней Шампани, речи начали становиться более связными.

— Я должен вас похвалить, господа швейцарцы,—начал советник,—за то, что вы после коротких распрей сумели примириться в вопросах религии. Это доказывает, что вы обладаете чув-

ством справедливости и здравым смыслом; моя несчастная родина должна была бы взять с вас пример. Неужели мы никогда не научимся понимать, что совесть нельзя покорить и что протестант может так же пылко любить свою родину, отважно защищать ее и подчиняться ее законам, как и католик!

— Вы слишком щедры в похвале нам! — вмешался Боккар. — Действительно, мы, католики и протестанты, кое как миримся друг с другом, но раздвоение религии почти уничтожило всякое общение между нами. В прежние времена мы из Фрибурга часто роднились с бернцами. Теперь же это прекратилось, и долголетние связи порваны. В путешествии, — продолжал он с улыбкой, обратившись ко мне, — мы еще иногда помогаем друг другу, но дома мы едва кланяемся.

Позвольте мне рассказать вам: когда я был в отпуску во Фрибурге, — я служу в швейцарских войсках Его Христианнейшего Величества, — как раз справлялся «молочный праздник» на Плаффейских лугах, где находится имение моего отца, а также пастбища Кирхбергов из Верна. Это было печальное празднество. Кирхберг приехал со своими четырьмя дочерьми, представительными бернцами, с которыми, когда мы были еще детьми, я ежегодно танцевал на лужайках. Можете себе представить, что, после первого же танца, эти девушки среди позванивающих коров подняли богословский разговор и меня, всегда мало интересовавшегося этим, начали называть идолопоклонником и гонителем христиан, потому что на полях битвы при Жарнаке и Монконтуре я выполнил свой долг против гугенотов.

— Разговоры о религии, — заметил советник, — сейчас висят в воздухе. Но почему только нельзя вести их со взаимным уважением и приходить к примирению и к соглашению? Так, я уверен, что, например, вы, господин Боккар, не предадите меня костру из за моей евангелической веры и что вы не последний из осуждающих жестокость, с которой уже давно обращаются с кальвинистами на моей бедной родине.

— Можете быть в этом уверены! — ответил Боккар. — Только вы не должны забывать, что нельзя называть жестокими старинные законы государства и церкви, если они стремятся

всеми средствами отстоять свое существование. Что же касается жестокости, то я не знаю более жестокой религии, чем кальвинизм.

— Вы думаете о Сервете? — тихо сказал советник, и лицо его омрачилось.

— Я думал не о человеческом суде, — возразил Боккар, — а о Божественном правосудии, которое так искажает мрачная новая вера. Я лично, ничего не понимаю в богословии, но мой дядя, каноник во Фрибурге, внушающий доверие и ученый человек, уверял меня, что один из догматов кальвинистов гласит, что ребенок, прежде чем сделать что-нибудь худое или доброе, с колыбели уже обречен или на вечное блаженство или на муки ада. Это слишком ужасно, чтобы быть правдой!

— И всетаки это правда, — сказал я, вспоминая наставления моего пастора, — ужасно или нет, но оно логично.

— Логично? — спросил Боккар, — что значит логично?

— Логично то, что не противоречит само себе, — вымолвил советник, которого, повидимому, забавляла моя горячность.

— Божество всеведуще и всемогуще, — продолжал я, с уверенностью победителя, — в его воле — предвидеть и не предотвращать; поэтому наша судьба предрешена с колыбели.

— Я бы с удовольствием опроверг вас, — сказал Боккар, — если бы только смог припомнить аргумент моего дяди! У него был убедительнейший аргумент против этого...

— Вы бы доставили мне большое одолжение, — заметил советник, — если бы постарались вспомнить этот прекрасный аргумент.

Фрибуржец налил себе полный бокал вина, медленно опорожнил его и закрыл глаза. После некоторого раздумья, он весело сказал:

— Если господа обещают мне не прерывать меня и дать мне возможность беспрепятственно развивать мои мысли, я надеюсь выполнить свою задачу удовлетворительно. Предположим, господин Шадау, что вы вашим кальвинистским Провидением с колыбели обречены на муки ада, — впрочем, сохрани меня Бог от такой невежливости, — предположим лучше, что осужден на мучения я; однако, я ведь, слава Богу, не кальвинист.

Он взял несколько крошек прекрасного пшеничного хлеба, вы-

лепил из них человечка и поставил его на свою тарелку, говоря: — Вот стоит обреченный с рождения на адские муки кальвинист. Теперь внимание, Шадау! Верите вы в десять заповедей?

— Что вы говорите! — возмутился я.

— Ну, ну, ведь можно же задать вопрос. Вы, протестанты, ведь упразднили много старого! Итак, Бог повелевает этому кальвинисту: делай это! не делай того! Не жестокий ли обман такая заповедь, если человеку уже заранее предначертано — не иметь возможности творить добро и быть вынужденным творить зло? И такую нелепость вы приписываете высшей мудрости? Это так же ни к чему, как сие творение моих пальцев! — И он щелчком сбил хлебного человечка с тарелки.

— Недурно! — выразил свое мнение советник.

В то время, как Боккар старался не проявлять своего чувства удовлетворения, я поспешно взвешивал возражения; но, в данный момент, ничего подходящего не приходило мне в голову, и я сказал с некоторым стыдом и недовольством:

— Это темный и трудный догмат, который не легко разъяснить. Впрочем, вовсе не необходимо признавать его, чтобы осудить папизм, очевидные злоупотребления которого вы сами, Боккар, не сможете отрицать. Вспомните о безразличности попов!

— Да, среди них попадаются скверные личности, — подтвердил Боккар.

— Слепая вера в авторитет...

— Благоедеяние для человеческой слабости, — прервал он меня. — В государстве и церкви, как в самом маленьком судебном деле, должна быть последняя инстанция, дальше которой нельзя идти.

— Чудотворные реликвии!

— Исцеляли же тень св. Петра и плат св. Павла больных, — очень спокойно возразил Боккар, — отчего же мощи святых не могут творить чудеса?

— А это дурацкое поклонение Деве Марии?.. — Не успел я выговорить эти слова, как ясное лицо фрибуржца изменилось, кровь бросилась ему в голову, он покраснел, вскочил со своего кресла и схватился за шпагу, восклицая: — Вы хотите лично оскорбить меня? Если таково ваше намерение, обнажайте оружие!

Девушка тоже испуганно приподнялась со своего кресла, а советник умиротворяюще протянул обе руки к фрибуржцу. Я был крайне удивлен неожиданным действием моих слов, но не терял присутствия духа.

— О личном оскорблении тут не может быть и речи, — спокойно сказал я. — Я и не подозревал, что вы, Боккар, человек во всем обнаруживающий светскость и образованность и, к тому же, как вы сами говорите, проявляющий мало интереса к вопросам религии, в этом единственном пункте проявите такую страстность.

— Разве вы не знаете, Шадау, что известно не только в области Фрибурга, но и далеко за ее пределами, что Эйнзидельнская Божия Матерь явила чудо мне, недостойному?

— Нет, уверяю вас, — возразил я. — Садитесь, дорогой Боккар и расскажите нам об этом.

— Это известно всему миру и даже изображено на памятной доске в самом монастыре. На третьем году жизни я тяжело заболел, и следствием болезни явился полный паралич. Все средства оказывались бесполезными, ни один врач не мог помочь мне. Наконец, моя милая добрая мать ради меня предприняла босиком паломничество в Эйнзидельн. И вот, свершилось чудо милости Божьей! С часу на час мне становилось легче, я окреп и оправился и теперь, как видите, стал человеком со здоровыми и прямыми руками и ногами! Только Эйнзидельнской Божией Матери я обязан тем, что могу радоваться своей молодости, а не влачу своих дней ненужным, безрадостным калекой. Теперь вы поймете, дорогие собеседники, и найдете естественным, что я на всю жизнь обязан благодарностью моей заступнице и от всего сердца предан ей.

С этими словами он вытащил из под куртки шелковый шнурок, который он носил на шее; на нем висел образок, и он набожно приложился к нему.

Шатильон, наблюдавший за ним со странным выражением, в котором насмешка сочеталась с умилением, начал с обычной своей любезностью: — А как вы думаете, господин Боккар, каждая Мадонна могла бы так счастливо исцелить вас?

— Конечно, нет! — возразил Боккар с оживлением. — Мои родные пытались найти помощь во многих местах, пока не посту-

чались в верную дверь. Эйнзидельская Божия Матерь единственная в своем роде.

— Тогда, — продолжал старый француз с улыбкой, — легко будет примирить вас с вашим земляком, если только это еще необходимо при вашем добродушии и веселом нраве, примеры которого вы уже являли неоднократно. Господин Шадау, к своему резкому осуждению культа Марии не забудет в будущем сделать оговорку: за почетным исключением Эйнзидельской Богородицы.

— На это я охотно соглашаюсь, — сказал я, подражая тону старика, однако, внутренне не особенно одобряя его легкомыслие.

Тут добродушный Боккар схватил мою руку и сердечно пожал ее. Разговор принял другой оборот, и вскоре молодой фрибуржец поднялся и пожелал нам покойной ночи, извиняясь тем, что завтра с раннего утра намеревается продолжать свой путь.

Только теперь, когда закончились волнующие разговоры, я стал более внимательно вглядываться в молодую девушку, которая с большим напряжением, молча, следила за нашими речами, и изумился ее несходству с ее отцом или дядей. У старого советника было тонко очерченное, почти боязливое лицо, которое освещали умные темные глаза, то грустные, то насмешливые, но всегда выразительные. У юной девицы, напротив, были белокурые волосы, и ее невинное, но решительное лицо одухотворяли удивительно лучистые голубые глаза.

— Разрешите задать вам вопрос, молодой человек, — сказал советник. — Что именно влечет вас в Париж? Мы с вами одной веры и, если я могу быть вам полезным, я к вашим услугам.

— Сударь, — отвечал я, — когда вы произнесли имя Шатильон, сердце мое забилося сильнее. Я сын солдата и хочу изучать войну, ремесло моего отца. Я ревностный протестант и хотел бы сделать все, что в моих силах, для доброго дела. Достичь этих целей я смогу только, если мне удастся служить и сражаться под предводительством адмирала. Если вы можете помочь мне в этом, вы мне окажете величайшую услугу.

Теперь девушка нарушила свое молчание и спросила: — Разве вы так преклоняетесь перед господином адмиралом?

— Это первый человек в мире! — ответил я пылко.

— Что ж, Гаспарда, — прервал меня старик, — при таких прекрасных убеждениях, ты я думаю, замолвишь в пользу молодого человека словечко у твоего крестного.

— Почему же нет? — спокойно сказала Гаспарда, — если он на деле столь же доблестен, как кажется. Другой вопрос, принесет ли мое словечко пользу. Господин адмирал, все это время, накануне войны с Фландрией, занят с утра до вечера, осажден просителями, не знает покоя, и я не уверена, есть ли в его распоряжении свободные места. Нет ли у вас рекомендации получше моей?

— Быть может, — ответил я, немного робея, — имя моего отца не безызвестно адмиралу. — Только теперь мне стало ясно, как трудно будет лишенному рекомендации чужестранцу получить доступ к великому полководцу. Я продолжал подавленным тоном: — Вы правы, сударыня, я чувствую, что мало приношу ему: лишь сердце и шпагу, каковых у него уже тысячи. Если б только брат его Дандело был жив! Тот был мне ближе, к тому я отважился бы пойти! С юных лет он во всем служил мне образцом; не полководец, но отважный воин; не государственный деятель, но стойкий единомышленник; не святой, но теплое верное сердце!

Пока я говорил эти слова, Гаспарда, к моему удивлению, начала слегка краснеть, и ее загадочное для меня смущение все возрастало, пока краска не залила всего ее лица. Старый господин тоже как-то странно смутился и резко сказал:

— Почему вы знаете, был Дандело святым или нет? Однако, меня клонит ко сну, пора разойтись. Когда вы приедете в Париж, господин Шадау, почтите меня своим посещением. Я живу на острове св. Людовика. Завтра мы, вероятно, больше не увидимся. Мы на денек останемся отдохнуть в Мелэне. Напишите мне только ваше имя в эту записную книжку. Прекрасно! Всего хорошего, покойной ночи.

IV

На второй вечер после этой встречи я въезжал в Париж через ворота Сент-Оноре и, усталый, постучался в дверь ближайшего, находившегося, быть может, на расстоянии ста шагов, постоянного двора.

Первая неделя прошла в осмотре огромного города и в напрасных поисках одного товарища моего отца по оружию, о смерти которого я узнал лишь после долгих расспросов. На восьмой день, с бьющимся сердцем, я отправился к жилищу адмирала, находившемуся в узенькой улице, недалеко от Лувра.

Это было мрачное старинное здание, и привратник принял меня неприветливо, даже с недоверием. Я должен был написать свое имя на клочке бумаги, который он отнес своему господину, и лишь тогда меня впустили; я прошел через большую приемную, где было много народу, воинов и придворных, пристально разглядывавших проходившего мимо них, и вступил в маленькую рабочую комнату адмирала. Он сидел и писал и жестом пригласил меня обождать, пока не закончит письма. Я имел достаточно времени с умилением рассмотреть его лицо, которое до того я видел на одной очень удачной выразительной гравюре, дошедшей до Швейцарии и врезавшейся мне в память.

Адмиралу было тогда около пятидесяти лет, но волосы его были белы, как снег, а на впалых щеках играл лихорадочный румянец. На его мощном лбу, на сухих руках выступали синие жилки, и во всем его существе ощущалась глубокая сосредоточенность. Он походил на Судию во Израиле.

Окончив работу, он подошел ко мне в нишу окна и пронизывающе устремил на меня свои большие голубые глаза.

— Я знаю, что привело вас ко мне, — сказал он, — вы хотите служить доброду делу. Если война вспыхнет, я дам вам место в моей немецкой коннице. А пока, — вы владеете пером? Вы знаете французский и немецкий язык?

Я утвердительно поклонился.

— Пока я дам вам работу у себя. Вы можете принести мне

пользу! Добро пожаловать. Я буду ждать вас завтра в восьмом часу. Будьте точны.

Он отпустил меня жестом и в то время, как я склонился перед ним, очень приветливо добавил:

— Не забудьте навестить советника Шатильона, с которым вы познакомились в пути.

Когда я, направляясь к своему постоянному двору, снова очутился на улице, я начал вспоминать все только что пережитое, и мне стало ясно, что для адмирала я не был незнакомцем. У меня не оставалось ни малейших сомнений, кому я был обязан этим. Столь легкое достижение цели, казавшейся мне трудной, было в моих глазах хорошим предзнаменованием, а мысль о предстоящей работе с самим адмиралом давала мне новое ощущение своей ценности, которого я не имел раньше. Все эти радостные мысли, однако, совершенно отступали на второй план перед чем-то, что меня одновременно привлекало и мучило, захватывало и тревожило; перед чем-то бесконечно неопределенным, в чем я не мог дать себе отчета. Наконец, после долгих бесплодных поисков, мне вдруг стало ясно, в чем дело. Это были глаза адмирала, следившие за мной. Почему они преследовали меня? Потому что это были *ее* глаза. Никакой отец, никакая мать не могли вернее передать своему ребенку это зеркало души! Меня охватило несказанное смятение. Может ли это быть, чтобы *ее* глаза были от него? Возможно ли это? Нет, я ошибаюсь. Моя фантазия сыграла со мной скверную шутку. И, чтобы опровергнуть эту плутовку при помощи действительности, я решил поспешно вернуться в мою гостиницу, вслед затем отправиться на остров св. Людовика и разыскать моих знакомых из «Трех Лилий».

Час спустя я входил в узкий и высокий дом парламентского советника, находившийся у самого моста св. Михаила и одной стороной выходивший на набережную Сены, а другой на готические окна маленькой церкви в переулке. Двери первого этажа были заперты; когда же я поднялся во второй, я неожиданно очутился перед Гаспардой, с чем-то возившейся у открытого ящика.

— Мы вас ждали, — приветствовала она меня, — я провожу вас к дяде, он будет очень рад видеть вас.

Старик сидел, удобно устроившись в кресле и перелистывая большой фолиант, поставленный на приспособленную для этого боковую ручку. Вся большая комната была переполнена книгами, расставленными в дубовых шкафах, украшенных красивой резьбой. Статуэтки, монеты и гравюры, со вкусом расположенные, оживляли это мирное, уютное убежище мыслителя. Ученый старец, не вставая, предложил мне пододвинуть к нему кресло, приветствовал меня, как старого знакомого, и с видимым удовольствием выслушал повествование о моем поступлении на службу к адмиралу.

— Дай Бог, чтобы ему удалось это сделать на сей раз,—сказал он.—Для того, чтобы дать нам, протестантам, к сожалению, представляющим меньшинство по сравнению с остальным населением нашей родины, дышать свободно без проклятой гражданской войны, существует два пути, только два: или переселиться за океан, в открытую Колумбом землю,—эту мысль долгие годы лелеял адмирал, и, если бы не представилось неожиданных препятствий, кто знает!—или же воспламенить национальное чувство и начать большую внешнюю, исцеляющую человечество войну, в которой гугенот и католик, сражаясь бок о бок, объединенные любовью к родине, стали бы братьями и забыли бы про свои религиозные распри. К этому стремится теперь адмирал, а я, миролюбивый человек, не могу дожидаться объявления этой войны. Освобождая Нидерланды от гнета испанцев, наши католики, против воли, будут вовлечены в поток свободы. Но время не терпит! Верьте мне, Шадау, над Парижем висят тяжелые тучи! Гизы хотят предотвратить эту войну, ибо она сделала бы молодого короля самостоятельным и не нуждающимся в их советах. Королева-мать двулична,—она, во всяком случае, не ведьма, какой ее считают горячие головы нашей партии, но она ведет неопределенную политику изо дня в день, эгоистично преследуя только интересы своего дома. Она безразлична к славе Франции и, не имея чутья к добру и злу, способна на противоположные решения, и какая-нибудь случайность может определить ее выбор. Она труслива и изменчива, и потому от нее можно ожидать самого худшего!—Центр тяжести в том, что молодой король расположен к Колиньи, но этот король...—здесь Шатильон вздохнул,—впрочем, я не хочу

влиять на ваше собственное суждение. Так как он часто посещает адмирала, вы его увидите своими глазами.

Старик устался в пространство, потом, вдруг меняя тему разговора и открывая заглавный лист фолианта, спросил меня:

— Знаете ли вы, что я читаю? Посмотрите!

Я прочел по латыни: «География Птолемея, изданная Михаилом Серветом».

— Неужели это сожженный на костре в Женеве еретик?—спросил я, пораженный.

— Он самый. Он был выдающимся ученым,—поскольку я могу судить, даже гениальным, и его открытия в области естественных наук принесут потом, быть может, больше пользы, чем его богословские рассуждения. А вы тоже сожгли бы его, если бы заседали в Женевской ратуше?

— Конечно, сударь!—ответил я убежденно.—Подумайте только об одном: что было опаснейшим орудием, которым паписты боролись против нашего Кальвина? Они упрекали его в том, что учение его есть отрицание Бога. И вот, в Женеву является испанец, называет себя другом Кальвина и издает книги, в которых отрицает Троицу, как если бы это был совершенный пустяк, и злоупотребляет евангелической свободой. Разве Кальвин не был обязан, ради тысяч и тысяч страдавших и проливавших свою кровь за истинное слово Божие, изгнать этого ложного брата, перед глазами всего мира, из лона евангелической церкви и передать его в руки светского судьи, для того, чтобы его не могли смешивать с нами и чтобы мы невинно не пострадали за чужое безбожие?

Шатильон грустно улыбнулся и сказал:—Так как вы столь прекрасно обосновали свое суждение о Сервете, вы должны доставить мне удовольствие и провести этот вечер со мной. Я подведу вас к окну, выходящему на часовню св. Лаврентия, по соседству с которой мы имеем удовольствие жить, где знаменитый францисканец, патер Панигарола сегодня вечером будет произносить проповедь, тогда вы услышите, как судят о вас. Этот патер силен в логике и, к тому же, пламенный оратор. Вы не упустите ни одного из его слов и—получите большое удовольствие. Вы пока живете в гостинице? Я должен был бы позаботиться о по-

стоянном помещении для вас,—что ты посоветуешь Гаспарда?— обратился он к девушке, только что вошедшей в комнату.

Гаспарда весело ответила:—Портному Жильберу, нашему товарищу по вере, приходится прокармливать многочисленное семейство, и он был бы очень рад и польщен, если бы господин Шадау согласился занять его лучшую комнату. В этом еще то преимущество, что ревностный, но боязливый христианин смог бы под защитой смелого воина вновь отважиться посещать наше евангелическое богослужение.—Я сейчас схожу к нему сообщить ему эту радостную весть.—С этими словами стройная девушка исчезла.

Как ни кратко было ее появление, я всетаки успел внимательно всмотреться в ее глаза, и снова меня охватило изумление. Неудержимая сила толкала меня найти разрешение этой загадки; теперь же и я лишь с трудом удержал вопрос, который нарушил бы всякое приличие. Но старик сам помог мне, насмешливо спросив:

— Что вы находите особенного в этой, девушке, что вы так пристально рассматривали ее?

— Нечто совершенно особенное,—решиительно ответил я,—необыкновенное сходство ее глаз с глазами адмирала.

Советник отшатнулся, словно прикоснувшись к змее, и с принужденной улыбкой сказал:—Разве такая игра природы не возможна, господин Шадау? Разве вы можете воспретить жизни создавать схожие глаза?

— Вы спросили меня, что особенного я нахожу в барышне,—возразил я хладнокровно,—на этот вопрос я вам и ответил. Теперь разрешите и мне задать вопрос. Так как я надеюсь, что и впредь буду иметь дозволение посещать вас, и меня привлекает ваше расположение и ясный ум, то позвольте мне узнать, как мне называть эту прекрасную девушку. Я знаю, что ее крестный Колиньи дал ей имя Гаспарды, но вы еще не сказали мне, имею ли я честь говорить с вашей дочерью или с одной из ваших родственниц.

— Называйте ее, как хотите! — хмуро пробормотал старик и снова начал перелистывать географию Птоломея.

Благодаря его странному поведению, я окончательно уверился в том, что тут царит какая-то загадка, и начал строить самые

смелые предположения. Адмирал опубликовал небольшую статью о защите Сен-Кантена, которую я знал наизусть. Заканчивал он ее довольно неожиданно несколькими таинственными словами, указывавшими на его переход к евангелической вере. В них говорилось о мирской греховности, которой он, как сам признавался, тоже был причастен. Не имело ли рождение Гаспарды отношения к этому периоду доевангельской жизни? Я всегда строго относился к таким вопросам, но в данном случае мое впечатление было иным; я был далек от мысли осуждать человека за ложный шаг, который открывал мне невероятную возможность приблизиться к родственнице по крови моего лучезарного героя—и, кто знает, быть может, даже посвататься.... В то время, как я давал волю своему воображению, по моему лицу, вероятно, проскользнула счастливая улыбка, так как старик, украдкой наблюдавший за мной из-за своего фолианта, вдруг обратился ко мне с неожиданным оживлением:

— Если вам, молодой человек, доставляет удовольствие мысль, что вы нашли слабость в великом человеке, то знайте: он безупречен! Вы ошибаетесь! Вы в заблуждении!

Он поднялся, словно расстроенный, и начал шагать взад и вперед по комнате, затем он остановился рядом со мной, схватил меня за руку и, неожиданно меняя тон, сказал:—Молодой друг, в это тяжелое время, когда мы, протестанты, зависим друг от друга и должны относиться друг к другу, как братья, доверие возрастает быстро; между нами не должно быть недосказанного. Вы хороший человек, а Гаспарда милое дитя. Боже сохрани, чтобы что-нибудь сокрытое омрачало ваши встречи. Вы умеете молчать, я в этом уверен; притом же, об этом уже идет молва, и вы могли бы узнать обо всем из недоброжелательных уст. Выслушайте же меня!

Гаспарда мне не дочь и не племянница; но она выросла у меня и считается моей родственницей. Ее мать, умершая вскоре после рождения ребенка, была дочерью одного немецкого рейтарского офицера, которого она сопровождала во Францию. Отец Гаспарды,—здесь он понизил голос,—Дандело, младший брат адмирала, удивительная храбрость и ранний конец которого вам не безызвестны. Теперь вы осведомлены. Называйте Гаспарду моей

племянницей; я люблю ее, как родное дитя. Пускай все это останется между нами и будьте непринужденны в общении с нею.

Он смолк, и я не прерывал его молчания, потому что вся моя душа была полна слышанным. В это время, очень кстати для нас обоих, нас прервали и позвали ужинать, при чем прелестная Гаспарда указала мне место около себя. Когда она передавала мне полный бокал, и рука ее коснулась моей, меня охватила дрожь при мысли, что в этих юных жилах текла кровь моего героя. И Гаспарда также почувствовала, что я смотрю на нее другими глазами, чем незадолго до этого, она задумалась, и тень недоумения скользнула по ее лицу; но оно скоро вновь посветлело, когда она весело стала рассказывать мне, как лестно портному Жильберу дать мне приют в своем доме.

— Это важно,—сказала она шутя,—что у вас под рукой будет христианский портной, который сможет изготовить вам платье по строго гугенотскому покрою. Если крестный Колинъ, который сейчас в такой высокой милости у короля, введет вас в придворную жизнь, и прелестные фрейлины королевны-матери окружают вас, вы погибли бы, если бы не ваше строгое одеяние, которое удержит их в должных границах.

Во время этого оживленного разговора, при каждом перерыве, мы слышали с улицы то тягучие, то резкие звуки, походившие на отрывки речи, и когда во время случайного молчания целая фраза почти полностью донеслась до наших ушей, Шатильон поднялся с досадой.

— Я покидаю вас!—сказал он.—Жестокий петрушка там, напротив, выгоняет меня.—С этими словами он оставил нас одних.

— Что это значит?—спросил я Гаспарду.

— В церкви Св. Лаврентия, напротив,—сказала она,—говорит проповедь патер Панигарола. Из наших окон можно видеть набojную толпу и странного патера. Дядю возмущает его болтовня, на меня нагоняют скуку глупости, которые он говорит, и я перестаю слушать его. Ведь даже в наших протестантских собраниях, где проповедуется одна только истина, мне трудно внимательно дослушивать речь до конца с тем благоговейным вниманием, с которым подобает относиться к священному слову.

Тем временем мы подошли к окну, которое Гаспарда спокойно открыла.

Стояла теплая летняя ночь, и освещенные окна часовни тоже были открыты. В узком просвете, высоко над нами, мерцали звезды. Патер, стоявший на кафедре, молодой бледный францисканский монах, с южными пламенными глазами и судорожной мимикой, вел себя так необыкновенно, что сначала вызвал улыбку на моем лице; однако, вскоре его речь, из которой не ускользало от меня ни одного слова, завладела всем моим вниманием.

— Христиане,—призывал он,—что такое терпимость, которой требуют от нас? Есть ли это христианская любовь? Нет, скажу я, трижды нет! Это—проклятия достойное безразличие к судьбе наших братьев! Что бы вы сказали о человеке, который, увидев другого спящим на краю пропасти, не разбудил бы и не оттащил бы его? А между тем, в данном случае речь идет лишь о жизни и смерти тела. Насколько меньше права имеем мы без жестокости предоставить нашего ближнего своей судьбе, когда речь идет о вечном спасении или вечной гибели! Как? разве возможно жить рядом с еретиками и не вспоминать, что души их находятся в смертельной опасности? Именно наша любовь к ним заставляет нас призвать их к спасению и, если они упорствуют, принудить к спасению, а если они неисправимы, истребить их, дабы они своим дурным примером не втянули своих детей, соседей и сограждан в огонь вечный! Потому что христианский народ—это тело, о котором сказано есть:—Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его! Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и отбрось ее, ибо лучше, чтобы погиб один из членов твоих, чем все тело твое было ввергнуто в огонь вечный!

Приблизительно таков был ход мыслей патера, но своей страстной риторикой и неводержными жестами он превращал свою речь в дикое зрелище. Было ли это от заражающего яда фанатизма или от яркого, сверху падающего, света ламп, но лица слушателей приняли такое искаженное и, как мне казалось, кровожадное выражение, что мне вдруг стало ясно, на каком вулкане мы, гугеноты, пребываем в Париже.

Гаспарда присутствовала при этой жуткой сцене почти равно-

душно; она устремила свой взгляд на чудную звезду, мягкий свет которой восходил над крышей часовни.

После того как итальянец движением руки, которое скорее походило на жест проклятия, чем на благословение, закончил свою речь, народ, толпясь, начал выходить из двери, по обеим сторонам которой в железные кольца были воткнуты два горящих смоляных факела. Кровавый отблеск освещал выходящих и временами падал на лицо Гаспарды, которая с любопытством смотрела на толпу, в то время как я отодвинулся в тень. Вдруг я заметил, как она побледнела, вслед за этим взор ее возмущенно вспыхнул, и я увидел, как высокий человек в богатой одежде наполовину небрежным, наполовину жадным движением посылал ей поцелуй. Гаспарда задрожала от гнева. Она схватила меня за руку, и, притянув к себе, дрожащим от волнения голосом крикнула вниз на улицу:

— Ты оскорбляешь меня, трус, потому что считаешь меня беззащитной! Ты ошибаешься! Здесь стоит тот, кто накажет тебя, если ты посмеешь хоть раз еще взглянуть на меня!

С грубым хохотом, кавалер, если не услышав ее речи, то поняв ее выразительную мимику, закинул плащ на плечо и исчез в движущейся толпе.

Гнев Гаспарды разразился потоком слез и, всхлипывая, она рассказала мне, как этот ничтожный человек, состоявший в свите герцога Анжуйского, брата короля, со дня ее прибытия начал преследовать ее на улице, когда она решалась выйти на прогулку, при чем даже сопровождавший ее дядя не мог удержать его от нахальных поклонов.

— Я не смею сказать об этом моему дорогому дяде, из-за его легко возбудимого и немного боязливого характера. Это его обеспокоило бы, не давая возможности защитить меня. Но вы молоды и владеете шпагой, я рассчитываю на вас! Этой непристойности должен, во всяком случае, быть положен конец. Теперь до свидания, мой рыцарь!—добавила она улыбаясь, тогда как слезы еще текли по ее лицу,—и не забудьте пожелать спокойной ночи моему дяде.

Старый слуга осветил мне путь в комнату своего господина, с которым я пришел проститься.

— Что, проповедь окончилась?—спросил советник.—В молодые годы меня позабавили бы эти кривляния; но теперь, особенно после того, как мы последний десяток лет уединенно прожили с Гаспардой в Ниме, где я видел возникавшие во Имя Господне смуты и убийства, я не могу видеть толпы вокруг возбужденного попа, без опасения, как бы она не предприняла сейчас же чего-нибудь безумного и жестокого. Это бьет мне по нервам.

Когда я вошел в свою комнату на постоялом дворе, я бросился в старое кресло, которое, кроме походной кровати, составляло единственное ее убранство. Впечатления дня продолжали владеть мною, а сердце мое словно горело в огне нежном, но мощном. Башенные часы ближайшего монастыря пробили полночь, моя лампа, в которой выгорело масло, погасла, но в душе моей было светло, как днем.

Мне казалось невозможным завоевать любовь Гаспарды; напротив, казалось, что такова воля судьбы, и ради этого поставить на карту свою жизнь—представлялось мне счастьем.

V

На следующее утро в назначенный час я явился к адмиралу и застал его за перелистыванием потертой записной книжки.

— Это,—начал он,—мои заметки пятьдесят седьмого года, в котором я защищал Сен-Кантен и должен был сдаться испанцам. Тут среди имен храбрейших из моих людей помечено крестом имя Сардау; мне кажется, что это был немец. Не ваше ли это имя?

— Да, это имя моего отца! Он имел честь служить под вашим начальством и пасть на ваших глазах!

— В таком случае,—продолжал адмирал,—мое доверие к вам еще крепнет. Люди, с которыми я долго жил вместе, предавали меня, вам же я доверяю с первого взгляда и думаю, что он меня не обманет.

С этими словами он взял бумагу, сверху до низу исписанную

его крупным почерком:—Перепишите мне это начисто—и если из этого вы узнаете многое, что покажет вам всю опасность нашего положения, то не смущайтесь,—все великое и решительное сопряжено с риском. Садитесь и пишите!

То, что мне передал адмирал, был меморандум, который он представлял принцу Оранскому. С возрастающим интересом следил я за ходом изложения, с присущей адмиралу ясностью обрисовавшего положение Франции. Вызвать войну с Испанией, во что бы то ни стало, без малейшего промедления,—писал адмирал,—в этом наше спасение. Альба погиб, если мы одновременно с вами нападём на него. Мой повелитель и король хочет этой войны; но Гизы всеми силами противодействуют этому; разжигаемая ими католическая партия сдерживает французскую воинственность, королева-мать, неестественно предпочитающая королю герцога Анжуйского, не хочет, чтобы он затмил ее любимца боевыми заслугами, к чему стремится мой король и повелитель. Я, как верно-подданный, желал бы, чтобы это ему удалось и, насколько в моих силах, хотел бы способствовать ему.

Мой план заключается в следующем: отряд добровольцев-гугенотов на этих днях проник во Фландрию. Если он сможет удержаться против Альбы,—а это зависит, главным образом, от того, выступите ли вы одновременно из Голландии против испанского полководца,—тогда этот успех побудит короля побороть все препятствия и решительно пойти вперед. Вы знаете очарование первой удачи.

Я окончил мою работу, когда появился слуга и что-то прошептал адмиралу. Прежде чем он успел подняться с своего кресла, вошел очень молодой человек, стройный, болезненного телосложения, сильно взволнованный, и стремительно встал перед ним со словами:

— Доброго утра, куманек! Что нового? Я уезжаю на несколько дней в Фонтенбло. Есть у вас известия из Фландрии?

Тут я бросился ему в глаза и, указывая на меня, он властно спросил:—Это кто?

— Мой секретарь, ваше величество; он тотчас же удалится, если угодно вашему величеству.

— Прочь его!—воскликнул молодой король,—я не хочу, чтобы меня подслушивали, когда я говорю о государственных делах! Разве вы забыли, что мы окружены шпионами?—Вы чересчур доверчивы, милый адмирал!

Он бросился в кресло и устался в пространство; затем, внезапно вскочив, похлопал Колиньи по плечу и, как бы забыв о том, что он только что требовал моего удаления, воскликнул:—Чорт побери! в ближайшем будущем мы объявим войну его католическому величеству!—Но прежние мысли, казалось, вновь овладели им, ибо он начал шептать с испуганным видом:—Вы помните, на днях? Когда мы совещались в моем кабинете, что-то зашуршало за драпировкой. Я обнажил шпагу, помните?—и два три раза кольнул туда! Тогда она поднялась, и кто же вышел оттуда? Мой милейший братец, герцог анжуйский с низжайшим поклоном!—Король передразнил его и засмеялся жутким смехом.—А я,—продолжал он,—смерил его взглядом, которого он не смог перенести, так что сейчас же убрался из комнаты.

Его бледное лицо приняло выражение столь бешеной ненависти, что я с испугом устался на него.

Для Колиньи подобные сцены, вероятно, не представляли ничего необычного; но присутствие постороннего свидетеля, видимо, было ему неприятно, и он удалил меня жестом.

— Я вижу, вы закончили вашу работу,—сказал он,—до свидания завтра.

По дороге домой меня охватила бесконечная грусть. От этого взбалмошного человека зависело решение всех дел! Откуда могло взяться постоянство мысли, откуда твердость в решениях, при такой ребяческой неразвитости, такой метущейся страстности? Разве адмирал мог действовать за него? И кто мог поручиться, что этим смятенным духом через час уже не овладеют другие, враждебные влияния! Я чувствовал, что уверенность была возможна лишь в том случае, если король сознательно будет поддерживать Колиньи; если же он явится для адмирала лишь орудием, то завтра оно уже может быть отнято у него.

Погруженный в эти тяжкие сомнения, я шел своим путем, как вдруг на плечо мне легла рука. Я обернулся и увидел безо-

блачное лицо моего земляка Боккара, который обнял меня и приветствовал с живой радостью.

— Добро пожаловать в Париже, Шадау!—воскликнул он.—Вы, я вижу, без дела; я в таком же положении, а так как король только что уехал, то вы должны пойти со мной: я покажу вам Лувр. Я живу там, так как мой отряд несет охрану внутренних покоев.—Я надеюсь, вам не будет в тягость,—добавил он, увидев, что я не в особенном восторге от его предложения,—пойти рука об руку с швейцарцем из королевской гвардии. Так как ваш божок, Колиньи, желает братского союза партий, то он, наверно, был бы сердечно рад увидеть, как дружен его секретарь с гвардейцем.

— Кто сказал вам...—прервал я его в изумлении.

— Что вы стали секретарем адмирала?—засмеялся Боккар.—Милый друг, при дворе болтают больше, чем нужно! Сегодня утром, за игрой в мяч, придворные гугеноты толковали о немце, который был обласкан адмиралом, и, по некоторым замечаниям, сделанным по адресу этой личности, я понял, что это, несомненно, мой друг Шадау. Хорошо, что гром и молния загнали вас тогда назад в «Три Лилии», иначе мы остались бы чужими друг другу; ибо вы вряд ли по доброй воле приняли бы навестить ваших земляков в Лувре! Сейчас я непременно познакомлю вас с полковником Пфифером.

Это предложение я отклонил, так как мне было известно, что Пфифер не только превосходный вояка, но и фанатический католик. Зато я охотно согласился осмотреть с Боккаром внутренность Лувра, ибо до сих пор я видел это знаменитое сооружение лишь снаружи.

Мы шли рядом по улицам, и я был очень доволен дружелюбной болтовне жизнерадостного фрибуржца, так как она отвлекала меня от моих тяжелых мыслей.

Вскоре мы вступили во дворец французского короля, в то время состоявший наполовину из мрачного средневекового замка и наполовину из нового прекрасного строения, воздвигнутого по желанию Екатерины Медичи. Это смешение двух эпох усилило у меня впечатление чего-то колеблющегося, несоразмерного, впечатления

тление противоречивых и борющихся друг с другом элементов, которое не покидало меня с той минуты, как я вступил в Париж.

После того как мы прошли по различным переходам и целому ряду комнат, смелые скульптурные украшения и распушенная живопись коих были чужды моему протестантскому вкусу и даже подчас оскорбляли его, но чрезвычайно развлекали Боккара, он открыл мне дверь в кабинет, говоря:—Вот комната, где занимается король.

Там царил страшнейший беспорядок. Пол был усеян нотными тетрадами и развернутыми книгами. На стенах висело оружие. На драгоценном мраморном столе лежала валторна.

Я довольствовался тем, что бросил через дверь взгляд на этот хаос; продолжая путь, я спросил Боккара, занимается ли король музыкой.

— Он ушераздирающе дудит,—отвечал он,—иногда по целым дням, а иногда, что еще хуже, по целым ночам, если он не стоит здесь рядом,—и он указал на другую дверь,—у наковальни и не кует, так что летят искры. Но теперь и валторна, и молот отдыхают. Он держит с молодым Шато-Гюйоном пари, кому из них раньше удастся пропрыгать взад и вперед по комнате, держа одну ногу в зубах. Это отнимает у него невероятно много времени.

Так как Боккар видел, что я опечалился, и так как ему, вероятно, вообще, показалось своевременным прекратить разговор о коронованном владыке Франции, то он пригласил меня пообедать с ним в находившейся неподалеку гостинице, которую он очень расхваливал.

Чтобы сократить путь, мы свернули в узкий и длинный переулок. Навстречу нам шли с другой стороны двое мужчин.

— Смотри,—сказал мне Боккар,—вон идет граф Гиш, пресловутый соблазнитель женщин и самый большой забияка при дворе, а рядом с ним,—неужели?—да ведь это Линьероль! И как он дерзает показываться среди бела дня, он, закономерным судебным решением приговоренный к смерти?

Я взглянул и узнал в более знатном из них того наглеца, который вчера вечером при свете факелов оскорбил Гаспарду дерз-

ким жестом. Приблизившись, он, казалось, тоже узнал меня, ибо взгляд его пристально уставился на меня. Мы занимали половину всей ширины узкого переулка, оставляя другую половину идущим навстречу для прохода. Боккар и Линьероль шли около стен, а мне и графу надо было вплотную пройти друг мимо друга.

Внезапно я почувствовал толчек и услышал, как граф сказал:

— Дай дорогу, проклятый гугенот!

Вне себя, я обернулся к нему, а он, смеясь, крикнул мне вслед:

— Ты и на улице собираешься пыжиться, как у окошка?

Я хотел броситься за ним, но Боккар обхватил меня и стал заклинять:—Только не здесь! На нас в одно мгновение набросится парижская чернь, а так как по твоему крахмальному воротнику они узнают в тебе гугенота, ты, несомненно, погибнешь! Само собой разумеется, ты должен получить удовлетворение. Предоставь это дело мне, и я буду рад, если этот знатный господин согласится на честный поединок. Но имя швейцарца не должно быть запятнано, хотя бы вместе с твоей жизнью мне пришлось рискнуть и моей!

Теперь, ради всех святых, скажи мне, разве ты знаком с Гишем? Разве ты возбудил его против себя? Но нет, это невозможно! Негодяй просто в плохом настроении и захотел отвести душу на твоём гугенотском одеянии.

Тем временем мы вошли в гостиницу, где поспешно и в расстройстве принялись за наш обед.

— Надо собраться с силами,—сказал Боккар,—ибо мне не легко будет сладить с графом.

Мы расстались, и я возвратился в мой постоянный двор, обещав Боккару, что буду ожидать его там. Через два часа он вошел в мою комнату.—Все в порядке! Граф завтра утром, на рассвете, будет драться с тобой за воротами Сен-Мишель. Он принял меня не невежливо, а когда я сказал ему, что ты из хорошего дома, он возразил, что теперь не время исследовать твою родословную, и что его интересует теперь только твой клинок.

— А как обстоит дело с этим?—продолжал Боккар.—Я убежден, что ты методичный фехтовальщик, но боюсь, что ты медлителен, в особенности по сравнению с таким юрким дьяволом, как он.

Лицо Боккара приняло озабоченное выражение и, крикнув, чтобы принесли две учебных шпаги—в первом этаже рядом с моей гостиницей была фехтовальная зала,—он вложил одну из них мне в руку и сказал:

—А ну, покажи твое искусство.

После нескольких схваток, проведенных мною в обычном темпе, между тем как Боккар неустанно и тщетно старался подгонять меня криками: «живее, живее!»—он бросил свою шпагу и отвернулся к окну, чтобы скрыть от меня слезу, появление которой я, однако, уже заметил.

Я подошел к нему и положил ему руку на плечо.

— Боккар,—сказал я,—не огорчайся. Все предопределено. Если мой смертный час назначен на завтра, то не понадобится клинка графа, чтобы перерезать нить моей жизни. Если же нет, то и его опасное оружие не сможет причинить мне вреда.

— Не выводи меня из терпения!—возразил он, быстро оборачиваясь ко мне.—Каждая минута, остающаяся в нашем распоряжении, драгоценна и должна быть использована—не фехтованием, ибо в теории ты непогрешим, а твоя флегма,—и он вздохнул,—неисцелима. Есть только одно средство спасти тебя. Обратись с молитвой к нашей Эйзидельской Божией Матери и не возражай с молитвой к нашей Эйзидельской Божией Матери и не возражай мне, что ты протестант,—один раз не в счет! Разве ее не расгрогает вдвойне, что один из отступников верит ей свою жизнь? У тебя достаточно времени прочитать много раз «Богородицу» для твоего спасения и, поверь, милостивая Матерь Божия не покинет тебя. Преодолей себя, милый друг, и последуй моему совету.

— Оставь меня в покое, Боккар!—ответил я, раздраженный его странным советом, но все же растроганный его любовью.

Он еще некоторое время тщетно настаивал. Потом мы условились обо всем, что нужно на завтра, и распростились.

В дверях он еще раз обернулся ко мне и сказал:—Хоть перед сном вспомни о Ней, Шадау!

VI

На следующее утро быстрое прикосновение разбудило меня. Боккар стоял у моего ложа.

— Вставай!—крикнул он,— время не терпит, если ты не хочешь опоздать! Я забыл сказать тебе вчера, кого граф выбрал себе секундантом; это—Линьероль. Если хочешь, еще лишнее оскорбление! Но в этом то преимущество, что если бы ты,—он вздохнул,—серьезно ранил твоего противника, этот достопочтенный секундант безусловно будет помалкивать, ибо у него тысячи достаточных оснований не привлекать на себя общественного внимания.

Одеваясь, я заметил, что мой друг о чем-то хочет попросить меня и с трудом преодолевает это желание.

Я надел мою дорожную куртку, шитую еще в Берне, по швейцарскому обычаю, с основательными карманами с обеих сторон, и надвинул на лоб свою широкополую шляпу, когда Боккар с внезапным порывом обнял меня и, поцеловав, прижался своей кудрявой головой к моей груди. Это чрезмерное участие показалось мне не мужественным, и я успевающе отстранил обеими руками благоухающую голову. Мне казалось, что в это мгновение Боккар что-то проделывал с моей курткой; но я не обратил на это внимания, так как надо было спешить.

Молча мы шли по улицам в утренней тишине, под слегка накрапывавшим дождем, прошли через только что открытые городские ворота и нашли недалеко от них сад, окруженный полуразрушенными стенами. Это одинокое место было избрано для поединка.

Мы вошли и увидели Гиша и Линьероля, которые, ожидая нас, расхаживали среди буковых зарослей главной аллеи. Граф приветствовал меня с насмешливой вежливостью. Боккар и Линьероль сошлись, чтобы условиться относительно места и оружия.

— Утро свежо,—сказал граф,—если вы согласны, то будем драться в куртках.

— Панциря нет?—спросил Линьероль, делая рукой нащупывающий жест по направлению к моей груди.

Граф взглядом приказал ему оставить это.

Нам подали две длинные рапиры. Бой начался, и я вскоре заметил, что имею дело с противником, превосходящим меня быстротой и ловкостью и при этом вполне хладнокровным. Испробовав мою силу несколькими легкими ударами, нанесенными как бы в фехтовальной зале, он стал менее небрежным. Начался бой не на жизнь, а на смерть. Он намечал кварту, за которой в ускоренном темпе следовала секунда. Я едва успел отвести удар; если бы он повторил тот же прием немного скорее, я бы погиб. Я увидел его удовлетворенную усмешку и стал ожидать своего конца.

Следующий удар был нанесен с быстротой молнии, но гибкий клинок сильно согнулся, как бы наткнувшись на твердый предмет; я парировал, нанес ответный удар и пронзил моей шпагой грудь графа, который, уверенный в себе, сделал слишком далекий выпад. Он побледнел, лицо его приняло пепельный оттенок, затем он выронил оружие и рухнул на землю.

Линьероль нагнулся над умирающим, в то время как Боккар увлекал меня оттуда.

Поспешно мы обогнули городскую стену, и около третьих ворот Боккар вошел со мною в маленький известный ему трактирчик. Мы прошли через сени и поместились за домом в густо зарослей беседке. В утренней сырости все еще было мертвенно тихо. Мой приятель потребовал вина, которое принесла заспанная служанка. Он с удовольствием прихлебывал его, в то время как я не притронулся к своему бокалу. Я скрестил руки на груди и опустил голову. Убийство камнем лежало у меня на душе.

Боккар стал уговаривать меня выпить, и когда я, в угоду ему, осушил бокал, начал:

— Изменяет ли теперь некоторые люди свое мнение о Матери Божией Эйнзидельнской?

— Оставь меня в покое!—резко возразил я,—при чем же она тут, если я убил человека?

— Она причастна к этому больше, чем ты думаешь!—отвечал Боккар, с легким упреком во взгляде.—Только ей ты обязан тем, что сидишь здесь со мною рядом! Ты должен поставить ей толстую свечу!

Я пожал плечами:

— Неверный!—воскликнул он, и с торжеством вытащил из левого кармана на моей груди образок, который обычно носил на шее и который сегодня утром во время своего порывистого объятия, вероятно, потихоньку засунул мне в куртку.

С моих глаз словно спала повязка.

Серебряный образок задержал удар, который должен был пронзить мое сердце. Первым моим чувством был гневный стыд, как если бы я поступил нечестно и защитил свою грудь вопреки законам поединка. К этому присоединилось раздражение из-за того, что я был обязан жизнью идолю.

— Лучше бы мне лежать мертвым,—пробормотал я,—чем быть обязанным своим спасением злему суеверию.

Постепенно мысли мои, однако, прояснились. Образ Гаспарды встал в моей душе; а с нею вся полнота жизни. Я был благодарен за вновь подаренный мне солнечный свет и, когда я снова взглянул в радостные глаза Боккара, я не смог заставить себя спорить с ним, как мне ни хотелось этого. Его суеверие нельзя было одобрить, но его верная дружба спасла мне жизнь.

Я сердечно попрощался с ним и, обгоняя его, поспешил в ворота, направляясь через город к дому адмирала, ожидавшего меня в этот час.

Утро я провел там за письменным столом, просматривая, по его приказанию, счета, имевшие отношение к вооружению отправленного во Фландрию гугенотского отряда. Когда адмирал в свободную минуту подошел ко мне, я отважился попросить его послать меня в Фландрию, чтобы я мог принять участие в наступлении и присылать ему быстрые и точные сведения о ходе его.

— Нет, Шадау, — отвечал он, покачав головой, — я не могу подвергать вас опасности разделить участь добровольцев и умереть на виселице. Другое дело, если б вы пали рядом со мной после объявления войны. Я обязан перед вашим отцом не подвергать вас никакой другой опасности, кроме честной смерти солдата!

Было около полудня, когда приемная стала переполняться более обыкновенного и слышался все более возбужденный разговор.

Адмирал позвал своего зятя Телины, который сообщил ему,

что сегодня утром граф Гиш пал в поединке, и что его секундант, пресловутый Линьероль, велел графской прислуге взять труп у ворот Сен-Мишель и, раньше чем бежать, мог только сообщить, что господин их пал от руки неизвестного ему гугенота.

Колиньи наморщил брови и вспыхнул: — Разве я не воспретил самым строжайшим образом, разве я не угрожал, не умолял, не заклинал, чтобы ни один из наших не поднимал в это роковое время ссор, которые могут повести к кровавой развязке! Если поединок сам по себе поступок, которым ни один христианин без важных причин не должен отягощать своей совести, то в эти дни, когда одна искра, запавшая в пороховую бочку, может погубить всех нас, он становится преступлением по отношению к нашим братьям по вере и нашей родине.

Я не поднимал глаз с моих счетов и был рад, когда закончил работу. Затем я пошел на свой постоянный двор и велел отнести мои пожитки в дом портного Жильбера.

Болезненный человек с боязливым лицом, со всякими поклонами, провел меня в предназначенную мне комнату. Она была велика и просторна, и так как она находилась в верхнем этаже дома, то оттуда открывался вид на весь квартал, море крыш, среди которого возвышались к облачному небу шпили башен.

— Здесь вы в полной безопасности!—сказал Жильбер тонким голосом, вызвав этим улыбку на моем лице.

— Я очень рад,—отвечал я,—найти приют у брата по вере.

— Брата по вере? — залепетал портной, — не говорите так громко, господин капитан. Правда, я христианин евангельской веры, и—если нельзя будет иначе—тоже готов умереть за моего Спасителя; но быть сожженным, как Дюбур на Гревской площади!—я еще маленьким мальчиком присутствовал при этом—ух, это слишком ужасно!

— Не бойтесь, — успокаивал я его, — эти времена прошли, а мирный эдикт предоставляет всем нам открыто исповедывать свою веру.

— Дай Бог, чтоб это так и осталось! — вздохнул портной. — Но вы не знаете нашей парижской черни. Это дикий и завистливый народ, и такое уже наше гугенотское счастье—мы раздражаем

их. Мы живем укомно, смиренно и честно, и поэтому они упрекают нас, что мы отстраняемся от них из чувства превосходства; но, Боже праведный! разве можно соблюдать десять заповедей и не отличаться от них при этом!

Мой новый хозяин покинул меня, и с наступлением сумерек я отправился через улицу к парламентскому советнику. Я нашел его чрезвычайно угнетенным.

— Злой рок тяготеет над нашим делом,—начал он.—Вы уже слышали, Шадау? Знатный придворный, граф Гиш, заколот сегодня утром каким-то гугенотом в поединке. Весь Париж только и говорит об этом и, я думаю, пater Панигарола не упустит случая указать на всех нас, как на шайку убийц, и провозгласить своего добродетельного покровителя, — ибо Гиш усердно посещал церковь,—в своих вечерних проповедях, производящих столь большое впечатление, мучеником католицизма... У меня болит голова, Шадау, и я пойду лягу. Пусть Гаспарда угостит вас перед сном.

Во время этого разговора Гаспарда стояла у кресла старика, задумчиво облокотившись на спинку. Она была сегодня очень бледна, и ее большие синие глаза смотрели очень серьезно.

Оставшись одни, мы несколько мгновений молча стояли друг против друга. Во мне зашевелилось тяжелое подозрение, что она, сама призвавшая меня защитить ее, теперь, содрогаясь, отступает перед обгаренным кровью человеком. Спасшие меня странные обстоятельства, о которых я не мог сообщить Гаспарде, чтобы не оскорбить этим кальвинистских чувств, более смущали мою совесть, чем грех убийства, не представлявшего, с точки зрения мужчины, тяжкого проступка. Гаспарда чувствовала, что у меня тяжело на душе, и могла искать причину этого только в убийстве графа и произошедших от этого невыгодах для нашей партии.

Немного спустя, она сказала сдавленным голосом: — Так это ты убил графа?

— Я, — был мой ответ.

Она снова смолкла. Потом, как бы внезапно приняв решение, она подошла ко мне, обвила меня обеими руками и горячо поцеловала в губы.

— Каково бы ни было твое преступление,—сказала она твердым голосом, — я твоя соучастница. Ради меня ты совершил его. Это я вовлекла тебя в грех. Ты за меня рисковал жизнью. Я бы хотела отплатить тебе за это, но разве я могу?

Я схватил ее за руки и воскликнул: — Гаспарда, позволь мне быть твоим защитником, каким я был сегодня, и завтра, и навсегда! Раздели со мной опасность и спасение, вину и искупление! Будем вместе неразлучно до самой смерти!

— Вместе и неразлучно! — сказала она.

VII

С того рокового дня, когда я убил Гиша и завоевал любовь Гаспарды, прошел месяц. Ежедневно я писал в кабинете адмирала, который, казалось, был доволен моей работой и относился ко мне с возрастающим доверием. Я чувствовал, что близость моих отношений к Гаспарде ему не безызвестна, хотя он ни единым словом не упоминал об этом.

За это время положение протестантов в Париже сильно ухудшилось. Вторжение во Фландрию не удалось, и неблагоприятное впечатление чувствовалось и при дворе, и в общественном мнении. Женитьба короля Наваррского на прелестной, но легкомысленной сестре Карла, вместо того, чтобы сблизить партии, увеличила пропасть между ними. Незадолго перед этим Жанна д'Альбрэ, мать Генриха Наваррского, пользовавшаяся среди гугенотов великим почетом за личные достоинства, внезапно умерла, как говорили, от яда.

В день свадьбы адмирал, вместо того, чтобы присутствовать на мессе, размеренными шагами ходил взад и вперед по площади Собора Парижской Богоматери и, всегда столь осторожный, обмолвился словом, которое со злейшей враждебностью было использовано против него.—Собор,—сказал он,—увешан знаменами. отнятыми у нас в гражданской войне; их надо убрать, а на их место повесить более почетные трофеи!—Этим он намекал на испанские знамена, но слова его были истолкованы в превратном смысле.

Колиньи послал меня с поручением в Орлеан, где стояли немецкие рейтары. Когда я возвратился оттуда и вошел в свое жилище, Жильбер с искаженным лицом вышел мне навстречу.

— Слыхали вы уже, господин капитан,—жалобно говорил он,—что адмирал вчера был предательски ранен, когда возвращался из Лувра в свой дворец? Говорят, не смертельно; но в его годы, при тех печальных заботах, которые гнетут его, кто знает, чем это кончится! А если он умрет, что будет с нами?

Я поспешно направился в дом адмирала, но меня не приняли. Привратник сказал мне, что прибыли высочайшие посетители, король и королева-мать. Это успокоило меня, так как в моем простодушии я полагал, что Екатерина не могла принимать участия в этом преступлении, если она сама навещает жертву. Король же, как уверял привратник, вне себя от негодования по поводу предательского покушения на жизнь его маститого друга.

Я отправился назад в дом советника и застал его оживленно беседующим со странной личностью, человеком средних лет, быстрой мимикой которого указывала на его происхождение с юга Франции. На нем был орден Св. Михаила. Я никогда не видывал более умных глаз. В них светился разум, а в бесчисленных складках и линиях вокруг глаз и рта беспокойно играл словно целый мир остроумных мыслей.

— Это хорошо, что вы пришли, Шадау! — воскликнул, увидя меня, советник, в то время, как я невольно сравнивал невинное лицо Гаспарды, в котором отражалась только чистота простой и сильной души, с умудренным жизнью обликом гостя,—хорошо, что вы пришли! Господин Монтань хочет увезти меня в свой замок в Перигор...

— Мы там будем читать вместе Горация,—заметил приезжий,—как мы это делали когда-то на водах в Эксе, где я имел удовольствие познакомиться с господином советником.

— Вы полагаете, Монтань,—продолжал советник,—что я могу оставить детей одних? Гаспарда не хочет расстаться со своим крестным, а этот молодой бернец не хочет расстаться с Гаспардой.

— Так что же,—насмешливо поклонился в мою сторону Мон-

тань,—чтобы укрепиться в добродетели, они почитают вместе книгу Товия! — Затем, увидев мое серьезное лицо, он переменял тон и закончил: — Одним словом, вы поедете со мной, милый советник?

— Разве против нас, гугенотов, замыслился заговор?—спросил я, становясь более внимательным.

— Заговор?—повторил гасконец. — Нет, не то, чтобы заговор! Разве такой, какой затевают тучи перед грозой. Четыре пятых нации принуждаются одной пятой к тому, чего они не желают—то-есть к войне во Фландрии,—это, конечно, должно внести в атмосферу известное напряжение. И, не посетуйте на меня, молодой человек, вы, гугеноты, нарушаете первое правило жизненной мудрости: что народ, среди которого живешь, нельзя оскорблять пренебрежением к его обычаям.

— Разве вы относите религию тоже к обычаям народа?—возмущенно спросил я.

— В известном смысле, да,—сказал он,—но на этот раз я подразумевал только обычаи каждодневного обихода: вы, гугеноты, одеваетесь мрачно, делаете серьезные лица, не понимаете шуток, вы так же накрахмалены, как ваши воротники. Одним словом, вы обособляетесь, а это влечет за собой наказание, как в большом городе, так и в самой маленькой деревне! Гизы лучше понимают жизнь! Только что я проходил и видел, как герцог Генрих слезал с лошади у своего дворца и пожимал стоявшим вокруг гражданам руки, веселый, как француз, и добродушный, как немец. Вот это правильно! Все мы рождены женщиной, а мыло стоит не дорого!

Мне показалось, что за этим шутливым тоном гасконец скрывает тяжелые опасения, и я хотел продолжать свои расспросы, когда старый слуга доложил о приходе гонца от адмирала, который немедленно требовал к себе меня и Гаспарду. Гаспарда накинула густую вуаль, и мы поспешили.

По дороге она рассказала мне, что пережила в мое отсутствие.

— Ехать рядом с тобой под градом пуль, по сравнению с этим, было бы шуткой,—уверяла она.—Чернь на нашей улице так озлобилась, что я не могу выйти из дому, чтобы меня не начали преследовать ругательствами. Если я одевалась сообразно моему по-

ложению, мне вслед кричали: — Смотри, какая высокомерная! — Когда я одевалась скромно, кричали: — Смотри, какая ханжа! — День или неделю это можно вытерпеть; но ведь не видно конца! Наше положение в Париже напоминает мне положение одного итальянца, которого враг вверг в темницу с четырьмя маленькими окошечками. Проснувшись на следующее утро, он увидел только три окна, затем два, на третий день одно и, наконец, понял, что адский враг запер его в помещение, понемногу превращавшееся в давящий гроб.

Так, беседуя, мы пришли в дом адмирала, который сейчас же допустил нас к себе.

Он сидел на своем ложе, при чем раненая левая рука его была на перевязи, и имел бледный и усталый вид. Рядом с ним стоял священник с седой бородой. Он не дал нам сказать слова.

— Часы мои сочтены, — сказал он, — выслушайте меня и повинуйтесь мне! Ты, Гаспарда, по моему дорогому брату приходишься мне кровной родней. Теперь не время скрывать нечто, что тебе известно и что не должно остаться тайной вот для него. Твоей матери было причинено зло французом; я не хочу, чтобы и ты поплатилась за грехи нашего народа. Мы должны искупить вину наших отцов. Ты же, насколько это зависит от меня, будешь вести благочестивую и спокойную жизнь в немецкой земле.

Он продолжал, обратившись ко мне: — Шадау, вам не придется пройти военную школу под моим руководством. Здесь все мрачно. Жизнь моя идет к концу, а моя смерть — начало гражданской войны. Не принимайте в ней участия, я запрещаю вам это. — Дайте руку Гаспарде, я даю вам ее в жены. Без промедления поезжайте на родину. Покиньте эту злосчастную Францию, как только узнаете о моей смерти. Устройте ее в Швейцарии, а потом сами поступайте на службу к принцу Оранскому и сражайтесь за правое дело!

Он подозвал старца и предложил ему повенчать нас.

— Только поскорее, — прошептал он, — я устал и нуждаюсь в отдыхе.

Мы стали на колени у его ложа, и священник совершил обряд венчания, соединив наши руки и произнося слова обряда на память.

Потом адмирал благословил нас своей тоже изуродованной правой рукой.

— Прощайте! — закончил он, лег и повернулся лицом к стене.

Так как мы медлили покинуть комнату, то мы еще слышали ровное дыхание спокойно уснувшего больного.

Молча, в необычайном настроении возвратились мы домой и застали Шатильона все еще в оживленной беседе с господином Монтанем.

— Дело выиграно! — ликовал последний, — папаша соглашается, и я сам уложу его вещи, так как я делаю это превосходно.

— Поезжайте, милый дядя! — сказала Гаспарда, — и не заботьтесь обо мне. Отныне это дело моего мужа. — И она прижала мою руку к груди. Я тоже настаивал, чтобы советник уехал с Монтанем.

Внезапно, в то время как все мы уговаривали его и полагали, что он согласился, он спросил: — А адмирал покинул Париж? — И когда услышал, что Колиньи остался и останется, несмотря на увещания близких, даже если его здоровье позволит ему уехать, он, с блеском в глазах, воскликнул твердым голосом, какого я не замечал за ним раньше:

— Ну, так и я останусь! Я часто бывал в жизни трусом и эгоистом; я не всегда заступался, как должно, за моих братьев по вере; но в этот последний час я не покину их.

Монтань прикусил губу. Все наши увещания оказались бесполезными, старик остался при своем решении.

Гасконец похлопал его по плечу и сказал с легкой насмешкой:

— Старина, ты обманываешь самого себя, если думаешь, что действуешь из геройства. Ты делаешь это ради твоего удобства. Ты слишком обленился, чтобы покинуть твое уютное гнездо, даже в том случае, если гроза завтра разнесет его. Это тоже своего рода точка зрения, и ты по своему прав.

Затем насмешливое выражение его лица сменилось глубоко горестным, он обнял Шатильона, поцеловал его и поспешно простился.

Советник, странно взволнованный, пожелал остаться один.

— Оставьте меня, Шадау! — сказал он, пожимая мне руку, — а сегодня вечером, перед сном, зайдите еще раз.

Сопровождавшая меня Гаспарда в дверях внезапно выхватила у меня дорожный пистолет, еще торчавший у меня за поясом.

— Оставь лучше! — предостерег я. — Он заряжен.

— Нет, — засмеялась она, закидывая голову, — я оставлю его, как залог того, что сегодня вечером ты не опоздаешь к нам! — и она скрылась с ним в дом.

VIII

В моей комнате лежало письмо от моего дяди на бумаге его обычного формата, написанное его знакомым старомодным почерком. Красный оттиск печати с его девизом: «Pèlerin et Voyageur» на этот раз вышел чрезмерно большим.

Я еще держал это послание неоткрытым в руке, когда в комнату, не постучав, ворвался Боккар.

— Разве ты забыл твое обещание, Шадау? — крикнул он мне.

— Какое обещание? — хмуро спросил я.

— Прекрасно! — сказал он с коротким и как бы искусственным смехом. — Если так пойдет дальше, то ты скоро забудешь твое собственное имя! Накануне твоего отъезда в Орлеан, в трактире «Мавр» ты торжественно поклялся мне, что сдержишь свое давнишнее обещание и наведишь нашего земляка, капитана Пффифера. Я тогда, по его поручению, пригласил тебя к нему в Лувр, на именины. Сегодня день св. Варфоломея. Правда, у капитана много имен, восемь или десять; но так как среди всех Варфоломей с содранной кожей в его глазах наибольший святой и мученик, то он, как добрый христианин, особенно празднует этот день. Если ты не придешь, он истолкует это, как гугенотское упрямство.

Я припоминал, что Боккар часто приставал ко мне с такими приглашениями, но я всегда откладывал посещение с недели на неделю. Что я принял приглашение на сегодня, мне не помнилось, но это было возможно.

— Боккар, — сказал я, — сегодня мне неудобно. Извинись за меня перед Пффифером и оставь меня дома.

Но он самым странным образом начал уговаривать меня, то шутя и приводя ребяческие доводы, то умолая и заклиная. В конце концов, он вспыхнул:

— Что ж, так-то ты держишь свое честное слово? — И так как я не был уверен, что не дал ему своего слова, то я не смог перенести этого упрека и, наконец, со страшной неохотой, согласился сопровождать его. Я торговался, пока он не обещал, что через час отпустит меня, и мы отправились в Лувр.

Париж был спокоен. Мы встречали только отдельные группы горожан, шептавшихся о здоровье адмирала.

Пффифер занимал комнату в первом этаже на большом дворе Лувра. Я изумился, увидев, что его окна были лишь скудно освещены и что, вместо веселого праздничного шума, стояла гробовая тишина. Когда мы вошли, капитан стоял один, посреди комнаты, вооруженный с головы до ног, углубившись в депешу, которую он читал или даже разбирал по слогам, ибо он водил по строчкам указательным пальцем левой руки. Он заметил меня и, подойдя, резко сказал:

— Вашу шпагу, молодой человек! Вы мой пленник. — Одновременно приблизились два швейцарца, до тех пор стоявшие в тени. Я отступил на шаг.

— Кто дает вам право распоряжаться мной, господин капитан? — воскликнул я. — Я секретарь адмирала.

Не уходя от меня ответа, он собственными руками схватил мою шпагу и завладел ею. Неожиданность настолько смутила меня, что я даже не думал о сопротивлении.

— Исполните свой долг! — приказал Пффифер Швейцарцы стали по обе стороны, и я, безоружный, последовал за ними, бросив взгляд, полный яростных упреков, на Боккара. Я не мог объяснить себе все это иначе, как тем, что Пффифер получил предписание от короля арестовать меня за поединок с Гишем.

К моему изумлению, меня провели только несколько шагов к хорошо известной мне комнате Боккара. Один из швейцарцев вынул ключ и старался открыть дверь, но усилия его были тщетны.

Ему, вторых, видимо, был вручен не тот ключ, и он послал своего товарища к Боккару, оставшемуся у Пфифера, чтобы спросить настоящий.

В эти краткие мгновения я, прислушавшись, услышал суровый, ворчливый голос капитана: — Из за вашей дерзкой проделки я могу потерять место! В эту чертовскую ночь нас едва ли кто-нибудь потребует к ответу, но как мы выведем завтра еретика из Лувра? Да простят мне святые, что я спасаю гугенота, — но мы не можем позволить, чтобы эти проклятые французы прирезали земляка и гражданина Берна, — в этом вы, конечно, правы, Боккар...

Дверь открылась, я очутился в темном помещении, затем за мной был повернут ключ и задвинут тяжелый засов.

Мучимый своими мыслями, я зашагал взад и вперед по хорошо известной мне из прежних посещений комнате, в то время как загороженное железными решетками, высоко расположенное окно постепенно начало освещаться всходящей луной. Как я ни перебирал в уме все обстоятельства дела, единственной правдоподобной причиной моего ареста мог быть только поединок. Правда, последние раздраженные слова Пфифера мне были непонятны; но я мог слышаться или же храбрый капитан мог быть навеселе. Еще непонятнее, более того, возмутительнее, казалось мне поведение Боккара, от которого я никогда не ожидал такого низкого предательства.

Чем дольше я раздумывал, тем более я запутывался в беспоконных сомнениях и неразрешимых противоречиях.

Неужели против гугенотов действительно готовят кровавый замысел? Разве это мыслимо? Неужто король, если он не сошел с ума, мог согласиться на уничтожение партии, гибель которой должна сделать его безвольным рабом его честолюбивой родни из Лотарингии?

Или готовится новое покушение на адмирала, и хотели удалить одного из его верных слуг? Но я казался себе слишком незначительным, чтобы могли обратить внимание прежде всего на меня. Король сильно разгневался по поводу ранения адмирала. Разве мог человек, обладая здравым рассудком, в несколько часов перейти от теплой привязанности к тупому безразличию или дикой ненависти?

В то время, как я ломал себе над этим голову, сердце мое кричало, что жена моя сейчас поджидает меня, считает минуты, а я заперт здесь и не могу известить ее.

Я все еще ходил взад и вперед, когда начали бить башенные часы Лувра; я сосчитал двенадцать ударов. Была полночь. Мне пришлось в голову пододвинуть к высокому окну стул, подняться до ниши, открыть его и, ухватившись за железные прутья, выглянуть в ночную темноту. Окно выходило на Сену. Все было тихо. Я уже собирался соскочить обратно в комнату, когда устремил взгляд наверх и оцепенел от ужаса.

По правую руку от меня, на балконе второго этажа, так близко, что я почти мог дотронуться до них рукой, я увидел три ярко озаренные лунным светом фигуры, которые, перегнувшись через перила, к чему-то безмолвно прислушивались. Ближе других ко мне стоял король: страх, бешенство и безумие исказили до выражения какой-то адской злобы его не лишенные благородства черты. Никакое горячее сновидение не могло быть ужаснее этой действительности. Теперь, описывая давно минувшее, я вновь вижу духовными очами пред собою этого несчастного — и содрагаюсь. Рядом с ним стоял, прислонившись, его брат, герцог Анжуйский, с дряблым, полным бабьей жестокости личиком, и дрожал от страха. Сзади них, бледная и недвижная, но наиболее спокойная, стояла Екатерина Медичи с полузакрытыми глазами и почти равнодушным видом.

Теперь король, как бы мучимый угрызениями совести, сделал судорожное движение, словно хотел отменить отданное приказание, и в то же мгновение раздался выстрел, как мне казалось, во дворе Лувра.

— Наконец-то, — прошептала с облегчением королева, и все три ночные тени скрылись с балкона.

Вблизи зазвонил тревогу колокол, за ним другой, с воем присоединился третий; вспыхнул резкий свет факелов, как зарево пожара, затрепали выстрелы, и моему напряженному воображению стало казаться, что слышны предсмертные стоны.

Адмирал убит, я не мог более сомневаться в этом. Но что означает набат, выстрелы, сначала одинокие, потом все более и более

частые, кроважные крики, теперь издали доходившие до моего настороженного уха? Неужели случилось неслыханное? Неужели избивают всех гугенотов в Париже?

А Гаспарда, моя Гаспарда, вверенная мне адмиралом, отдана в жертву всему этому ужасу вместе с беззащитным стариком! Мои волосы становились дыбом, кровь стыла в жилах. Я изо всех сил начал трясти дверь, но железные замки и тяжелый дуб не поддавались. Ощупись я начал искать орудие или инструмент, чтобы взломать ее, но не мог найти ничего. Я бил кулаками, стучал в дверь ногами, кричал, моля освободить меня, — но коридор оставался попрежнему погруженным в мертвенную тишину.

Еще раз я забрался в нишу окна и, в полном отчаянии, стал трясти железную решетку, но не было возможности сокрушить ее.

Горячий озноб охватил меня, и зубы мои застучали. Близкий к безумию я бросился на ложе Боккара и стал метаться в смертельной тревоге. Наконец, когда забрезжило утро, я впал в состояние между сном и бодрствованием, которое невозможно описать. Мне казалось, что я все еще цепляюсь за железные прутья и гляжу на неустанно текущую Сену. И вот, внезапно, из волн ее поднялась полуобнаженная, озаренная светом месяца женщина, речная богиня, опирающаяся на урну, из которой струилась вода, вроде тех, которые сидят на фонтанах в Фонтенбло, и заговорила; но слова ее были обращены не ко мне, а к каменной женщине, невдалеке от меня поддерживавшей балкон, на котором стояли три царственных заговорщика.

— Сестра, — спросила она из реки, — не знаешь ли ты, почему они избивают друг друга? Труп за трупом бросают они на мое струящееся лоно, и вся я испачкана кровью. Фу-фу! Быть может, бедняки, которые по вечерам, как я видела, моют в моей воде свои лохмотья, собрались прикончить богатых?

— Нет, — зашептала каменная женщина, — они убивают друг друга, потому что не могут никак согласиться, какая дорога ведет к блаженству. — И ее холодный лик исказился насмешкой, как если бы она смеялась над чудовищной глупостью.

В это мгновение заскрипела дверь, я очнулся из своего полубытья и увидев Боккара, бледного и мрачного, каким я еще

никогда не видывал его, а за ним двоих из его людей, из которых один нес хлеб и кружку вина.

— Ради Бога, Боккар, — воскликнул я и бросился ему навстречу, — что произошло сегодня ночью?.. Говори!

Он взял мою руку и хотел сесть ко мне на постель. Я стал сопротивляться и заклинал его говорить.

— Успокойся, — сказал он. — Это была недобрая ночь. Мы, швейцарцы, неповинны в этом, так повелел король.

— Адмирал погиб? — спросил я, пристально глядя на него.

Он утвердительно кивнул головой.

— А остальные вожди гугенотов?

— Убиты. Кроме тех немногих, которые, как Генрих Наваррский, пощажены по особой милости короля.

— Окончено избиение?

— Нет, толпа еще бушует по улицам Парижа. Ни один гугенот не должен остаться в живых.

Мысль о Гаспарде, как палящая молния, сверкнула в моем мозгу, и все остальное исчезло во мраке.

— Пусти меня! — вскричал я. — Моя жена, моя несчастная жена!

Боккар изумленно и вопросительно взглянул на меня.

— Твоя жена? Да разве ты женат?

— Дорогу, несчастный! — воскликнул я и бросился на него, так как он заступил мне выход. Мы начали бороться, и я бы справился с ним, если бы один из его швейцарцев не бросился к нему на подмогу, в то время как другой охранял выход.

В борьбе я упал на колени.

— Боккар! — застонал я. — Во имя Господа милосердного, заклиная тебя всем, что дорого тебе... заклиная тебя жизнью твоего отца... блаженством твоей матери... сжался надо мной и выпусти меня! Я же говорю тебе, что там моя жена... что ее в это мгновение, быть может, убивают... что ее, быть может, в это мгновение истязают! О! о! — и я стал ударять себя кулаком по лбу.

Боккар возразил успокаивающе, как говорят с больным.

— Ты не в своем уме, бедный друг! На свободе ты не пройдешь и пяти шагов, чтобы тебя не сразила пуля! Всякий знает,

что ты секретарь адмирала. Образумься. Ты требуешь невозможного.

Стоя на коленях, я зарыдал, как дитя.

Еще раз, полусознательно, как утопающий, я поднял глаза, ища спасения, в то время, как Боккар молча связывал порвавшийся в борьбе шелковый шнур, на котором низко свешивался серебряный образок Мадонны.

— Во имя Божьей Матери Эйнзидельской! — умолял я, сложив руки.

Боккар стоял, как зачарованный, устремив кверху взор и, как будто, шепча молитву. Затем он прикоснулся губами к образку и бережно снова спрятал его в куртку.

Мы все еще молчали, когда вошел молодой офицер, держа в руках депешу.

— Именем короля и по приказанию капитана, — сказал он, — возьмите двоих из ваших людей, господин Боккар, и собственно ручно доставьте этот приказ коменданту Бастилии.

Офицер вышел.

Боккар, после минутного раздумья, бросился ко мне с приказом в руках:

— Скорей, поменяйся платьем, вот, с Каттани! — зашептал он. — Я попытаюсь. Где она живет?

— На острове Св. Людовика.

— Хорошо. Подкрепись вином, тебе нужны силы.

Поспешно сняв свое платье, я надел мундир королевского швейцарца, опоясался шпагой, схватил аллебарду, и все мы вместе, Боккар, я и второй швейцарец, бросились на улицу.

IX

Уже во дворе Лувра моим глазам предстало страшное зрелище. Там лежали груды друг на друге только что убитые гугеноты из свиты короля наваррского, многие из них еще хрипели. Спеша вдоль Сены, мы далее на каждом шагу встречали ужасные

картины. Здесь лежал в своей крови несчастный старик с раскроенным черепом, там смертельно бледная женщина билась в руках грубого ландскнехта.

В одном переулке стояла могильная тишина, из другого раздавались крики о помощи и хриплые предсмертные стоны.

Я же, равнодушный к этим невыразимым страданиям, в совершенном отчаянии бежал вперед, так что Боккар и швейцарец еле поспевали за мной. Наконец, мы достигли моста и перешли через него. Я бросился бегом к дому советника, не спуская глаз с его высоко расположенных окон. У одного из них я видел размахивающие в борьбе руки; оттуда выталкивали седовласую человеческую фигуру. Несчастный — это был Шатильон — еще мгновение цеплялся слабыми руками за карниз, затем выпустил его и рухнул на мостовую. Я пробежал мимо разбившегося на смерть старика; в несколько прыжков избежал по лестнице и бросился в комнату. Она была наполнена вооруженными людьми, а из открытой двери библиотеки доносился дикий шум. Я проложил себе дорогу аллебардой и увидел Гаспарду, загнанную в угол, окруженную похотливой, ревущей сворой. Она удерживала ее на расстоянии, прицеливаясь из моего пистолета то в одного, то в другого. Она была бледна, как восковое изваяние, и в широко открытых голубых глазах ее сверкало страшное пламя.

С одного натиска растолкав всех перед собой, я очутился рядом с ней; воскликнув: «Слава Богу, это ты!» — она без чувств упала в мои объятия.

Тем временем Боккар со швейцарцем ворвались за нами.

— Эй вы! — пригрозил он, — именем короля, я воспреещаю вам коснуться этой дамы хотя бы пальцем! Назад, кому дорога жизнь! Мне приказано доставить ее в Лувр!

Он стал рядом со мной, и я уложил потерявшую сознание Гаспарду в кресло советника.

Тогда из толпы выскочил отвратительный субъект с окровавленными руками и испачканным кровью лицом, в котором я узнал осужденного Линьероля.

— Ложь и обман! — кричал он, — разве это швейцарцы? Это переодетые гугеноты самого опасного сорта. Вот этот — я хорошо

знаю тебя, неуклюжий негодай,—убил набожного графа Гиша, а тот помогал ему. Бейте их! Великая заслуга истребить этих преступных еретиков. Но девчонки не трогать — она моя!

И с бешенством изверг ринулся на меня.

— Злодей!—крикнул Боккар,—твой час пробил. Коли, Шадау!—Ловким движением он отбил вверх преступный клинок, и я вонзил мою шпагу по рукоять в грудь негодая. Он упал.

Толпа подняла бешеный вой.

— Прочь отсюда!—кивнул мне мой друг. —Бери жену на руки и следуй за мной!

Боккар и швейцарец, ударяя и коля, напали на сброд, отделявший нас от двери, и проложили путь, по которому я поспешно следовал за ними, неся Гаспарду.

Мы благополучно спустились по лестнице и вышли на улицу. Не успели мы отойти десяти шагов, как из окна грянул выстрел. Боккар пошатнулся, неверной рукой стал нащупывать на груди образок, выхватил его, прижал к бледневшим губам и упал.

Пуля попала в висок. Первый взгляд убедил меня, что я навсегда утратил его; второй, устремленный в окно, — что смерть настигла его из моего же, выпавшего из рук Гаспарды пистолета, которым теперь, ликуя, потрясал убийца. Гнусная банда следовала за нами по пятам, и с сердцем, обливающимся кровью, я покинул друга, над которым нагнулся его верный солдат, завернул за ближайший угол, в боковой переулок, где было мое жилище, достиг его незамеченным и по вымершему дому взбежал с Гаспардой наверх в мою комнату.

У дверей в первом этаже мне пришлось пройти через большие лужи крови. Портной лежал убитым, его жена и его четверо детей, кучкой свалившись у очага, спали сном смерти. Даже маленький пудель, любимец дома, убитый лежал рядом с ними. Запах крови наполнял дом. Поднявшись по последней лестнице, я увидел, что моя комната открыта, ветер хлопал полуразбитой дверью.

Убийцы, найдя мое ложе пустым, не долго пробыли там, бедная обстановка моей комнаты не обещала им добычи. Несколько книг, бывших у меня, разорванными валялись по полу, в одну из них я спрятал письмо дядя, когда меня застал Боккар; оно выпало

оттуда, и я взял его. Всю мою наличность я еще с путешествия носил на себе в поясе.

Я уложил Гаспарду на постель, где она, бледная, казалось, дремала, и, стоя рядом с ней, размышлял, что предпринять. Она была одета невзрачно, в платье служанки, вероятно, потому, что хотела бежать вместе со своим приемным отцом. Я был в мундире швейцарской гвардии.

Дикое отчаяние охватило меня при мысли о преступно прелитой дорогой и невинной крови.

— Прочь из этого ада! — вполголоса сказал я про себя.

— Да, да, прочь из этого ада! — повторила Гаспарда, открывая глаза и приподнимаясь на ложе. — Мы не можем оставаться здесь. Бежим через первые же ближайшие ворота.

— Подожди! возразил я. — Тем временем настанет вечер, и сумерки, быть может, облегчат нам бегство.

— Нет, нет, — решительно сказала она, — ни мгновения я не останусь в этой луже! Что нам до жизни, если мы можем умереть вместе!.. Пойдем прямо к ближайшим воротам. Если на нас нападут и захотят оскорбить меня, ты заколешь меня и убьешь двух или трех из них, тогда мы, по крайней мере, не умрем неостмщенными. Обещай мне это!

Немного подумав, я согласился, так как и мне казалось лучше во что бы то ни стало положить конец беде. Убийства могли вновь начаться завтра, а ворота по ночам охранялись тщательнее, чем днем.

Мы отправились в путь, медленно идя рядом по пропитанным кровью улицам, под синим безоблачным небом.

Беспрепятственно мы достигли ворот.

Под воротами, перед дверью в помещение караула, стоял, скрестив на груди руки, лотарингский воин с жовязкой Гизов, устремивший на нас свой острый взгляд.

— Странные птички! — засмеялся он. — Куда направляетесь, господин швейцарец, с вашей сестричкой?

Нащупывая рукоять своего меча, я подходил, решив прозвить ему грудь; ибо я устал жить и устал лгать.

— Клянусь рогами сатаны! Вы ли это, господин Шадау? —

сказал лотарингский капитан, при последнем слове понижая голос. — Войдите, здесь нам никто не помешает.

Я взглянул ему в лицо, стараясь вспомнить его. В памяти моей всплыл образ богемца, моего бывшего учителя фехтования.

— Да, да, это я, — продолжал он, прочитав по моим глазам мои мысли, — и, как мне кажется, я здесь кстати.

С этими словами он увлек меня в комнату, и Гаспарда последовала за нами.

В душном помещении на скамье лежало два пьяных солдата, игральные кости и стакан валялись рядом с ними на полу.

— Вставайте, собаки! — рявкнул на них капитан. Один с усилием поднялся. Он схватил его за руку и вытолкнул за дверь, со словами:

— На смену, негодяй! Ответишь жизнью, если кто-нибудь пройдет!

Другого, только издавшего хрюкающий звук, он сбросил со скамьи и ногой толкнул под нее, где тот продолжал свой мирный храп.

— Будьте любезны, господа, присядьте! — и жестом любезного кавалера он указал на грязное сиденье.

Мы сели, он придвинул сломанный стул, сел на него верхом и, облокотившись локтями на спинку, начал развязным тоном:

— Теперь поболтаем! Мне ясно, в чем дело. Вам нечего объяснять мне. Вы хотите пропуск в Швейцарию, не так ли? Я почитаю для себя честью отплатить вам услугой за любезность, с которой вы в свое время показали мне вюртембергскую печать, зная, что я знаток этих дел. Рука руку моет. Печать за печать. Теперь я могу помочь вам ею.

Он пошарил в бумажнике и вытащил несколько бумаг.

— Видите, как человек осторожный, я на всякий случай попросил милостивейшего герцога Генриха выдать мне и моим людям, нанесшим вчера визит адмиралу, — эти слова сопровождался жестом, от которого я содрогнулся, — нужные для проезда бумаги. Предприятие могло оказаться неудачным. Но святые смиротворились над добрым городом Парижем! — Один из пропусков — вот он — выдан на имя отставного королевского швейцарца, фурьера Коха.

Возьмите его? он даст вам возможность свободно проехать через Лотарингию до швейцарской границы. Это, стало быть, в порядке. — Что же касается дальнейшего пути с вашей красоткой, с которой я, без лести, вас поздравляю, — и он поклонился Гаспарде, — то прекрасная дама вряд ли хороший пешеход. Я могу уступить вам, поэтому, двух кляч, одну даже с дамским седлом, — ибо я сам любим и катаюсь обыкновенно вдвоем. Вы мне дадите за это сорок золотых гульденов, наличными, если у вас есть при себе столько; в противном случае, я поверю вам на честное слово. Они, правда, немного загнаны, ибо мы сломя голову мчались по приказу в Париж; но до границы они еще продержатся. Он крикнул в окошечко конюшенного мальчика, бродившего у ворот, и приказал ему спешно сесть.

В то время, как я отсчитывал ему на скамье деньги, почти всю мою наличность, богемец сказал: — Я с удовольствием слышал, что вы оказались достойным своего учителя фехтования. Мой друг Линьероль все рассказал мне. Он не знал вашего имени, но по его описанию я сразу узнал вас. Так вы закололи Гиша? Чорт возьми, это не пустяк! Я никогда не ожидал от вас такой прыти. Правда, Линьероль думает, что вы немножко защитили себе грудь панцирем. Это на вас не похоже, но, в конце концов, каждый спасает себя, как может.

Гаспарда сидела при этом разговоре безмолвная и бледная. Лошадей привели, богемец, от прикосновения которого она вздрогнула, по всем правилам искусства помог ей сесть в седло, я вскочил на другого коня, капитан поклонился нам, и, спасенные, мы помчались с гулким топотом под ворота и по гремящему мосту.

X

Две недели спустя, в свежее осеннее утро я поднимался с моей молодой женой на последнюю возвышенность горного кряжа, отделяющего Франш-Конте от Невшатльской области. Поднявшись на хребет, мы пустили наших лошадей на траву, а сами сели на скалу.

Перед нашими глазами открывался широкий мирный вид, залитый утренним солнцем. У наших ног светились озера Невшательское, Муртенское и Бильское; вдаль тянулась свежая зелень возвышенностей Фрибурга, с красивыми линиями холмов и темной каймой лесов; задний план составляли только что начавшие очищаться от облаков вершины гор.

— Так эта прекрасная страна—твоя родина и, наконец-то, земля евангелическая?—спросила Гаспарда.

Я показал ей сверкавшую слева на солнце башенку замка Шомон.

— Там живет мой добрый дядя. Несколько часов еще, и он примет тебя в свои объятия, как любимое дитя! Здесь внизу, у озер, евангелическая страна, а там, где ты сможешь различить вдаль шпили башен Фрибурга, там католики.

Когда я назвал Фрибург, Гаспарда задумалась.

— Родина Боккара!—сказала она.—Ты помнишь, как весел он был в тот вечер, когда мы в первый раз встретились в Мелане? Теперь его отец напрасно будет ожидать его,—он умер за меня.

Тяжелые слезы закапали с ее ресниц.

Я ничего не ответил, но с быстротою молнии перед моей душой прошло роковое сплетение моей судьбы с судьбой моего веселого земляка, и мои мысли обвиняли и оправдывали друг друга.

Невольно я схватился за грудь в том месте, где образок Боккара охранял меня от смертельного удара.

В моей куртке зашуршало что то, вроде бумаги; я вытащил забытое, еще непрочитанное письмо дяди и сломал бесформенную печать. То, что я прочел, повергло меня в горестное изумление. В письме было сказано:

«Милый Ганс,

Когда ты будешь читать эти строки, я уже уйду из жизни или, скорее, войду в жизнь.

Уже несколько дней я чувствую себя очень слабым, хотя несколько не болен. В тишине снимаю обувь паломника и откладываю в сторону посох странника. Так как я еще могу держать

перо, то я сам хочу поведать тебе о моем возвращении на родину и собственноручно напишу адрес на письме, чтобы тебя не огорчил чужой почерк. Когда я уйду, старый Иохем, по моему приказанию, поставит около моего имени крест и запечатает письмо. Красной, не черной печатью. И не надевай по мне траура, ибо я в радости. Оставляю тебе мое земное достояние. Ты же не забывай о небесном.

Твой верный дядя Ренат».

Рядом неуклюжей рукой был намалеван большой крест. Я отбегнул и дал волю слезам. Затем я поднял голову и обратился к стоявшей рядом со мною, со сложенными руками, Гаспарде, чтобы ввести ее в опустелый дом моей юности.

Пер. с немецкого

Е. Э. Бертельс

ВЫСТРЕЛ С ЦЕРКОВНОЙ КАФЕДРЫ

(1878 г.)

I

В один из октябрьских дней, во втором часу пополудни, два лица духовного звания спускались с высоко лежащего Ютикона вниз к пристани Обермейлен. Пасторский дом был удобно расположен возле самой церкви, на первом из горных уступов, покрытом лугами и плодовыми деревьями; кратчайший путь от дома к озерной бухте, защищенной по сторонам как бы длинными стенами, вел через пустынные виноградники. Сбор винограда был окончен. Справа и слева виднелись одни лишь желтые или порванные листья, а на темнозеленых полосках травы, прорезающих ряды виноградника, цвел осенник. Только временами откуда-то издадека доносилась песня запоздалого виноградаря, быть может, какого-нибудь умудренного опытом хозяина, решившего выдержать необычно долго свою лозу, чтобы тем придать вину особую крепость.

Путники шли один вслед за другим, не обмениваясь ни словом, как будто слегка подавленные осенним настроением. К тому же крутой спуск, замощенный неровными каменными обломками и плитами, не представлял собою удобного пути, а занадный ветер, резкими порывами проносившийся над озером, временами порядком так трепал их одежды.

Первые дни сбора винограда были прекраснейшими в этом году. Теплый южный ветер прикрасил на свой лад снеговые горы и швейцарское озеро: горы он слил в одну сплошную, огромную, сияющую тихим светом цепь, озеро расцветил глубокими, сочными красками южного морского залива, как будто ему захотелось перенести сюда из-за Альп вакхический пейзаж подлинной Италии.

Но сегодня дул сильный ветер с другой стороны, и горные вершины, искаженные резким светом и жесткими тенями, казались более близкими в своих крутых, почти причудливых очертаниях.

— Пфанненштиль, твое намерение неразумно,—произнес внезапно шедший впереди приземистый крепкий человек, почти слишком полный для своих молодых лет. При этих словах он быстро повернул свое цветущее лицо в сторону высокого сухопарого спутника.

Тот, вместо ответа, споткнулся о камень, ибо взгляд его до сих пор был неотступно устремлен на Митиконскую колокольню, стройной иглой возвышавшуюся над лесистым полуостровом, по ту сторону озера. Приведя свои длинные ноги снова к мерному шагу, он ответил приятным грудным голосом:

— Я позволяю себе думать, Розеншток, что генерал не примет меня, как людоед из породы лестригонов. Он мой родственник, хотя и дальний. К тому же еще вчера я послал ему свою диссертацию о символике Одиссея, с почтительным посвящением.

— Святая простота,—проворчал Розеншток, который был обязан своим цветущим видом ремеслу предков, принадлежавших с незапамятных времен к членам именитой семьи мясников и колбасников в Цюрихе.

— Ты плохо знаешь того, там, наверху!—И он указал легким движением своего круглого подбородка на виллу итальянской архитектуры, стоящую по северной стороне поросшего дубом полуострова.—Он не очень-то жалуется своим родственникам, а твою мечтательную диссертацию, кстати сказать, удивившую своей странностью всех здравомыслящих людей, он только разнесет своими насмешками.

Ютиконский пастор перевел дух, как будто выдувая губами радужные мыльные пузыри, затем, спустя несколько времени, продолжал:

— Поверь мне, Пфанненштильчик, тебе лучше не связываться с обоими шутами там, наверху, с этими Вертмюллерами. Генерал—настоящая крапива, к которой нельзя прикоснуться без того, чтобы не ожечься, а его двоюродный брат, Митиконский пастор,—старый ребенок, роняющий репутацию всего нашего сословия своей

собачьей сворой, пистолетными ящичками, постоянным треском и пальбой. Ведь тебе самому, как викарью, довелось весной не мало претерпеть от всего этого. Правда, там есть Рахель, с ее тонко изогнутым носом, и алым, как вишня, ротиком! Но она тебя не любит! Дворянку, в конце концов, всегда потянет к дворянину. Поговаривают, что она обручена с Лео Кильшпергером. Но, послушай, не вешай носа, девичий отказ далеко еще не *consilium abeundi*; скажу тебе в утешение: и я неоднократно получал отказы, но посмотри,—я живу, процветаю и еще недавно сочелся браком.

Долгоязыкий кандидат кинул из-под белокурых, растрепанных ветром волос на товарища взгляд, полный отчаяния, и жалостно вздохнул. Ему, видимо, не хватало слоя жира поверх сердечного мускула.

— Прочь, уйти отсюда!—воскликнул он, горестно взволнованный. Я здесь погибну! Генерал не откажет мне в освободившемся месте полкового священника в своем венецианском полку.

— Пфанненштилль, я повторяю тебе, твое намерение неразумно. Оставайся на родине и зарабатывай честно свой хлеб.

— Ты в конец убиваешь меня! я не должен уезжать и не могу здесь оставаться. Куда же я денусь? В могилу?

— Стыдись, не будь мальчишкой. Сама по себе мысль о венецианской походной службе была бы вовсе не так плоха, особенно в том случае, если бы ты был решительным человеком и не имел таких голубых детски-невинных глаз. Генерал предложил намедни это место мне. Моя обширная грудная клетка могла бы, дескать, внушить уважение его людям. Понятно, все это пустяки! Он ведь хорошо знает, что я человек оседлый и не расстанусь со своим виноградником.

— Был ты там наверху?

— Третьего дня. — В душе ютиконского пастора видимо поднимался гнев. — С тех пор, как он снова здесь,—не больше недели,—этот старый смутьян взбудоражил и город, и озеро. Он приезжает, писал он из Вены, для того, что бы сделать перед предстоящим походом распоряжения по своему дому на случай смерти. Ну, вот он приехал,—и пошла гонка экинажей от левого

берега к Ау. Ланденберги, Шмидты, Рейнгарты—вся его родня, прежде бегавшая от седого вольнодумца и насмешника, как от зачумленного,—все они теперь понаехали и стараются попасть в наследники. Но генерала никогда нет дома; он, как сатана, носится быстрее молнии по озеру со своими людьми в двенадцативесельной галере. Моя паства проглядела все глаза, волнуется, болтает про нечистую силу. Мало того, от сумерек и до утра из труб его дома вылетают огненные драконы и призраки.

Вместо того, чтобы спать, как все добрые христиане, генерал проводит иногда ночи напролет за кузнечной и слесарной работой. Я видел сработанные им замысловатые замки,—настоящее чудо искусства, которых не открыть никакой отмычкой. «Это для людей,—сказал он с язвительным намеком на мою апостольскую бедность,—собирающих сокровища ворами на расхищение и моли на съедение.—Ну, ты понимаешь, что сноп вылетающих искр сыграл свою роль. Об этом судят и рядят, как о дьявольской лазейке, ведущей через трубу. Так нарастало брожение. Просвещать людей—это ни к чему путному не приводит. Я избрал более короткий путь и отправился, в качестве друга, предупредить генерала. Чорт побери, этого вечера я во всю свою жизнь не забуду! Мое предупреждение он отстранил насмешливой улыбкой, затем схватил меня за пуговицу сюртука и разразился речью,—подлинным ураганом, говорю я тебе, Пфанненштилль. С оторванной пуговицей, точно исколесованный, вернулся я домой. Он угостил меня мозельским вином, сдоблив, однако, его желчью самых язвительных замечаний. Разумеется, он заговорил о своем завещании, так как сейчас это его конек.—Вы там тоже упомянуты, ваше преподобие.—Я испугался.—Вот, я вам покажу этот параграф.—Он разворачивает свиток.—Читайте.—Я читаю,—и что же я читаю, Пфанненштилль?

«...Далее, моему ценному другу, пастору Розенштоку две полых медных запонки для манжет, со вставленными в них круглыми стеклышками, за которыми лежат на зеленом поле по три крошечных игральные кости. Когда его преподобие, стоя на церковной кафедре, станет жестикулировать попеременно то правой, то левой рукой, как бы нечаянно встряхивая при этом назван-

ными костяшками, то он может, бросая косые взгляды, сыграть сам с собою занимательную партию во время проповеди. Выше-означенные запонки излюблены молящимися Алжира, Туниса и Триполи и находят себе применение в мечетях во время чтения корана».

— Ну, подумай только, Пфанненштиль, какой скандал вызовет вскрытие завещания. Злодея удалось, наконец, уломать, и он согласился вручить мне тут же на месте свой дар и вычеркнуть соответствующий параграф из завещания. Вот!

И Розеншток вытащил из бокового кармана хорошенькую игрушку.

— Истинно нечестивое изобретение, — сказал Пфанненштиль с налетом усмешки, так как он знал склонность ютиконца к игре в кости. — И ты думаешь, что генерал относится враждебно ко всем решительно лицам духовного звания?

— Ко всем без исключения, с того времени, по крайней мере, как против него был возбужден процесс по обвинению в безбожных речах и ему пришлось заплатить крупным штрафом.

— Не слишком ли дорого он заплатился? — спросил Пфанненштиль, который склонен был подслащивать скромной мистикой свои швейцарско-реформаторские религиозные представления и в котором не было ни тени церковного фанатизма.

— Отнюдь. Ему пришлось только заплатить сразу по полному счету. В течение всего своего жизненного пути, начиная с юности, он богохульствовал. Все это под конец скопилось, и составила общая сумма. Когда во время последней усобицы он безуспешно осаждал Рапперсвилль, не щадя человеческих жизней, — что является ведь, первой обязанностью республиканского полководца, — то он восстановил против себя общественное мнение, и нам удалось до него добраться. Тут ему припомнили все его прегрешения против нашей церкви. Теперь-то, положим, мы не можем ничего поделать с полководцем его апостольского величества. Не то он, пожалуй, примет нам на зло католичество, и это будет еще худшим скандалом, чем прежние. Рассказывают, что он в Вене водит хлеб да соль с иезуитами и капуцинами. Без нас, духовных лиц, под тем или иным названием и одеянием, на этом свете никак не обойдется.

Ютиконец рассмеялся своей собственной шутке и остановился.

— Здесь граница моего виноградника, — сказал он. Этим выражением он обозначил свою общину. — Есть ли у тебя охота после моих рассказов попрежнему идти к генералу, Пфанненштиль? Сделаешь ли ты эту глупость?

— Я хочу теперь поискать немножко счастья с помощью глупости, мудрость приносила мне доселе лишь горькие плоды, — кратко возразил Пфанненштиль и распростился со своим строгим товарищем.

II

Немного спустя влюбленный и отчаявшийся кандидат сидел на поперечной скамье длинного и узкого челна; молодой лодочник Блейлинг направлял его чуть заметными взмахами весел через водную ширь к Ау.

Молчаливые дубы отбрасывали уже вечерние тени на подернутые выбью воды. Блейлинг, человек серьезный и замкнутый, с правильными чертами лица, все время не открывал рта. Его челнок шел ровным и сильным ходом, словно живое существо, по неспокойным волнам. Все озеро вдоль и поперек было усеяно судами с надувшимися парусами; была суббота, базарный день в городе, и суда возвращались оттуда. Три парусных лодки, летевшие по направлению к челноку, образовали своими сдвинувшимися носами замкнутый треугольник, в пределы которого казалось включенным и суденышко кандидата.

— Возьмите меня с собой на широкое раздолье, — бессознательно взмолился он, но те снова выпустили его из своей подвижной сети.

Дом генерала заметно приближался, открывая свой фасад. Прочно выстроенное, но легкое и стройное здание несколько не походило на обычные в этой местности постройки с крутыми крышами; казалось, что такая уединенность умышленно подыскана, чтобы оттенить его своеобразие.

— Вон там каморка турчанки, — произнес молчаливый Блей-

линг, выпуская из правой руки весло и показывая на южный выступ дома.

— Турчанки?—Кандидат превратился в один вопросительный знак.

— Ну, да, турчанки Вертмюллера. Он ее вывез с востока, где сражался за Венецианца. Я ее не раз видывал. Красивая женщина! У нее золотая шапочка на длинных распущенных волосах; обыкновенно, когда я проплываю мимо, она прикладывает палец к губам, будто подзывает свистом нашего брата мужчин. Но сейчас ее не видно в окне.

Протяжный крик прорезал воздух как раз по направлению лодки:

— Собачий сы-ы-ын!—донеслось отчетливо с берега.

Вспыльчивый Блейлинг ударил веслами по воде так, что пена и брызги высоко взметнулись по краям лодки.

— Вот так-то с тех пор, как Вертмюллер снова в наших краях, тебя всюду на озере кличут. Это проклятый черномазый шумит и бесчинствует с рупором генерала. Прошное воскресенье в трактире «Лев» в Мейлене его напоили допьяна, так что он валялся под столом. Потом привезли его ночью в моей лодке обратно к Вертмюллеру. Теперь этот трубочист ругается в рупор, так что слышно на несколько миль в округности. Но завтра,—я готов присягнуть,—он снова будет с нами сидеть в «Льве». Ну, скажи, пожалуйста, откуда взял мавр это чужое слово? Здесь тоже грубо выражаются, но только по-иному.

— Вероятно, это генерал ругает его такими словами,—замечтил смущенно Пфанненштиль.

— Это так и есть, сударь,—подтвердил парень.—Вертмюллер заносит сюда к нам чужие верхне-немецкие слова,—предатель! Но я не допущу, чтобы меня обзывали здесь на озере худыми словами, клянусь, что не допущу!

Блейлинг повернул без околичностей лодку и быстрыми, сильными взмахами весел снова выехал на середину озера.

— Что это на вас нашло, любезный друг, закликаю вас!—заволновался Пфанненштиль.—Мне необходимо на тот берег. Возьмите с меня хоть двойную плату.

Но деньги оказались бессильными перед лицом патриотического негодования, и кандидат вынужден был прибегнуть к просьбам и мольбам. С трудом добился он от оскорбленного Блейлинга, чтобы тот переправил его, — «только для вас», — заметил парень, — до южной бухты, дав крюку вокруг всего полуострова и держась при этом вне пределов досягаемости со стороны рупора. Там он выпустил кандидата на берег, и его челнок через несколько мгновений, быстро уменьшаясь, плыл снова в лазури озера.

III

Так был высажен Пфанненштиль, подобно беглецу, под дубы полуострова. Узкая тропинка вела в полумрак, он не замедлил пойти по ней. Воровскими шагами спешил он по шуршавшей под ногами листве к близкому просвету. Тот необычный путь, которым он попал в чужие владения, возбуждал в нем чувства; родственные дурному сну, и заставлял ускорять шаги; но в то же время дремлющая в каждом человеческом сердце любовь к приключениям начала и на нем проявлять свои чары. Так купающийся сначала не без легкого содрогания пробует, пальцами ноги, на ощупь воду, чтобы затем броситься в нее с головой.

Вскоре он достиг просвета, оказавшегося всего лишь мшистой, замкнутой прогалиной, освещаемой сверху как бы через куполообразное отверстие. Белка, игравшая на прогалине, перепрыгнула через голову кандидата на низко свешивавшуюся ветвь. Не успела та заколебаться, как быстрый зверек оказался уже на следующей.

Далее тропинка шла снова некоторое время через зеленые потемки, вплоть до крутого поворота, за которым кандидат увидел перед собой виллу на расстоянии всего лишь нескольких шагов.

Но шаги эти дались ему очень не легко: он принадлежал к тем робким людям, для которых приход и уход всегда сопряжены со стеснением, а генерал слыл за человека, готового облегчить своему гостю разве что последний, но отнюдь не первый. Вот по-

чему Пфанненштил и остановился в нерешительности позади дерева на опушке дуба с мощным стволом. Но то, что он подглядел из своей засады, носило характер вполне идиллической картины, никак неспособной его запугать.

Генерал мирно беседовал со своим соседом, Крахгальдером, на широко раскинувшейся и по осеннему времени слишком доступной ветру веранде, по шести высоким колоннам которой вилась листва роскошного иностранного винограда. Собеседника генерала кандидат, за время своего викариата, каждое воскресенье видал в числе прочих церковных старшин Митикона, восседающих близ алтаря — все это были люди, известные ему не хуже двенадцати апостолов. Вертмюллер сидел верхом на легком стуле, опершись локтями на спинку. Его ястребиный нос и выдающийся подбородок остро вырисовывались в профиль; красивая старая хитрая голова Крахгальдера носила, напротив, отпечаток необыкновенной мягкости.

— Мы, как цветы полевые, — выводил старик назидательным тоном. — И надо же было случиться, чтобы мы с вами в одни и те же дни выражали нашу волю на случай смерти. Я не делаю из этого тайны; три фунта оставляю я для обновления крыши на колокольне.

— И я не желаю ударить лицом в грязь, — заявил генерал, — и назначу в моем завещании ровно столько же на позолоту нашего флюгерного петуха, — птице не стыдно будет сидеть на заново отделанном шпиге.

Крахгальдер в раздумьи отхлебнул из стоявшего перед ним стакана и произнес:

— Правда, вы не ревностный сын церкви, но вы человек общественно-полезный. Знайте, община возлагает на вас надежды.

— Какие же надежды возлагает на меня община? — спросил генерал с любопытством.

— Вы хотите это знать? вы не рассердитесь?

— Отнюдь нет.

Крахгальдер сделал вторичную паузу:

— Быть может, вам было бы удобнее другое время? — спросил он.

— Нет иного времени, кроме настоящего. Пользуйтесь им!

— Вы оставили бы по себе прекрасную память, генерал, среди детей и внуков...

— Я не умаляю значения посмертной славы, — ответил генерал.

Крахгальдер, видя чудака в таком веселом настроении, считал момент за удобный для того, чтобы в осторожных словах оформить издавна лелеянное митиконцами желание.

— Ваш лес у «Волчьей тропы», г. Вертмюллер... — начал он неуверенно...

Генерал внезапно нахмурился, и старому крестьянину показалось, что надвигается грозная туча.

— ...врезается клином...

— Во что врезается клином? — в сердцах спросил генерал.

Крахгальдер стал соображать, продолжать ли ему наступление или повернуть назад, примерно, как человек, застигнутый бурей среди озера. Он решился на первое:

— ...В наш общинный лес...

Тут генерал одним прыжком вскочил со своего стула, схватил его за ножку, поднял вверх и стал в боевую позицию.

— Что ж, митиконцы хотят ограбить меня? — яростно закричал он. — Попал я в руки разбойников, что ли? — Затем он продолжал спокойнее, опустив свое деревянное оружие: — Пустые разговоры, Крахгальдер. Выбейте это людям из головы. Я не хочу вас морочить еще «из-за могильной плиты».

— Не взывайте, — спокойно сказал старик, — вы подумайте об этом, господин Вертмюллер.

Он поднялся и простился с генералом обычным сердечным рукопожатием.

Вертмюллер проводил его несколько шагов; когда он затем вернулся, перед ним очутился его лейб-мавр Гассан. Чернокожий сделал умоляющий жест и, причудливо коверкая немецкий язык, стал просить об отпуске на завтрашний вечер, так как его душу влекло к новым друзьям в Мейлен.

— В тебя вселился чорт, Гассан, — выбранил его генерал. — Последнее воскресение они сыграли с тобой достаточно злую штуку.

— Сыграли, — повторил мавр, не поняв выражения. — Корош, чудный игра!

— Нет в тебе, что ли, никакого чувства чести? Соприкосновение с цивилизацией губит тебя. Ты дуешь вино, точно христианин.

— Не дую, ваша милость, корош игра, нет такой игра. Яс! Я-ас! ¹⁾.

Он состроил при этом такую гримасу и закатил с такой страстной горячностью глаза, что Пфанненштиль, чувствительный, как это часто бывает у наивных людей, ко всему комическому, да к тому же, в данный момент, несколько нервный, явственно захихикал и, несмотря на все свои старания, не мог совладать с собой.

Видя, что его присутствие открыто, и не будучи в состоянии, подобно застигнутой врасплох дриаде, шмыгнуть в дуб, кандидат стыдливо выступил из-за дерева и приблизился к генералу с повторными смущенными поклонами.

— Вам чего здесь нужно? — спросил тот протяжно, смерив взглядом кандидата с головы до пят. — Вы кто?

— Я двоюродный брат... двоюродного брата... двоюродного брата, — запинаясь произнес Пфанненштиль.

Генерал нахмурил лоб.

— Мой отец был Пфанненштиль, а моя мать покойная Ролленбуц...

— Что, вы мне всю свою проклятую родословную собираетесь здесь излагать? Что там двоюродный брат! Мы братья, все люди братья. Убирайтесь вы к чорту! — И Вертмюллер повернулся к нему спиной.

Пфанненштиль стоял неподвижно. Он окаменел от генеральского приема.

— Фаннен-стиль, — произнес по слогам негр еще незнакомое ему слово, как будто желая обогатить свой запас немецких выражений.

— Пфанненштиль? — повторил генерал, становясь вниматель-

¹⁾ „Яс“ — популярная на цюрихском побережье карточная игра. (Прим. автора).

нее. — Имя мне знакомо. Стой, уж вы не сочинитель ли, — он повернулся снова к молодому человеку, — той диссертации о символике Одиссеи, которую я получил вчера?

Пфанненштиль утвердительно кивнул головой.

— В таком случае, вы очень милый человек, — сказал генерал и взял его дружески за руку. — Мы должны познакомиться.

IV

Он прошел с гостем на веранду, усадил его, налил ему до краев один из стаканов, стоявших на закусочном столе, и дал ему отдохнуть и подкрепиться.

— Прием был вам оказан военный, но вы найдете в солдате не плохого хозяина, — утешил он его. — Вы остаетесь здесь ночевать, — без разговоров, — нам есть о чем потолковать. Видите ли, любезный, ваша работа была для меня весьма приятным чтением.

И Вертмюллер протянул руку за книгой, лежавшей в оконной нише нижнего этажа, образующего заднюю стену веранды; между страницами этой книги была вложена растрепанная диссертация кандидата.

— Сначала один предварительный вопрос. Почему это вы на преподнесенном мне сочинении сделали надпись всего лишь в одну строку, вместо того, чтобы посвятить его мне, согласно *prologo* на первом белом листе откровенными, крупными печатными буквами? Потому что я не в ладах с вашими коллегами-попами? У вас нет характера, Пфанненштиль, вы слабый человек.

Кандидат извинился тем, что его незначительная работа не заслуживает чести носить на своем главном листе имя знаменитого полководца и знатока литературы.

— Вовсе не незначительная, — похвалил генерал. — У вас есть фантазия, вы сумели погрузиться в пурпурные глубины моей любимой поэмы, как не всякому удастся. Правда, — лишь для доказательства абсурдного положения. Но с этим ничего не поделаешь:

мы, люди, вообще тратим свои лучшие силы для достижения дурацких результатов. Если бы вы догадались своевременно спросить моего совета, я бы придал вашей диссертации такой оборот, который вызвал бы изумление и в вас самих, и в ваших поповских экзаменаторах, и во всей публике. Вы почувствовали, Пфанненштиль, что вторая половина Одиссея отличается особой красотой и величием. — Что? Возвратившийся домой путник подвергается под видом нищего бродяги оскорблениям у собственного очага. — Что? Женихи стараются уверить самих себя, что он никогда не вернется и все же чувствуют его присутствие. Они смеются, а лица их искажены уже предсмертной борьбой, — вот это поэзия! Но вы правы, Пфанненштиль, какой толк в поэзии, если за ней не скрывается мораль. Это словно девиз, запеченный в сладкий пирожок. Ну-ка, надломим его! Раз Одиссей не может и не должен означать просто Одиссея, то кого и что он должен означать? Нашего Господа и Спасителя, грядущего судить живых и мертвых, — так доказываете вы, и так у вас и напечатано. Нет, кандидат, Одиссей означает всякую правду, оскорбляемую в рабском обличии среди самонадеянных женихов, то бишь, попов, которым она в один прекрасный день пронзит сердце в победоносном своем облике.

Ну-с, кандидат, как вам это нравится? Такой бы оборот вам следовало придать вашим мыслям. И, будьте уверены, диссертация возбудила бы по справедливости всеобщее внимание.

Пфанненштиль затрепетал при одной мысли о том, что его символически можно придать такой кощунственный и дерзкий оборот. Его простодушное существо не позволило ему распознать, — или дало почувствовать лишь в общих неопределенных очертаниях, — дьявольское копытце старого насмешника.

Чтобы избежать затруднительной необходимости дать ответ старому вольнодумцу, кандидат взял в руки пергаментный том, которым Вертмюллер размахивал во время своей речи. Это было Альдинское издание Одиссея. Пфанненштиль стал с благоговейными чувствами рассматривать заглавный лист редкой книги. Вдруг он отпрянул назад, будто перед жалом ехидны. Он заметил на поле слева, возле герба венецианского книгопродавца, слегка выпуклые, размашистым почерком писанные строки, гласившие:

Georgius Jenatius me jure possidet.

Constat R. 4. Kz. 12 ¹⁾).

Он отбросил книгу, как будто от нее исходил запах крови.

В то время кости загадочного граубюнденца тлели уже десятилетия в земле под собором в Куре; меж тем, образ его во времена покорности, времена, чуждые патриотизма, принял искаженные, отталкивающие черты, так что от его подлинной личности ничего не уцелело, кроме отступника и кровопийцы. Пфанненштиль смотрел на него просто, как на чудовище, в существование которого он едва мог поверить, которого он даже не в состоянии был представить себе в действительности.

Генерал потешался над его испугом, затем он небрежно сказал:

— Ваш бывший коллега, милый человек, принес мне эту книгу в дар, когда мы были с ним еще в хороших отношениях, и я как-то посетил его в Давосе в его Малепарте.

— Так, значит, он все-таки жил когда-то, — произнес вполголоса кандидат. — У него были книги, как и у нашего брата, и он заносил на заглавный лист их стоимость!

— Да еще как жил! Совсем по особенному, крепко отстаивая себя, — произнес генерал с коротким смехом. — Как раз сегодня ночью он мне приснился; это наверно от того, что весь вчерашний день мне пришлось заниматься противным делом. Я писал свое завещание, — а что может быть обиднее, как, будучи живым и здоровым, делить свое имущество? Оно, ведь, тоже составляет часть нас самих.

Любопытство молодого священника было возбуждено. Не окажется ли этот сон предостерегающим видением, которое в назидательном, искусном толковании поможет ему возбудить в сидящем перед ним собеседнике благочестивые мысли?

— Не сообщите ли вы мне ваш сон? — спросил он со взглядом, в котором светилось искреннее чувство.

— К вашим услугам. Действие происходит в Куре. Людская толпа, чиновные парики, военные, — со стороны собора благовест и салютные выстрелы. Мы проходим под аркой ворот на епископский двор. Далее мы идем вдвоем, со мною рядом какой-то колосс.

¹⁾ „Леною по праву владеет Георгий Енач. Цена 4 талера 12 крейцеров“.

Я вижу только шляпу с пером, из под нее огромный нос и свисающую на воротник черную, как смоль, бородку.

— Вертмюллер,—спрашивает великан,—кого мы хороним?—Не знаю,—отвечаю я. Мы проходим в собор между скамьями нефа.—Вертмюллер,—спрашивает он,—кого они отпевают?—Не знаю,—отвечаю я нетерпеливо.—Маленький Вертмюллер,—говорит он,—подымись же на цыпочки и посмотри, кто лежит там на катафалке?—Тут я начинаю ясно различать на углах покрыва инициалы и герб Енача, и в то же мгновение он сам стоит около меня и поворачивается ко мне лицом—бледный, с потухшими глазами.—Чорт пебери, полковник,—говорю я,—вы лежите там под покровом с вашими семью смертельными ранами, и в то же время ведете со мною здесь беседу? Что это, вы раздвоились, что ли? Да разве это разумно, разве это логично? Проваливайтесь в преисподнюю,—шутник!

А он мне в ответ с подавленным видом:—Тебе не в чем меня упрекать, не важничай: ведь и ты, Вертмюллер, мертв.

У Пфанненштиля пробежали мурашки по телу. Этот сон накануне кровопролитного, без сомнения, похода, предстоящего генералу, показался ему серьезным предзнаменованием, и он принялся обдумывать слова пастырского увещания.

Вертмюллер также не мог сразу отделаться от впечатления своего сна после того, как он его рассказал.

— Полковник был зарублен своей возлюбленной топором, как бык,—продолжал он, размышляя вслух.—Со мной это не так-то легко будет сделать. Пасть в бою,—пускай! Но не сдохнуть, забившись в угол кровати.

Быть может, ему пришла мысль о яде; ведь он был сильно запутан в сложные интриги венского двора и нажил себе там своим честолюбием не мало смертельных врагов.

— Прежде чем сложить свои пожитки,—прибавил он после паузы,—я бы хотел осчастливить еще одного человека...

У кандидата выступили на глазах слезы—не из за соображений личного интереса, а от чувства бескорыстной радости по поводу этого прекрасного душевного движения; но они скоро сохли, как только тот закончил свою фразу:

— ...особенно, если к этому можно будет пристегнуть какую-нибудь хорошую проделку.

Суеверное чувство, овладевшее, было, генералом, быстро прошло.

— В чем ваше дело?—спросил он своего гостя со свойственным ему крутым поворотом мысли:—Не затем же вы сюда пришли, чтобы выслушивать мои сны.

Тогда Пфанненштиль изложил генералу с невинной хитростью,—так как он не хотел выдавать ему тайны своих любовных страданий, не рассчитывая на его сочувствие,—как при изучении Одиссеи им овладело непреодолимое желание познакомиться с родиной Гомера—золотой Элладой. Так как он не знает другого пути удовлетворить своей страсти к путешествиям, то ему пришла в голову мысль предложить себя генералу для нужд походной церкви его венецианского полка, который стоит в греческих владениях республики.

— Это место освободилось,—сказал он в заключение.—Если вы хоть сколько-нибудь ко мне расположены,—вы предоставите его мне.

Вертмюллер посмотрел на него острым взглядом.

— Не я, конечно, буду отсоветывать молодому человеку опасную карьеру, но для этого нужно обладать необходимыми качествами. Ваш костяк, милый друг, недостаточно прочно сколочен. Любо́й исключенный из университета забияка из Лейпцига или Иены сумеет больше внушить уважения моим малым, чем вы с вашим лицом апостола Иоанна. Выбейте это себе из головы. Если вам охота побывать на юге, то поищите себе места воспитателя у какого-нибудь молодого кавалера и чистите ему платье. Впрочем, и это ни к чему. Лучше всего вам сидеть дома. Взгляните-ка, да сосчитайте все церковные шпицы по озеру,—обетованная земля для священника, да и только! Здесь ваш Родос, здесь и прыгайте, то-бишь, читайте проповеди. Вы не знаете, какой силой и ловкостью надо обладать, чтобы властно править жизнью. Откажитесь от вашей «прихоти».

И он сделал такое движение, точно схватил под уздцы коня, понесшего на себе неосторожного мальчишку.

Воцарилось молчание. Генерал снова кинул наблюдающий взгляд на кандидата.

— Вы чистый человек и наверно не на шутку привели бы в исполнение греческую авантюру; но как согласовать это с тем Пфанненштилем, которого я перед собой вижу? Тут дело не ладно. Ведь вы не из тех сумасбродных любителей древности, что роются среди руин,—значит, вы отчаявшийся. Но почему бы вам быть отчаявшимся? Что вас отсюда гонит? Ну-ка, на чистоту! Фигура? А-га! вы краснеете?

Шестидесятилетний Вертмюллер смотрел на существа женского пола, как на оживляющие пейзаж человеческие образы, и выражался о них обычно языком живописцев, называя их «фигура».

— Где было ваше последнее место службы?

— В Митиконе, у вашего двоюродного брата, во время его недавнего припадка подагры.

— У моего двоюродного брата? Значит, у Рахели. Ну, теперь все ясно и просто, как мой новый воинский устав. Девчонка вскружила вам голову, а потом, как водится, показала нос!

Деликатный кандидат готов был скорее дать вырвать сердце из груди, чем признаться, что Рахель к нему сердечно благоволит, хотя он и не мог в этом сомневаться. Он ответил со скромностью:

— Господин Вертмюллер, который вообще относился ко мне с благоволением, уволил меня, так как я не умею обращаться с огнестрельным оружием и побаиваюсь его; двадцать лет тому назад в моей семье от него произошло несчастье. Господин пастор принуждал меня стрелять в цель, а я ни разу в нее не попал.

— Вам следовало отказаться от этого, а так—это уронило вас в глазах Рахели. Она-то всегда попадает в цель! Чорт возьми, мне вспоминается, что за мной еще должок перед стариком: его преподобие образцово содержали мою свору в то время, как я воевал на Рейне. Он знаток этого дела. Гассан! Поддай-ка мне лиловый сафьяновый футляр, там налево внизу в стеклянном шкафу в оружейной. Не беспокойтесь, кандидат!

Мавр заторопился, и через несколько мгновений у Вертмюллера очутились в руках два маленьких пистолета изящной работы. Он вычистил кожаной тряпочкой дамаскированные стволы и серебряную инкрустацию на ручках, по которым извивались красивые причудливые узоры.

— Ну, продолжайте, любезный друг, вашу элегию. Итак, девчонка вам показала нос! Или, чего доброго, она любит вас?.. Бывает же удивительная игра природы! В таком случае, отшила вас не она, а старик? Какие он вам привел доводы?

Сначала Пфанненштиль ничего не ответил. Ему стало очень не по себе, так как генерал во время своих речей взвел курок одного из пистолетов. В этот миг Вертмюллер дотронулся до собачки едва заметным движением. Курок спустился. Он взвел курок другого пистолета, вытянул руку, соорудил гримасу. Ему удалось спустить его лишь после большого усилия. Действие пружины по какой-то причине затруднялось, и генерал недовольно покачал головой.

Кандидат, усиленно мигавший глазами, снова взялся за нить разговора с целью дать понять истинную причину своего безнадёжного настроения.

— То—Вертмюллер, а то—Пфанненштиль,—произнес он тоном покорности, как будто дело шло о солнце и луне, и он находил совершенно естественным, что им никогда не сойтись.

— Оставьте меня в покое с этими глупостями,—резко накинулся на него генерал,—что, мы все еще не переросли крестовых походов, в мудрую эпоху которых были изобретены гербы? Впрочем, и тогда, как и вообще во все времена, человек значил больше, чем имя, иначе бы мир давно сгнил, как червивое яблоко. Видите, Пфанненштиль, я слышу здесь за патриция,—однако, когда я поступил на императорскую службу, как свысока смотрели господа титулованные коллеги на плебейское мельничное колесо в моем гербе! Тем не менее, им пришлось таки стерпеть, что мельник спас и выиграл совсем было загубленную ими кампанию. Послушайте, Пфанненштиль, вам не хватает чувства уверенности в себе, и это вредит вам в глазах Рахели.

Кандидат находился в странном положении: он не мог разделять точки зрения Вертмюллера, так как смутно чувствовал, что подобная свобода от предрассудков ниспровергает весь старый порядок вещей,—а он привык к таковому относиться с почтением даже в тех случаях, когда это было во вред ему самому.

Но Вертмюллер и не требовал ответа: он поднялся и пошел, держа по пистолету в каждой руке, навстречу высокой девушке,

которая появилась со стороны дороги, соединяющей полуостров с материком. Генерал услышал хруст песка под ее легкими, быстрыми шагами.

— Добрый вечер, крестница!—приветствовал он ее, и его серые глаза засияли.

Но красивая барышня смотрела на него, нахмурив брови, до тех пор, покуда старик не засунул обоих пистолетов, очевидно, ее раздражавших, один в правый, другой в левый объемистый карман своего сюртука.

— У меня гость, Рахель,—сказал он,—позволь тебе представить моего молодого друга, кандидата Пфанненштиля.

Девушка приблизилась, между тем как Пфанненштиль неуклюже поднимался со своего стула. Она старалась побороть румянец смущения, победоносно разлившийся по ее лицу вплоть до изящного лба и корней ее пышных каштановых волос. Кандидат потупил глаза, как будто он заключил с ними договор не глядеть ни на одну девушку, но затем он поднял их с выражением такого глубокого и лучезарного счастья, а его славный взгляд встретил в двух карих глазах такой теплый прием, что даже сам старик насмешник не мог не порадоваться неподдельному влечению двух невинных человеческих сердец.

Как это ни странно, он не сделал попытки усилить каким-либо шутливым словечком первого сладкого замешательства обоих. Разве не переносит нас глубокое истинное чувство в его естественно-скромном выражении из этого мира натянутости и притворства в другой мир, лучший и, вместе с тем, более простой, где нет места насмешке?

Правда, он бы не оставил их без поддразнивания надолго, но умная и смелая девушка избавила его от искушения:

— Мне надо с вами поговорить, крестный,—сказала она,—я пройду вперед, ко второй скамье у озера. Не заставляйте себя долго ждать!

Она легко поклонилась кандидату и исчезла.

Генерал взял своего гостя за руку и повел его по лестнице в первый этаж, в свою библиотечную комнату; ее три полукруглых окна словно охватывали всю водную ширь озера.

— Будьте спокойны,—сказал он,—я поддержу вас перед Рахелью. Тем временем у вас тут не будет недостатка в развлечении. Вы любите книги? Здесь вы найдете поэтов нашего столетия *tutti quanti*.

Он указал на стеклянный шкаф и вышел из зала. Перед кандидатом выстроились блестящими рядами французы, итальянцы, испанцы и даже некоторые англичане, собранные в одно место сокровища ума, фантазии и благозвучия. И Вертмюллер, стоявший, без сомнения, на высоте образованности своего времени, покачал бы недоверчиво головой, если бы кто-нибудь ему шепнул, что здесь не хватает одного, перевешивающего их всех, вместе взятых.

Всесторонне начитанный генерал никогда не слышал даже имени Вильяма Шекспира.

Кандидат не притрагивался к поэтам, так как для молодого сердца близость возлюбленной заменяет все девять муз.

V

Генерал пошел по тропинке, извивающейся вдоль береговых изгибов полуострова. И здесь вскоре он увидел Рахель Вертмюллер, сидящую на выветрившейся каменной скамье. Ее тонкий профиль выделялся на фоне водной поверхности, подернутой вечерними сумерками. Искреннее и глубокое огорчение запечатлелось на милом и решительном личике.

— О чем это ты мечтаешь и раздумываешь?—обратился к ней генерал.

Она ответила, не подымаясь с места:

— Я вами недовольна, крестный.

Генерал прислонился к стволу дуба и скрестил руки:

— Чем я прогневил вашу милость?—спросил он.

Девушка бросила на него укоризненный взгляд.

— Вы еще спрашиваете, крестный? Право, вы дурно поступаете с отцом, который вам ничего, кроме хорошего, не сделал. Что это были снова за проделки прошлое воскресение? По вашему

наущению и на вашей части озера он опять занимался пальбой весь день, начиная с полудня. Что за зрелище! Трепыхающиеся подбитые утки, мальчишки, шлепающие по болоту за добычей, отец в высоких сапогах и, в качестве зрителей, вся деревня.

— Она оценивала удачные выстрелы,—вставил Вертмюллер.

— Крестный!—Девушка вскочила с своего места, и ее стройная фигура задрожала от негодования,—до сих пор я думала, что, несмотря на иные ваши причуды, у вас доброе сердце, но я ошибалась и начинаю думать, что тут у вас не все в порядке.—И она легким движением указательного пальца показала на левую сторону груди генерала.—Я считала вас,—прибавила она более дружеским тоном,—за своего рода Рюбецаля... так ведь называют духа Исполиновых гор, о проделках которого вы знаете такие замечательные рассказы?..

— Того Рюбецаля, которого порой забавляет делать добро и который, делая добро, забавляется?

— В таком роде. Но, как уже сказано, если вы и коварны, как горный дух, то уж насчет ваших благодеяний что-то ничего не слышно. Вы когда-нибудь погубите отца. Если бы наши мятконцы не были, в конце концов, такими добрыми людьми и не покрывали своего пастора, где это только возможно, то на него уже давно была бы в Цюрихе подана жалоба. И поделом: ибо священник, у которого во сне и на яву нет других мыслей, кроме охотничьего клича, должен неизменно возмущать всякую христианскую душу. С годами это все возрастает; наемники, когда доложили о приходе господина декана и одновременно нарочный привез отцу из города новое только что купленное охотничье ружье, мне пришлось, совсем не по-дочернему, отобрать у него это оружие и запереть его в свой платяной шкаф, не то бы он еще, ужасная мысль!—взял почтенного господина Штейнфельса на прицеп! Вы смеетесь, крестный? Вы отвратительны! я способна возненавидеть вас за то, что вы, хорошо зная его слабости, только прищипориваете и подзадориваете его, словно злой гений. Он еще, чего доброго, взойдет как-нибудь на кафедру с заряженным оружием... Я радовалась вашему приезду, а теперь спрашиваю: скоро ли вы уедете, крестный?

— Взойдет на кафедру с заряженным оружием? — повторил

Вертмюллер, пораженный, казалось, этой мыслью.—Пустяки, крестница!

— Отец твой из всех черных хламид для меня наиболее выносимая, а ты—самая милая для меня из фигур. Я хочу доставить старику удовлетворение. Знаешь, что? Я приду завтра к вам в церковь. Это поднимет повсеместно твоего отца в глазах людей.

Рахель, казалось, была не в особенном восторге от этого намерения.

— Крестный,—сказала она,—вы меня приняли из купели и дали обет пеших о моем земном и небесном спасении; что до последнего, то тут вы мало что можете для меня сделать, так как в этом отношении у вас у самого дело обстоит плохо. Но разве это достаточный повод губить и мое земное существование? Вы должны были бы, казалось, подумать о том, как сделать меня на этом свете счастливой, а вы делаете меня несчастной.

Она смахнула слезу.

— Превосходное рассуждение,—заметил генерал.—Крестница, я горный дух, и ты можешь требовать от меня исполнения трех своих желаний.

— Ну, в таком случае,—сказала девушка, отвечая шуткой на шутку,—во-первых, вылечите отца от несоответствующей его сану охотничьей страсти.

— Невозможно, она сидит в его крови, он ведь Вертмюллер. Но я могу придать его страсти безобидный характер. Во вторых?

— Во вторых...—Рахель замаялась.

— Позволь мне высказать за тебя, девочка:—Дайте полковнику Лео Кильхшпергеру отпуск для сватовства, обручения и свадьбы.

— Нет!—живо ответила Рахель.

— Он отменный кавалер.

— Отменному кавалеру свойственно многое такое, от чего я желала бы отказаться.

— Ограниченная точка зрения!

— Я твердо на ней стою, крестный.

— Пусть так; значит, другое «во вторых?» Во вторых, гор-

ный дух, устрой кандидату Пфанненштилю место полкового священника в венецианской армии.

— Никогда!—воскликнула девушка.—Как? несчастный стремится получить это место среди вашего венецианского сброда? Этот добрый, кроткий человек! И за этим он к вам пришел?

Генерал подтвердил:

— Я не отговариваю его.

— Отговорите его! Разве не свирепствуют в Морее чума и лихорадка?

— Бывает.

— Не приходится ли читать о частых кораблекрушениях в Адриатическом море?

— Время от времени—да.

— А общество в Венеции разве не отвратительно?

— Хорошее общество там, как везде, а дурное—превосходно.

— Крестный, он не должен туда ехать, ни за что на свете.

— Хорошо. Итак, другое во-вторых, связанное с третьим: горный дух, устрой кандидату Пфанненштилю хорошее пастырское место в Митиконе и выдай меня за него замуж.

Рахель побагровела.

— Да, горный дух,—ответила она мужественно.

Этот решительный ответ понравился генералу сверх всякой меры.

— Пфанненштиль—чистая душа,—похвалил он,—но ему не хватает мужественности, которая непреодолимо увлекает фигуры.

— Так что ж,—легко кинула она и решительно продолжала:—Крестный, вы выиграли с дюжину сражений, вы умеете портить игру вашим хитрым врагам в венском императорском дворце, вы знаменитый и знающий свет человек,—уделите хоть сотую долю вашего ума на то, чтобы сделать меня,—что я говорю,—нас счастливыми, и мы будем вам благодарны до скончания века.

Генерал опустил на каменную скамью и в глубоком раздумьи оперся руками о колени, подобно египетскому божеству. При этом он задел оба пистолета в своих карманах; в его острых серых глазах что-то внезапно вспыхнуло, и он разразился неудержимым хохотом школьника, каким он не смеялся уже десятки

лет. Так как он при этом вскочил и быстро повернулся лицом в сторону полуострова, то эхо повторило этот взрыв неистовой веселости в таком фантастическом и причудливом виде, что можно было подумать, будто все окрестные лесные надрывают себе животы над сумасбродной и кощунственной выдумкой.

Генерал успокоился; казалось, что он взвешивает острым разумом возможность успеха. Рискованная мысль ему пришла по вкусу.

— Расчитывай на меня, дитя мое,—отечески сказал он.

— Послушайте, крестный, отец при этом не должен иметь неприятностей.

— Ничего, кроме хорошего.

— Пфанненштиль не должен быть задет.

Вертмюллер пожал плечами:

— Ну, этот играет роль второстепенную.

— И вы сами при этом собираетесь позабавиться?—спросила девушка, заинтригованная, ибо смех генерала наводил ее все же на размышления.

— Я-то уж при этом позабавлюсь всласть.

— Не может это сорваться?

— План построен в расчете на человеческую глупость и потому безупречен. Впрочем, всякий успех зависит немножко от счастья.

— А если это не удастся?

— Тогда Рудольф Вертмюллер покроет все издержки.

Девушка еще раз призадумалась, но ее решительная натура победила. У нее, кроме того, было неограниченное доверие к смелой изобретательности и даже, в известных границах, лояльности своего родственника. Что в план неизбежно входит какая-нибудь коварная выходка, она хорошо знала: но ведь этой ценой покупалось ее счастье. Ей было известно, что Вертмюллер ее любит и не пойдет слишком далеко в своих проделках. К тому же, в ее крови было нечто, что заставляло ее предпочитать быструю, хотя и связанную с риском, развязку длительной неопределенности.

— За дело, Рубецаль,—сказала она.—Когда ты примешься за свое колдовство, горный дух?

— Завтра в полдень ты будешь невестой, детка. Я уезжаю в понедельник утром.

— До свидания, горный дух,—простилась она второпях и бросила ему воздушный поцелуй. Он посмотрел ей вслед и полюбился ее уверенной, стройной походкой.

VI

Поздним вечером генерал и кандидат сидели за богато сервированным и блестяще освещенным круглым столом друг против друга в просторной столовой, светлые стены которой были увешаны хорошими батальными картинами.

Вертмюллер знал, сколько поэзии в «скатерти-самобранке» для молодого человека, выросшего в стесненных обстоятельствах; но и в духовном угощении не было недостатка. Он рассказывал о своих путешествиях по Греции, восхвалял верность в описаниях природы и морских красок в Одиссее; в его рассказах перед духовным взором кандидата восставали благородные и гармоничные формы греческого храма,—короче говоря, генерал его совершенно ошастливил.

О своих военных приключениях, неразрывно со всем этим связанных, он упомянул только вскользь, но в таких ярких красках, что Пфанненштиль почувствовал себя в присутствии старого вояки сильным и отважным, а Вертмюллер перед лицом наивного восхищения своего слушателя словно помолодел и сбросил с плеч несколько десятков лет.

Таким образом, Пфанненштиль не придал большого значения тому обстоятельству, что генерал наел на него в пылу разговора и оторвал верхнюю из четырех широких плоских пуговиц, скреплявших его одежду спереди между впалыми плечами: подвергнув эту пуговицу краткому осмотру, он отшвырнул ее в темный угол комнаты и принялся теревить одну из средних, покуда та не повисла на ниточке.

За десертом смена, однако, переменялась. Генерал, вопреки своей привычке—он давно уже сделался умеренным человеком—осушил несколько стаканов огненного бургундского, и его слегка стала грызть мысль, что красивая и храбрая Рахель подарила свое сердце такому кроткому и невоинственному человеку, да еще «попу». Злой дух подбил его на то, чтобы напоследок еще раз безжалостно подурочить кандидата, который пришелся ему, в сущности, очень по душе.

Он велел принести прислуживавшему им Гассану пороховницу и мешечек с пулями, вытащил оба пистолета из кармана и положил их перед собой на стол.

— Вы нравитесь Рахели,—обратился он к кандидату,—но если вы хотите заполучить ее в жены, вы должны показать себя милой девушке в роли настоящего мужчины. Это оставит в ней неизгладимое впечатление, и тогда вы можете спокойно напялить на уши супружеский ночной колпак. Мой план совсем прост: я пойду завтра в Митиконскую церковь,—не удивляйтесь, Пфанненштиль, я не язычник,—и попрошусь к кузену-пастору на обед; разумеется, Рахель останется дома по хозяйству, вы же во время богослужения проберитесь тайком в пасторский дом, похитите девушку и доставьте ее сюда, и покуда вы будете целоваться, я заряджу две железных пушки,—вы видели их при входе,—для защиты узкой насыпи, соединяющей мой остров с берегом. Перестрелка! Переговоры! Заключение мира.

Будь кандидат в нормальном состоянии, он бы посмеялся этой солдатской причуде, но крепкое вино ударило ему в голову.

— Ужасно,—вскричал он, но вслед затем, после паузы, облегченно прибавил:—и невозможно. Рахель никогда бы не согласилась.

— Согласится! Вы явитесь к ней, броситесь к ее ногам: «Беги со мной или...»,—он схватил пистолет и приставил его к своему правому виску.

— Она христианка!—возбужденно воскликнул кандидат.

— Она согласится, она должна согласиться! Всякая фигура покоряется стихийной мужской силе. Разве вы не знаете новейшей немецкой литературы? Логенштейна? Гофмансвальдау?

— Она никогда не согласится,—механически повторил Пфанненштиль.

— Тогда отправляйтесь на тот свет со славой, окруженный громом и молнией!

И Вертмюллер нажал собачку. Курок спустился, так что брызнули искры.

Тут Пфанненштиль пришел в себя. Вликая возможность ужасного злодеяния заставила его содрогнуться и протрезвиться. К тому же ему вспомнилось предупреждение Розенштока. «Он злобно дурачит и мучит тебя,—сказал он сам себе,—ты ведь духовное лицо и имеешь дело с злейшим врагом церкви».

Насмешливая улыбка дрожала в углах рта наблюдавшего за ним генерала; ярко освещенное лицо его напоминало в эту минуту причудливую маску. Кандидат поднялся со своего стула и произнес не без достоинства:

— Если вы говорите это серьезно, то я ни минуты не останусь дольше под этой крышей, где проповедуется нечто худшее, чем языческая нечестивость; если же это шутка с вашей стороны, господин Вертмюллер, как я и полагаю, то я вас также должен покинуть, так как издеваться над простым человеком, ничего не сделавшим вам дурного, и дурачить его,—это не по христиански, это даже не по человечески, это дьявольское дело!

Прекрасный честный гнев загорелся в его голубых глазах, и он направился к дверям.

— Ну, ну,—сказал генерал,—чем накормить вас завтра утром: яйцами, куропаткой, форелью?

Пфанненштиль открыл дверь и быстро удалился.

— Мавр посветит вам до вашей комнаты. До свидания, до завтра за завтраком,—закричал ему вслед Вертмюллер.

Оставшись один, генерал тщательно насыпал порошу в пистолет с легко спускающимся курком и заткнул заряд грубым пыжом. Другой пистолет с тугой пружиной он оставил незаряженным. И тот, и другой он передал мавру с приказом положить их в карманы его бархатного сюртука. Затем генерал взял подевичник и отправился в свою спальню.

VII

Кандидат быстрым ходом направился к насыпи, соединяющей южную сторону острова с материком. Прошлой весной, в бытность свою в Митиконе, он часто любопытными глазами созерцал обители генерала, сражавшегося в то время в Германии. Он знал, что плотина прерывалась посредине маленькими старинными воротцами и подъемным мостом, но он был уверен, что не встретит здесь препятствия, так как эти ворота, насколько он помнил, никогда не запирались; у них не было створок. Теперь он достиг берега и увидел слева от себя линию насыпи. Но, о злосчастье! Подъемная балка моста висела в воздухе, резко выделяясь на сумеречном небе, и образуя, взамен прямого, острый угол с линией ворот, к каменной арке которых она была прикреплена двумя цепями. Ворота, поднятый мост, короткая соединительная линия цепей—все это можно было разглядеть с несомненной отчетливостью, так как луна бросала достаточный свет, и в водном пространстве, перепрыгнуть через которое не было никакой возможности, играло серебристое отражение месяца. Пфанненштиль был в плену. Невозможно перейти через болото! Он потонет при первых же шагах, не зная броду, среди коварных зарослей тростника, и таким печальным образом покончит свой век. Не зная, как быть, Пфанненштиль стоял на берегу острова, а тем временем из болота прямо под его ногами раздалось полновзвучное: «ква-ква, ква-ква».

Как раз в тот вечер среди местных лягушек объявился лирик выдающегося дарования; он принялся за традиционный мотив лягушечьей лирики с таким чувством и задором, что восхищенный хор без устали, с ненасытным восторгом повторял строфу, выводимую запевалой. Правда, на кандидата это страстное кваканье произвело глубоко меланхолическое впечатление, как будто исходило оно из болот Ахерона.

Близкий к отчаянию, он хотел пробраться чрез плотину к воротам, чтобы попробовать, не удастся ли, собрав все силы, спустить подъемный мост. Тут, еще раз обернувшись с укоризной в

сторону неприветливого дома, он увидел движущееся ему навстречу светлое пятно, и через несколько мгновений перед ним оказался Гассан с фонарем в руке. С подобострастной вкрадчивостью добродушный мавр стал уговаривать его возвратиться в покинутый им дом.

— Скучный-лягушка, священник-господин, — коверкал язык Гассан, — Замок на подъемный мост, комната готов.

Что оставалось делать? Ничего другого, как последовать за Гассаном. В большой, выходящей на мощные сени, кухне, мавр зажег две свечи и посветил кандидату. На предпоследней ступеньке он схватил его быстро за руку:

— Не боялся священник-господин, — пробормотал он, — часовой перед комната генерала.

И, действительно, там стоял часовой. Гассан осветил его, и Пфанненштиль увидал скелет, который вытянулся, опершись костлявыми руками на мушкет, с патронташем и тесаком цюрихского ополченца на лоснящихся ремнях, охватывающих крест на крест его ребра. Маленькая треугольная шапочка была напялена на его голый череп.

Кандидата не испугал этот образ смерти: он был ему близок по самому роду его службы; Пфанненштиль питал даже известное расположение к предостерегающему и назидательному облику человеческого костяка; но кто же был тот человек, который мог спать там за стеной под охраной своего жуткого стража? И что за странное удовольствие находит он в том, чтобы кощунственно издеваться над серьезнейшими вещами?

Тут мавр открыл предпоследнюю комнату со стороны озера и поставил подсвечники на камин. Пфанненштиль, с лихорадочно горящими щеками, подошел к окну, желая распахнуть его, но Гассан остановил его:

— Воздух озера нездоров, — предостерег он его, распахивая двустворчатые двери соседней комнаты, с целью увеличить безвредным способом приток воздуха для разгоряченного гостя. Затем он удалился с подобострастным поклоном.

Кандидат ходил некоторое время взад и вперед по комнате, желая успокоить свое возбужденное воображение и нагнать на себя

сен после причудливейшего дня всей своей жизни. Но самое опасное приключение было еще впереди.

Из раскрытой Гассаном комнаты донесся тихий звук, словно глубокий вздох. Заколебались ли складки занавеси, задетой ночным ветерком, или это совка пролетела мимо полузакрытых ставней?

Кандидат замедлил шаги и прислушался. Вдруг ему пришло в голову, что соседняя комната — последняя по этому фасаду и, следовательно, не может быть ни чем иным, как помещением, занимаемым, по словам лодочника Блейлинга, турчанкой генерала.

Естественно, что мысль о таком соседстве ввергла безупречного молодого священника в великий страх и беспокойство. Но после краткого размышления он решился мужественно войти со свечкой в пресловутую комнату.

Он ступил на роскошный турецкий ковер и, обернувшись направо, очутился перед картиной в богатой золоченой раме в виде переплетающихся листьев, занимающей всю стену маленького кабинета против окна. Картина принадлежала кисти одного из нидерландских или испанских художников только что закончившейся блестящей эпохи. Она была написана в той сочной и пленительной манере, которая утрачена новейшими художниками. Молодая восточная красавица с опьяняющими черными глазами и пылающими губами стоит, опершись на балюстраду в мавританском стиле. Принцы из «Тысячи и одной ночи» при виде таких красавиц неукоснительно падают в обморок.

Красавица приложила палец к губам, словно внушая стоящему перед нею: «Приходи, но храни молчание».

Пфанненштиль, никогда не выдавший ничего подобного, был глубоко, до жуткости потрясен соблазнительностью этого жеста, языком этих очей. В его душе всколыхнулось нечто доселе совершенно неизведанное, чему он не смел дать названия, — палящее томление, блаженное предвкушение достигнутых желаний! Перед этой картиной начал он проникаться верой в непреодолимую силу подобных ощущений, трепетом перед их властью.

Внезапно кандидат отвернулся от картины и бросился обратно в свою спальную; здесь он не удовольствовался тем, что запер

двери, но задвинул и засов и повернул еще напоследок в дверях ключ. Только после всего этого он мог почувствовать себя в безопасности и зарыться в подушки.

Однако, стоило ему уснуть, как прекрасное видение проникло в комнату сквозь двери, не открывая их, и коварно приняло облик и фигуру Рахели Вертмюллер, ее девичьи формы, ее тонкие, одухотворенные черты. Но глаза ее были томны, как у восточной красавицы, свой палец она прижимала к губам.

Это был злой и страшный час для бедного кандидата. Он хотел бежать, но демоническая сила бросила его к ногам девушки. Он лепетал безумные мольбы и в отчаянии укорял себя. Он обнял колени девушки и тут же осудил себя, как нечестивейшего из всех грешников. Рахель сначала просто изумилась, потом строго и неодобрительно взглянула на него и под конец возмущенно оттолкнула его от себя. Тут очутился возле него генерал и подал ему пистолет. «Фигура», — наставлял он, — «покоряется стихийной мужской силе». Рука кандидата согнулась под напором железных дьявольских когтей, — и он приставил себе смертоносное оружие к правому виску. «Беги со мной!» — простонал он. Она отвернулась от него, он выстрелил и проснулся, купаясь, но не в своей крови, а в холодном поту. Трижды в мучительном полусне совершал он свой заколдованный круг от вожделения к злодеянию и от злодеяния к раскаянию, пока, наконец, не открыл окна и не погрузился под чистым дыханием священного утра в глубокий успокоительный сон.

Он проснулся лишь тогда, когда Гассан вошел в комнату с теплой водой и, по его приказанию, поднял жалюзи. Божественный, глубоко лазурный день и благовест всех окрестных колоколов, то развеванный, то полновзвучный, полились в приют ночных видений.

— Генерал ходил в церковь, — сказал мавр, — священник-господин завтракай?

VIII

Мавр сказал правду. В то самое время, как Пфанненштиль еще только что пробуждался от сна, Рудольф Вертмюллер шел уже недалеко от Митиконской церкви среди воскресной толпы, заполнявшей все ведущие туда дороги и тропинки.

Обычно быстрый, шаг генерала отличался сегодня размеренностью; он держался в высшей степени достойно и безукоризненно. Одет он был в черный бархатный костюм и нес в правой, затянутой в перчатку, руке молитвенник с тяжелыми золочеными застежками.

Странно: Вертмюллер, с давних пор сторонившийся всякой церкви, был на плохом счету у митиконцев и рисовался в серном свете адского пламени закоренелого вольнодумца. Для них было неоспоримо решенным вопросом, что он рано или поздно попадет в чортовы лапы, — и все же они были сердечно обрадованы, можно сказать, тронуты, видя его шествующим по их дороге к церкви. Они не усматривали в его появлении раскаяния, да им было бы и не по душе и показалось бы прямо постыдным, — в этом они сходились с греческими трагиками, — если бы взрослый человек изменил свое существо; они были убеждены, что генерал останется верным себе и с решимостью ввергнет себя в вечную гибель; митиконцы воспринимали посещение старым воином церкви, как проявление вежливости, как честь, оказываемую генералом общине, как публичный прощальный визит перед отправлением в поход.

Поклонам не было конца, и на каждое приветствие следовал сегодня со стороны необычно благодушного генерала ответ в виде кивка головы или нескольких кратких дружеских слов. Только одна старая женщина, самая злая во всей общине, оттолкнула свою придурковатую дочь, глазевшую на генерала, и внятно шепнула ей: — Спрячься за мной, не то он схватит тебя и обратит в турчанку.

Менее обрадован видом необычного паломника был пастор Вильперт Вертмюллер, когда он вышел в своем богослужебном облачении из ворот своего двора, посредине которого, позади по-

темневшего от времени водоема, слегка покачивались от ветра два могучих тополя. Его изумлению не было границ, ибо Рахель ничего ему не сказала.

Пастор, человек лет шестидесяти, еще крепкий с виду, с чертами лица не то что умными, но мужественными, любил генерала, как опытного охотника в лесу и поле. Но то, что генерал пришел искать для себя духовного назидания именно в Митиконской церкви,—от этого он бы его охотно освободил.

Чем менее желанным, тем более вежливым был генерал. Он снял шляпу, взял пастора за руку и отвел его обратно в сени дома. Как раз в этот миг прекрасная, свежая, как утро, Рахель сходила с лестницы; она была одета по воскресному и также держала в руке маленький, переплетенный в черный бархат, молитвенник.

— Дитя, ты восхитительна! Нимфа! — приветствовал ее Вертмюллер. — Позволь отечески поцеловать тебя в лоб.

Она не сопротивлялась, и маленький, но крепко и хорошо сложенный генерал должен был подняться на цыпочки, чтобы дотянуться до изысканного белого лба высокой девушки, — группа, более комическая, чем нежная.

— Не позовешь ли меня после проповеди закусить, старина? — спросил Вертмюллер.

— Разумеется, — ответил гостеприимный пастор. — Рахель останется дома и приготовит нам поесть.

Приветливая девушка прибавила, слегка присев:

— Благодарим за честь, крестный, — и поспешила назад в верхний этаж.

— У меня есть кое-что для тебя, старина, — улыбнулся генерал.

— Оружие? — вырвалось у пастора, и глаза его заблестели.

Вертмюллер утвердительно кивнул головой и вынул из широких недр своего бархатного одеяния пистолет. Благородные формы и дамаскированный ствол этого маленького шедевра оружейного мастера совершенно пленили взоры пастора. Вся страсть его проснулась. Вертмюллер вышел с ним из сумрака сеней через заднюю дверь пасторского дома в сад, чтобы дать ему полюбоваться на маленькое драгоценное оружие при полном дневном освещении.

Вдоль всей стены дома тянулась невысокая, обитая виноградом, беседка. На одном конце этого зеленого крытого прохода, пастор много лет назад установил у каменной стены маленькую мишень, чтобы, заняв позицию у противоположного входа, в свободные часы упражняться в стрельбе в цель.

— С Востока? — спросил он, завладев пистолетом.

— Венецианское подражание; посмотри, здесь скрещивающиеся инициалы Г. Г. — означает Грегорио Гоццоли, — расхваливал Вертмюллер.

— Я вспоминаю, что видел этот драгоценный пистолетик в твоей оружейной, — разве их была не парочка?

— Тебе приснилось.

— Может быть, я ошибаюсь. Как действует у малютки механизм? Легко?

— К сожалению, собачка несколько туговата. Но тебе не следует доверять этого иноземного сокровища ни одному из здешних оружейников, — они его испортят.

— Тугой спуск — не беда, — ответил пастор.

Не взирая на свое облачение, он стал в позицию в конце аллеи. Опираясь на левую ногу и выставив вперед правую, он взвел курок и согнул руку.

Колокольный звон на ближайшей колокольне едва успел замолкнуть, и отзвуки последних ударов сливались с жужжанием ос, шумливо суетившихся вокруг несрезанных еще золотых гроздей винограда.

Пастор ничего не слышал. Он нажимал и нажимал на собачку изо всех своих сил.

— Фу, старина, какие ты строишь гримасы! — посмеивался Вертмюллер. — Дай сюда! — Он вырвал у него оружие и нажал своим железным пальцем на собачку. Курок с треском спустился. — Ты теряешь силу мускулов, братец! Да, отзывается на тебе расслабляющая senectus! Я сам для тебя сделаю механизм более податливым. Ты ведь знаешь, что я знаменитый слесарь, и не последний оружейник.

Генерал опустил в карман нарядное маленькое оружие.

— Нет, нет, нет, — воскликнул пастор со страстью, — ты мне его уже подарил, я его не выпущу более из рук.

Генерал нерешительно вытащил снова пистолет, — уже не тот же самый. Старый фокусник успел его подменить его близнецом, не легко отличимым от первого, даже и для более острого и спокойного взгляда.

Едва только оружие очутилось в руках у пастора, как он опять стал в позицию, — он весь горел, — и обнаружил намерение снова взвести курок.

Но генерал схватил его за руку:

— После! — стал он его уговаривать. — Чорт поberi! Уже давно отзвонили.

Вильперт Вертмюллер словно очнулся от сна, пришел в себя, прислушался. Царила глубокая тишина, только слышалось жужжание ос.

Он торопливо сунул пистолет в просторный карман, и двоюродные братья пошли по короткой, теперь совершенно безлюдной дороге к близ лежащей церкви.

IX

Когда оба Вертмюллера вступили в храм, он был уже битком набит народом. Направо сидели мужчины, налево женщины, а в глубине храма, лицом к молящимся, разместились церковные старосты, среди них Крахгальдер.

Две широкие пристенные колонны, соединенные сверху полукруглой аркой, отделяли апсиду от церкви. У правой колонны возвышалась кафедра, а у подножия ведущей на нее витой лестницы находилось единственное свободное место в виде дубового резного стула, занятого обыкновенно пастором во время пения хоралов. Он указал на это место генералу и без промедления поднялся на кафедру. Запоздавший пастор спешил указать своей пастве номер сегодняшнего хорала.

То был любимейший хорал из нового сборника, — благодарственное песнопение за удачный сбор винограда, — сочиненный в новейшее время и занесенный из Германии. Разукрашенный дерзкими и бесвкусными завитками в тогдашнем стиле рококо, он не лишен был известной яркости и звучности.

Каждая строфа начиналась с призыва воздать хвалу подателю всех благ, каждый раз с упоминанием все новых и новых музыкальных инструментов. Возможно, что воображение автора находилось под впечатлением какого либо произведения церковной живописи, но только, во всяком случае, не тех нежных музицирующих ангелов Джамбеллини, которые заставляют вспомнить слова поэта:

Там дивные скрипки так нежно звучат;
Там светлые трубы так звонко трубят.

Нет, автору рисовались скорее восседающие на массивном облаке придворные небесные музыканты, с надутыми щеками, вооруженные всеми инструментами, — как на какой-нибудь браваурной картине школы Рубенса.

«Ликуйте, ликуйте!» — полнозвучно и весело разносилось в прекрасных чистых стенах, прорезанных восемью стрельчатыми окнами, через которые вливалась в церковь сияющая лазурь дивного дня.

Генерал, появление которого вызвало одобрительный шопот, сидел оборотившись в сторону молящихся с сосредоточенным выражением лица; но он мог при легком повороте головы без труда наблюдать за возвышением, на котором помещался его двоюродный брат. Только что перед тем генерал бросил взгляд наверх. Духовный пастыр Митикона, не раз слышавший сегодняшний радостный гимн и вполне уверенный в своей также уже неоднократно произнесенной проповеди, слегка пощупывал карман.

«Бейте, бейте в литавры!» — гремело на всю церковь. Вертмюллер покосился на лестницу, ведущую на кафедру. Пастор вытащил маленький пистолет из кармана и за высокую оградою кафедры рассматривал его глазами, полными любви.

«Вострубите, вострубите в трубы!» — пели митиконцы. Посреди этих громких возгласов генерал отчетливо расслышал резкое щелканье, как будто на кафедре взводили курок. Он усмехнулся.

Наконец, дело дошло до последней любимой строфы митиконцев: «Играйте на флейтах, на флейтах» — выводили они с величайшим старанием. Генерал снова украдкой взглянул на кафедру. Пастор, словно играючи, прикоснулся своим толстым пальцем к

спуску,—он ведь знал, что даже при всем желании не в состоянии спустить курка. Но тут он почему то снова отдернул палец, и нежные флейты отзвучали.

Генерал внизу у кафедры недовольно насушил брови.

Теперь пастор перешел со всем подобающим благоговением к служению литургии; маленький пистолет он снова опустил в свой вместительный карман. Затем он стал читать из толстой библии, постоянно лежавшей на кафедре. Это был чудесный 17 псалом, начинающийся словами: «Восплещите руками, все народы, хвалите Господа громкими звуками!»

Гладко и бойко шла проповедь и уже перевалила за свою первую треть. Еще раз генерал кинул вверх подстерегающий взгляд, заметно разочарованный, с выражением почти укоризненным; но тут вдруг лицо его повеселело. В разгаре увлечения, пастор неустанно левой рукою жестикулируя перед всем народом, снова инстинктивно вытащил правой своей возлюбленный пистолет из кармана. «Восхвалите Господа громкими звуками!»—воскликнул он,—и—бац!—раздался резкий выстрел. Пастора окутал дым. Когда он снова стал виден, голубое облако порохового дыма медленно возносилось вокруг него ввысь, паря над молящимися, словно дым кадильный.

Ужас, испуг, изумление, досада, гнев, подавленный смех,—вся эта гамма чувств отразилась на лицах слушателей. А церковные старшины на хорах являли возмущенные и грозные лица. Положение становилось серьезным.

Но тут генерал обратился к взволнованным митиконцам с приветливым и, вместе с тем, властным жестом: «Дорогие братья! Не смущайтесь этим выстрелом. Подумайте: сегодня я в последний раз,—насколько дано предвидеть человеку,—внимаю молитвам в вашей среде, перед тем как отдать свою бrenную плоть на волю вражеских пуль, а вы, г. пастор, вы докажете твердость духа и доведете вашу проповедь до конца».

И, действительно, пастор бесстрашно возобновил и продолжал свою проповедь, не смущаясь, не теряя нити, не путая выражений, не запинаясь и не заговариваясь.

Все снова пришло в порядок, только голубое облачко дыма

ни за что не хотело растаять в закрытом помещении и упорно парило над молящимися,—то в тени, то в лучах солнца, покуда его очертания не начали становиться все более неясными и, наконец, совсем расплылись в воздухе.

X

В то время, как пастор мужественно заканчивал свою проповедь, оставшаяся дома Рахель отдавала распоряжения старой Бабели и позванной ею на подмогу девочке из соседнего дома; затем, взяв корзину, с маленьким садовым ножичком в руке, она вышла в сад через заднюю дверь, чтобы срезать несколько спелых золотистых виноградных кистей.

Тут она увидела, как раз напротив себя, там, где тропинка огибала часть сада, лежащую в стороне от проезжей дороги, необычайное зрелище.

Дикого вида человек с развевающимися фалдами, опершись руками о забор, сумасшедшим прыжком перебросил себя через изгородь. Рахель не хотела верить глазам. Неужели это он? Не может быть! И все-таки это был он.

Пфанненштиль едва притронулся к завтраку, поданному ему в столовой услужливым мавром. Мост к этому времени был уже спущен, и его влекло наверх, к дому митиконского пастора. Он знал, что дороги и горные тропинки будут, хотя бы и на короткое время, безлюдны. Утренний ветер развеял восточное видение, но, несмотря на небесное сияние и свежесть осеннего дня, сбросившего свои туманные покровы, одно из вчерашних впечатлений, как заноза, сидело в взволнованной душе кандидата.

Ему не хватает мужественности,—так попрекнул его генерал,—верного залога победы над женщиной. Эта мысль причиняла кандидату не мало огорчений. Ему показалось, что случай открывает ему возможность предпринять нечто весьма отважное и притом как раз то, к чему подбивал его генерал,—правда, без применения огнестрельного оружия,—и вот, совершенно потерявший ду-

шевное равновесие кандидат решил поразить Рахель ранним визитом.

Прыжок через забор, положим, не представлял собою особого геройства: напротив, это было не что иное, как бегство от первых замеченных между придорожными деревьями людей, возвращавшихся из церкви.

Когда Пфанненштиль приблизился к девушке со своим предпримчивым выражением лица и решительными манерами, та была серьезно обеспокоена его видом, лихорадочными глазами, бледностью—последствиями бессонной ночи. Пуговица, наполовину оторванная и висящая на нитке, и пустое место, оставленное другой, начисто оторванной,—не ускользнули, разумеется, ни на мгновение от ее внимания и завершали собой жуткое впечатление.

— Ради Бога, что с вами, господин викарий,—сказала девушка.—Вы больны? У вас необычайный вид, на вас нет лица, вы меня пугаете! Что он с вами сделал, мой сумасбродный крестный? Он ведь обещал мне вас не трогать,—и вот он привел вас в совершенное расстройство. Расскажите мне все, все подробно, что с вами там приключилось. Может быть, я смогу вам чем-нибудь помочь.

Когда кандидат взглянул в ее разумные и, вместе с тем, такие теплые глаза, то ему тотчас стало ясно, что именно влекло его сюда. Бес приключений, взобравшийся ему, при первых его шагах в Ау на плечи, спрыгнул с него и предоставил его собственной воле.

Пфанненштиль исповедался перед ясными карими глазами во всем, что пережил на острове, не утаив ни одной мелочи; исключение он сделал лишь для призрака турчанки, которая была, ведь, ничем иным, как порождением его разгоряченного мозга. Он признался Рахели, что его более всего сразил выказанный генералом упрек в недостатке мужественности, да и посейчас еще он не в силах отделаться от этой мысли. И он просит сказать ему откровенно, является ли это недостатком и, в таком случае, чем тут помочь.

Рахель смотрела на него с минуту почти растроганными глазами; затем она разразилась звонким хохотом.

— Крестный подшутил над вами; но то, что он вас отговорил от задуманной вами греческой авантюры — это правильно. Вы вздумали действовать вопреки собственной натуре, а он путем насмешки привел вас в себя... Да и к чему вам это? Какой вы есть, и именно, такой какой вы есть,—вы мне больше всего по душе. Папина охотничья страсть, так несвойственная его сану, доставила мне не мало тяжелых минут! Что до меня, то я предпочитаю человека, который безупречным образом жизни служит поучительным примером своим односельчанам, умеренно пьет наше домашнее вино, любит свою жену и время от времени принимает у себя скромного и ученого друга!.. Уж эти мне светские люди! Я всегда бываю по горло сыта от их застольных бесед, когда они повадуют к отцу.—Крестный вам вчера многое порассказал; не рассказал ли он вам также, какую штуку он сыграл со своей молодой женой, когда ему было восемнадцать лет? Той как-то захотелось «испанских булочек», какие пекутся в Бадене. «Я достану тебе горячих» — сказал он галантно, оседлал лошадь и уехал. В Бадене он уложил эти булочки в коробку вместе с запиской о своем отъезде в шведский лагерь. Этот прощальный привет он отправил к ней с нарочным и с тех пор не видался с женой много лет. Этого бы вы наверно не сделали...

И она протянула безмолвно стоявшему перед ней викарию руку:

— А теперь я вам должна сейчас же пришить ваши пуговицы. Мне колет глаза, и душа болит, когда я вижу вас в таком состоянии. Присядьте!—При этом она указала на скамеечку в беседке.—Я принесу наперсток и иглу.

Пфанненштиль исполнил ее приказание, и она убежала с корзиной, полной винограда. И тут все его существо охватило чувство райского блаженства. Свет и зелень, низкая беседка, скромный пасторский дом, освобождение от демона сомнений и беспокойства!

А она, его освободительница, была тем временем охвачена беспокойством. Какую проделку замыслил, и, быть может, уже привел в исполнение генерал? Рахель упрекала себя в том, что предоставила ему свободу действий.

На кухне она узнала, что пастор вместе с генералом заперлись в комнате и что вскоре после того церковные старшины медленно и торжественно поднялись вверх по лестнице. В церкви произошло, повидимому, нечто неслыханное. Она обратилась с расспросами к рыбаку, принесшему ей из своего садка форелей, но тот состроил глупое лицо, и из него нельзя было вытянуть ни слова.

Девушка, взволнованная, бросилась к себе в комнату и едва нашла иглу и наперсток.

XI

По благополучном окончании богослужения в Митиконе, оба двоюродные брата направились вместе в близ лежащий пасторский дом; они шли рядом, пастор по правую руку генерала; обоих, повидимому, мало беспокоило выражение общественного мнения, недвусмысленно запечатленное на лицах встречаемых.

Дома Вертмюллер духовного звания повел за собой Вертмюллера светского, как провинившегося бедного грешника, в свой пасторский кабинет и тщательно запер за собою двери. Затем он подошел вплотную к злоумышленнику.

— Брат генерал,—сказал он,—ты поступил со мной, как плут и злодей,—и он сделал движение, как бы желая схватить генерала за шиворот.

— Руки прочь!—воскликнул тот.—Что, мы с тобой будем драться, как в свое время я с кузеном из Штадельгофена в цюрихской ратуше, когда мы так вцепились друг другу в парики, что только пух летел? Подумай о своей должности, о своем сани!

— Моя должность, мой сан?—повторил медленно, с горечью, пастор. На его седой реснице повисла слеза. Этими четырьмя простыми словами было сказано то же, что нас так потрясает в великолепной тираде Отелло, когда он прощается со своим прошлым, со своим саном.

Генерал прокашлялся: слезы на глазах старого человека,—это уже и для него было слишком.

— Ну-ну,—утешал он,—ты выказал блестящее хладнокровие! Клянусь честью, ты истинный Вертмюллер! В тебе погиб великий полководец.

Но старик не поддался на лесть, и минута боли уже миновала.

— Что я тебе сделал?—гневно возмущался он,—позволял ли я себе когда-нибудь уколы и намеки по твоему адресу с церковной кафедры? И был ли я тебе помехой в твоём язычестве? Не выгораживал ли я тебя, где только возможно? И в благодарность за все это ты коварно подменяешь пистолет, скоморох ты, шут ты этаким! Зачем посрамил ты мои седины, сын злобы? Потому что в твоей собственной шкуре тебе живется не хорошо.

— Ну-ну!—сказал генерал.

Раздался стук в дверь. Церковные старшины во главе с Крахгальдером вошли в комнату и торжественно, почти с враждебностью расположились полукругом против обоих Вертмюллеров. Их вытянувшиеся, насупившиеся лица ясно говорили генералу, как тяжело он оскорбил чувства деревенских жителей своей греховной проделкой.

Крахгальдер, к голосу которого все привыкли прислушиваться, был в самом деле возмущен до глубины души. Хотя он и не мог себе объяснить до конца диковинного происшествия, тем не менее он, не задумываясь, относил его на счет генерала, который, воспользовавшись слабой стрункой своего двоюродного брата, захотел подстроить скандал на всю округу. Крахгальдер принимал близко к сердцу честь своей общины: он искренно любил митиконскую церковь с ее стройной колокольной и восемью светлыми окнами. Сладостно было для него хождение после трудовой недели в церковь в чистом праздничном платье и в башмаках с пряжками; сладостно участие в крестинах и похоронах, образующих грани и рамки церковной службы и человеческой жизни; сладостно было внимать обращенным к себе словам «смертный Адам» и «бессмертная душа», сладостно бороться с дремотой, быть одолеваемым ею и снова приходить в себя; сладостно было звучное «аминь», сладостно стояние со старшинами на кладбище, сладостна беседа с пастором после службы, сладостно неторопливое возвращение домой.

Надо было видеть этого почтенного старца с его выразительной головой, когда он, во время церковного сбора на бедных, по призыву пастора вытаскивал, со слезами на глазах, из кошелька в виде братской ленты блестящий медный грош!

Короче говоря, Крахгальдер был человеком преданным церкви, и когда он увидел эту колыбель своих праздничных чувств опозоренной и осмеянной, то сердце его облилось кровью или, вернее, в нем вскипела желчь.

— Что вас привело сюда?—обратился к нему генерал; он так впился при этом в него блестящими глазами, что Крахгальдер, несмотря на свою чистую совесть, не выдержал, и зрачки его забегали по сторонам; не скоро ему удалось устоять перед этим острым взглядом.

— Не надо делать из мухи слона!—продолжал, не дожидаясь ответа, Вертмюллер.—Примите этот выстрел за запоздалый салют в честь доброго урожая винограда или, чорт побери, за что там себе хотите!

— Урожай был средний,—возразил старшина со сдержанным гневом,—а выстрел—это совсем нехорошее дело, господа Вертмюллеры! У меня дома имеется летопись города и деревни; там можно прочесть об одном случае, бывшем много лет назад: молодому священнику вздумалось со святым причастием в руках перекидываться влюбленными взглядами со своей невестой; и... Крахгальдер провел пальцем по своей шее.

— Вздор!—вставил нетерпеливо генерал.

— У меня есть также история ересей,—упрямо продолжал Крахгальдер,—в которой описаны и изображены все расколы и секты от начала века. Но ни одному адепту или анабаптисту никогда еще не приходило в голову стрелять с кафедры во время проповеди. Это, господин пастор, совсем новая религия!

Пастор вздохнул. Беспремерность его поступка встала с полной отчетливостью перед его глазами.

— В Цюрихе уж расследуют историю с выстрелом,—пригрозил неумолимый крестьянин. — Синагога, — он хотел сказать «синагога», — будет иметь по этому делу заседание. Мне хоть и обидно за вас, господин пастор, но я надеюсь, что там вынесут вам су-

ровый приговор. И так уже нам, митиконцам, не уйти от насмешек, а это и есть самое худшее; ведь насмешка так живуча в наших краях, на озере. Как я подумаю об этом, клянусь вам, у меня темнеет в глазах. Весь правый берег подымет нас на смех. Впредь нельзя будет выпить спокойно кружки в Мейлене или Кюсснахе без того, чтобы нас не высмеяли на все лады. Выстрел в Митиконе не скоро замрет на наших берегах, так же как выстрел Телля в Альтдорфе. Он пойдет теперь перекачиваться от поколения к поколению. Сошлюсь на ваш пример, господин генерал,—продолжал Крахгальдер, и его старые глаза засветились злым огоньком.—Вам-то известно, что это значит! Подумайте, сколько воды утекло со времени вашего отступления из под Рапперсвиля? А еще в те времена католиками была сложена про вас песенка, и, поверите ли, она жива и поныне. Вы человек прославленный, и даже изображения ваши всюду известны, но что из того? Еще позавчера мимо Ау из Рихтерсвиля проплыла с шумом и песнями барка, везшая богомольцев. Я стоял в своем винограднике и думал себе: Экое дурачье! Около вашего дома они затихли. Вот что значит почтительность!—говорю я сам себе. Да, как бы не так, попал я в точку! Едва только они подплыли к самым окнам вашего дома, как грянула песенка на ваш счет,—знаете, та самая, где Вертмюллера отсылают домой к мельничихе—Мюллерше! Хорошо, что вас в это время не было дома! Я до нельзя злился, в моем винограднике.

— Молчать!—гневно окрикнул его генерал; старый позор неудачной осады все еще жег его душу, жег даже сильнее, чем прежде, словно был написан теми чернилами, которые ясно проступают и становятся несмываемыми лишь с годами.

Но он овладел собою и переменил тон.

— Без некоторого замешательства не обходится ни одна комедия,—сказал он,—но раз уже дошло до последней точки, то надо быстрым ходом вести дело к благополучной развязке, иначе даже и вздор перестает быть забавным.

Господин пастор и дорогие соседи! Вчера я до поздней ночи писал завещание и ровно в полночь подписал его. Мне известен ваш горячий интерес ко всему, что я делаю, что я оставляю и

чего можно от меня ожидать после моей смерти. Позвольте же мне прочесть вам отрывок из моего завещания.

Он вытащил из кармана рукопись и развернул ее.

— Вступление, где я немножко философствую о разных вещах, я пропускаю... «Когда я, Рудольф Вертмюллер, умру...», ну, это, впрочем, тоже сюда не относится.—Он перевернул страницу.—Здесь: «Замок и имение Эльгт, приобретенные на честные сбережения, сделанные мною во время последнего похода, переходят как майорат по завещанию к моему семейству» и т. д. Засим: «...В виду того, что в этом владении имеется хорошая, но запущенная охота и оружейная палата, составленная из трофеев вышеупомянутой кампании, но еще не вполне законченная оборудованьем, я выражаю свою волю, чтобы после моей смерти мой двоюродный брат, пастор Вильперт Вертмюллер, принял на себя заботу об этом замке и имении, поселился там, поднял бы на должную высоту охоту, пополнил бы оружейную и вообще во всех отношениях свободно распоряжался и располагал этим имуществом вплоть до самой своей смерти, под условием, чтобы сие духовное лицо согласилось отказаться от занимаемой им должности в Митиконе и, *antistite probante*, передало ее кандидату Пфанненштилю, каковому кандидату я отдаю мою крестьянку Рахель Вертмюллер в жены, конечно, не без согласия ее отца и с присокуплением трех тысяч цюрихских гульденов, которые я завещаю сей девице завернутыми в мое благословение».

— Уф,—перевел дух генерал,—ну уж и предложения! Чертовский этот немецкий язык!

Пастор чувствовал себя, как человек, потерпевший кораблекрушение, которого одна и та же волна и топит, и выносит на берег. Как человек разумный,—если не считать его злополучной страсти,—он тотчас понял, что генерал открывает ему единственный и, к тому же, в высшей степени приятный выход из создавшегося для него постыдного положения.

Он подал своему злодею и благодетелю руку с оттенком растроганности, а тот потряс ее со словами:

— Если поход сойдет для меня благополучно, то тебе, брат и от этого не будет ущерба! Я устрою дело так, как если бы я

умер, и водворю тебя, в качестве моего собственного душеприкащика, в Эльгте.

Митиконцы слушали, наострив уши, так как чувствовали, что теперь их черед получать дары.

— Я завещаю митиконцам,—продолжал генерал, и его карандаш загулял по бумаге, которую он держал в левой руке, ибо он тут же набрасывал этот параграф, внушенный обстоятельствами момента,—митиконцам завещаю я тот угол моего поместья, который клином врезывается в общинный лес у Волчьей Тропы, состоящий на две трети из хвойного леса и на одну треть из буков; таким образом, оба пограничных камня общинной земли впредь должны соединяться между собой прямой линией с соответствующим для меня ущербом.

— Сегодня же,—даю в том честное слово, перед свидетелями,—эта приписка будет окончательно оформлена за моей подписью,—объявил генерал,—при условии, однако, и в том предположении, что выстрел в митиконской церкви, о котором ходят какие-то непроверенные слухи, будет отнесен к числу вещей никогда не бывших, а поскольку бы он имел место в действительности, да будет он покрыт вечным молчанием, каковое митиконцы обязуются хранить клятвенно, как в этой жизни, так и после смерти, не исключая и последнего дня на страшном Суде.

Крахгальдер, казалось, пребывал во время этого сообщения в полном спокойствии, только ноздри его слегка раздувались, черты же лица его оставались невозмутимыми, да еще концы пальцев у него слегка изогнулись, как будто в намерении крепко зажать в руке подарок.

— Господин генерал, видит Бог!—воскликнул он и поднял руку для клятвы. Но Вертмюллер прибавил еще:

— В противном случае, при нарушенном молчании, я, по возвращении моем из предстоящего похода, намерен отменить и уничтожить это мое завещание. Если бы я был лишен этой возможности по причине наступившей смерти, то клянусь объявиться среди митиконцев в виде духа и, в наказание за их клятвопреступление, прохаживаться взад и вперед патрулем по их деревенской улице между двенадцатью и часом ночи. Ну, что, Крахгальдер, бере- *гогиди* тесь ли вы выполнить эти условия?

— Мы были бы дураками, если бы не заткнули себе рот.

— А ваши жены?

— Об этом уже мы, митиконцы, позаботимся сами,—спокойно сказал старый крестьянин и сделал выразительный жест рукою.

— Ну, Крахгальдер, представьте себе, что я вернулся из Империи,—сказал дружелюбно генерал,—и вот мы сидим с вами на моей веранде, я кладу вам руку на плечо, как сейчас, мы чокаемся с вами, и болтаем о том и о сем. И тут я мимоходом замечаю: «А выстрел-то ведь здорово тогда прогремел!»

— Какой выстрел? Врете вы, господин генерал!—воскликнул церковный старшина, полный бескорыстного негодования; как это ни забавно, оно вовсе не было притворным, а носило, напротив, черты полнейшей искренности.

Вертмюллер довольно усмехнулся.

— Теперь по домам, господа,—обратился старшина с напоминанием:—и во избежание несчастья, через четверть часа всей деревне должно сделаться известным, что тот выстрел—...я хочу сказать, что мы сегодня выслушали прекрасную проповедь.

Он пожал пастору руку.

— А вам, генерал, я подаю эту руку, как клятвенно с вами связанный.

— Подождите минуту,—обратился к ним генерал,—останьтесь свидетелями того, как счастливый отец соединит руки двух молодых людей. Викарий должен быть здесь где-нибудь по близости. Если глаза меня не обманули, я видел издали, как он перескакивал через забор и таким прыжком, какого я от него никогда не ожидал.

— Рахель, дитя мое, скорее!—крикнул пастор через открытые двери во внутренние комнаты.

— Сейчас, отец,—послышался ответ, но не из комнаты, а снаружи из виноградной беседки.

Генерал быстро взглянул в окно и увидел сквозь сеть листьев обоих покровительствуемых им молодых людей в виде группы, смысла которой он никак не мог себе объяснить.

— Сюда, пастух и пастушка, выходите из под аркадской сени!—крикнул старый всяка.

Тогда Рахель с краской легкой досады на лице вышла из-под лиственной кровли, ведя за собой Пфанненштиля. Они вместе вступили на небольшую круглую площадку, обсаженную плодовыми деревьями, под самыми окнами пасторского кабинета, откуда выглядывали генерал и любопытствующие церковные старшины.

Девушка держала в своей ловкой руке иголку и на глазах у всех прикрепляла болтавшуюся на платки кандидата пуговицу. Она, несколько не смущаясь, сделала это свое дело. Лишь после того, как нитка была закреплена, она подняла свои карие глаза, в которых боролись веселость с серьезностью, и, пристально глядя на своего забавного гения-покровителя, кинула ему слова:

— Крестный, за короткое время вы чуть не довели до полного расстройства и не загубили мне господина викария; поневоле мне приходится приводить его в порядок, дабы он мог предстать в своем виде перед Богом и людьми. Но, скажите, что вы сделали с его верхней пуговицей, которую мне пришлось заменить отцовской? Возвратите ее по принадлежности или...—и она подняла иголку с таким решительным и угрожающим жестом, что все мужчины разразились громким хохотом.

Через несколько мгновений Пфанненштил и Рахель предстали перед священником, и он обручил и благословил их.

Когда же церковные старшины, довольные, разошлись по домам, почтенный пастор не преминул прочесть своему будущему зятю легкую нотацию:

— Что это такое, господин викарий? Шмыгать мимо церкви,—и эти оборванные пуговицы... Где же тут уважение к своему сану?

Затем он повернулся к генералу:

— Вот одна парочка,—сказал он.—Ну-с, братец, а теперь другая: подавайте-ка!

И он без стеснения залез к генералу в карман, вытащил оттуда пистолет с тугим спуском, вынул затем из собственного кармана другой с легкой пружиной и стал их тщательно сравнивать.

Так-то случилось, что митиконский выстрел был обречен молчанием на смерть и,—в этом прямая противоположность выстрелу Вильгельма Телля,—превратился из живой действительности в

бледное бесплотное предание, блуждающее, подобно бесприютному призраку, и по сию пору по чудесным берегам нашего озера.

Впрочем, даже если бы митиконцы и проболтались, все же генерал не мог бы лишиться своего завещания силы; ибо ему уже не было суждено вновь увидеть дубы Ау.

Конец его был внезапен, темен и жуток. Однажды в вечерние сумерки он въехал вместе со свитой в маленький немецкий городишко и остановился в единственной плохой гостинице; здесь он призвал к себе старшину и отдал приказ о реквизициях. Два часа спустя его свалил с ног внезапный припадок болезни, а ровно в полночь эта странная душа на веки рассталась со своим телом.

Перев. с немецкого

А. и Ю. Римские-Корсаковы.

ПЛАВТ В ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

(1882 г.)

После жаркого солнечного дня, перед виллой среди медийских садов, общество образованных флорентийцев собралось насладиться вечерней прохладой вокруг Козимо Медичи, «отца отечества». Чистое вечернее небо в великолепных, но нежно переливающихся тонах, меркло над скромным пиром. Среди сидевших выделялась резко очерченная седая голова, и к красноречивым губам ее приковано было внимание прислушивавшегося кружка. Странно двойственное впечатление оставляла эта одухотворенная голова: на ясный лоб, на улыбавшиеся углы рта легла тень пережитой скорби.

— Мой Поджио, — сказал после наступившего молчания Козимо Медичи, взглянув умными глазами, сверкавшими на его безобразном лице, — на днях я снова перелистал книжечку твоих фанеций. Разумеется, я знаю ее наизусть, и мне это досадно, так как я могу развлечься только тонкими оборотами счастливо найденной формы, но не в силах уже почувствовать ни любопытства, ни неожиданного удивления. Совершенно невозможно, чтобы ты при твоей изысканности не исключил из окончательного издания книжечки тех или иных остроумных и милых выходов, за то ли, что они недосолены, или за то, что они пересолены. Подумай хорошенько! Преподнеси нашему дружескому кружку, где понимают самый легкий намек и прощают самую смелую шутку, одну из твоих *facezia inedita*. Рассказывая и прихлебывая — он указал на кубок, — ты забудешь о своем горе!

Свежую еще скорбь, на которую, как на что-то известное всему городу, намекал Козимо, причинил старому Поджио, ныне секретарю флорентийской республики, а равно секретарю пяти пап, сперва священнику, позже — женатому человеку, один из его сыновей, богато одаренных бездельников. Несчастный опозорил седые

волосы отца поступком, который граничил с грабежом и воровством и сверх того вовлекал вступившего за сына, бережливого Поджио в чувствительные материальные убытки.

После краткого размышления старик ответил:

— Эти или им подобные выходки, пришедшиеся тебе по вкусу, мой Козимо, одевают, словно пышный венок, лишь темные волосы и не подходят к беззубому рту. — Он улыбнулся и показал еще красивый ряд белых зубов. — И только с несхотою, — вздохнул Поджио, — возвращаясь я к подобному юношескому веселию, как бы, по существу своему, ни были они невинны, теперь, когда на своем сыне я вижу, в какую невыносимую дерзость, даже нечестие выродились — по неведомому мне закону усиления — непринужденность моей точки зрения и снисходительность моего понимания жизни.

— Поджио, да это проповедь! — прервал его один юноша. — Проповедник, — ты, вернувший миру комедии Плавта!

— Спасибо за предостережение, Ромоло! — воскликнул, овладевая собою, несчастный отец. Он и сам, как добрый соградезник, считал неловким обременять хозяев и гостей своим личным горем. — Спасибо за напоминание! «Находка Плавта» и будет фацицией, которую я сегодня вас, государи мои, угощу.

— Я бы охотнее назвал ее «Похищением Плавта», — бросил какой-то насмешник.

Но Поджио, не удостоив его взглядом, продолжал:

— Мне бы хотелось, друзья мои, позабавить вас, а вместе с тем и показать, как несправедлив упрек, которым преследуют меня мои завистники, утверждая, будто я неблагородным, даже предосудительным образом присвоил себе, будто я — грубо говоря — обокрал тех классиков, которых я когда-то открыл. Нет ничего живее.

Улыбка пробежала по лицам собравшихся. Сначала Поджио держался серьезно и как бы отклоняя ее, но, наконец, улыбнулся с другими и сам. Ему, знатоку человеческого сердца, было известно, что трудно вырвать с корнем даже самые ложные предвзятые мнения.

— Моя фациция, — начал Поджио пародировать обычно предшествовавшие итальянским новеллам длинные пересказы их содержания, — «повествует о двух крестах, одном тяжелом и другом легком, и о двух варварских монахинях, послушнице и игуменье».

— Божественно, Поджио, — перебил его сосед, — в духе тех, верных сердцем германских весталок, которыми ты, в твоём восхитительном письме с дороги, словно найдами, заселил целебные источники на Лиммате — лучшее, что ты написал, клянусь девятью музами! Это письмо распространилось по Италии в тысяче списков...

— Зная ваш вкус, я преувеличивал, — пошутил Поджио. — Тебе, Ипполито, как любителю верности сердечной, во всяком случае, доставит удовольствие моя варварская монахиня. Я начинаю.

В те дни, светлейший Козимо, когда мы отсекали лишние головы у нашей, превратившейся в лернейскую гидру, святой церкви, я находился в Констанце и посвящал свою деятельность исполнимым трудам вселенского собора. Досуги же свои я делил между посещением забавных комедий, которые сбивали в одну кучу на узких подмостках имперского города благочестие, науку, государственное искусство века вместе с его папами, еретиками, скомо-рохами, девками, и — при случае — розыском манускриптов в окрестных монастырях.

Проследивая разные следы, набрел я на близкое к уверенности предположение, что в одном соседнем женском монастыре, в руках варварских монахинь находится Плавт, куда мог он, заблудившись, попасть из опустевшего бенедиктинского монастыря в качестве наследства или залога. Плавт! Подумай, светлейший мой покровитель, как много это говорило в то время, когда существовали лишь немногие, невыносимо подзадоривающие любопытство, фрагменты великого римского драматурга! Ты поверишь мне, Козимо, что я утратил сон; ведь ты разделяешь и благосклонно поддерживаешь мое одушевление перед развалинами павшего более великого мира! Если бы я только бросил все и поспешил туда, где бессмертный, вместо того, чтобы увеселять мир, тлел в недостойном мраке! Но то были дни, когда всех занимал вопрос о выборе нового папы, и Святой Дух уже начал обращать внимание собравшихся отцов на заслуги и добродетели Оттона Колонны, при чем из за этого ни мало не ослабела необходимость в ежедневной и ежечасной беготне и езде его приверженцев и слуг, среди которых числился и я.

Таким образом, случилось следующее. Ничтожный и нечестный искатель, к сожалению, соотечественник, в присутствии которого я в порыве сердечной радости уронил необдуманное слово о возможности столь великой находки, предупредил меня и—неуклюжий!—не достав *per fas* или *nefas* классика, поселил в игуменью монастыря, где лежал он покрытый пылью, недоверие и обратил ее внимание на сокровище, которым она, сама того не зная, владела.

Наконец, руки у меня были развязаны и я уселся,—несмотря на предстоящие выборы папы—на быстрого мула, оставив приказание, по наступлении мирового события послать ко мне гонца. Погонщик моего мула был привезенный из Кура епископом этого города среди его челяди в Констанц ретиец по имени Анселино де Спьюга. Он без колебаний согласился на мое первое предложение, и мы столковались за невероятно дешевую цену.

Тысячи шуток проносились у меня в голове. Синева афира, летний воздух, наполовину смешанный со свежим, почти холодным дыханием севера, дешевое путешествие, побежденные трудности папского выбора, предстоявшее мне величайшее наслаждение вновь открытым классиком—все эти небесные благодетели настраивали меня бесконечно весело, и я слышал пение муз и ангелочков. Мой спутник Анселино де Спьюга, наоборот, предался—как мне казалось—тягостным размышлениям.

Счастливый сам, я из человеколюбия постарался и его сделать счастливым или, по крайней мере, развеселить и стал задавать ему всякие загадки; главным образом, из библейской истории, хорошо известной простонародью.

— Знаешь ли ты, — спросил я его, — как произошло освобождение из оков первого среди апостолов?—и получил в ответ, что он видал изображение этого в церкви в Тоскане.

— Заметь, милый Анселино! — продолжал я. — Ангел сказал Петру: «Надень твою обувь и следуй за мною!» Петр не признал ангела, и они пошли, чрез первую и вторую стражу, чрез ворота и вдоль по улице. Тут спутник исчез, и Петр тотчас же сказал: «Теперь воистину знаю я, что меня вел ангел». Откуда, Анселино, явилось к нему это внезапное знание, это неопровержимое убе-

ждение? Скажи-ка мне, если можешь ты это отгадать. — Анселино несколько времени подумал и потом потряс своей упрямой курчавой головой. — Заметь, Анселино, — сказал я, — я разрешаю вопрос. Петр признал ангела по тому, что тот не потребовал за свою службу на-чай! Это не по земному! Так поступает только небожитель!

Не следует шутить с народом. Анселино отыскал в моей шутке, которая неизвестно откуда ко мне прилетела, умысел или намеки.

— Правда, сударь, — сказал он, — я везу вас почти даром и хоть я и не ангел, не попрошу на выпивку. Мне, знаете, и самому надо в Монастерлинген — он говорил о женском монастыре, цели нашего путешествия — где Гертруда завтра препоясывает свои чресла веревкой, и ее светлые волосы упадут под ножницами.

У здорового малого, который, впрочем, выказывал в своей манере и речи — может быть, в его жилах текли капли романской крови — много природного достоинства, по загорелому лицу катились слезы.

— Клянусь луком Купидона, — воскликнул я, — несчастный влюблен! — и я заставил его рассказать мне простую, но вовсе не легко понятную историю.

Он прибыл в Констанц вместе со своим епископом и, ничем не занятый, стал здесь искать в окрестностях плотничьей работы. Он нашел ее на постройках женского монастыря и вскоре познакомился с жившей по близости Гертрудой. Они сошлись и понравились друг другу. Так стали они с удовольствием и часто посиживать рядышком. — Честь честью, — сказал он, — потому что она честная девушка. Вдруг, внезапно она от него отстранилась, не порвав прямо с любовью, но так, как будто прошел строго назначенный срок. И он узнал за верное, что она постригается. Завтра ее станут облачать, а он будет присутствовать при этом, чтобы собственными глазами убедиться в том, что честная и совсем не пустая девушка может без какого бы то ни было основания бросить человека, которого она, по ее же признанию, любит, — и вдруг сделаться монахиней. К этому Гертруда, здоровая и сильная, совсем не подходит и—чуждое дело — как можно вывести из собственных ее слов, не имеет никакого влечения, напротив—это ее пугает и страшит.

— Необъяснимо!—грустно закончил свой рассказ ретиец и прибавил, что по милости неба недавно смерть постигла его злую мачеху, из за которой оставил он отцовский дом, и теперь двери этого дома раскрыты перед ним, как и объятия его седого отца. Таким образом, его голубка нашла бы себе теплое гнездышко, а она во что бы то ни стало и непонятно почему, хочет вить гнездо в келье.

Окончив рассказ, Анселино снова впал в мрачную задумчивость и упорное молчание, прерываемое им только для того, чтобы отвечать на мои вопросы о характере игуменьи. Она, говорил он, мерзкая маленькая женщина, но превосходная управительница. Она восстановила запущенное хозяйство монастыря и поставила его снова на твердую ногу. Родом она из «*Abbatiss Cella*» и прозывается в народе «Бригитточкой из Трогена».

Наконец, среди однообразных виноградников показался монастырь. Анселино попросил меня отпустить его; у шинка на дороге, потому что, сказал он, хочется ему еще разок взглянуть на Гертруду только во время ее пострижения. Я согласился и велел снять меня с мула, для того, чтобы поудобнее и не спеша добраться до близкого монастыря.

Там шло веселье. Посредине луга перед ним было выставлено для продажи или для какой-то иной цели что-то большое и неясное. Человек с толстой шеей и в шлеме время от времени трубил в какую-то резко звучащую трубу, может быть — военную добычу, может быть — церковную утварь. Возле окруженной монахинями игуменьи и подозрительного герольда в заплатанной куртке, рваных штанах и дырявых сапогах с выглядывавшими из них пальцами, миряне и сбежавшиеся монахи образовали пестрый приятельский круг. Среди крестьян там и сям стояли дворяне—в Тургавии (так называется эта немецкая область) было изобилие мелкой и ничтожной геральдической птицы; площадные певцы, цыгане, бродяги, девки и сволочь всякого рода, которую приманил собор, смешивались с ними в странный венок. Из этого кружка выступал то один, то другой и пробовал поднять выставленный предмет, в котором, подойдя поближе, я признал мрачный, старинный громадный крест. Казалось, он был страшно тяжел, потому что через короткое время

он начинал качаться из стороны в сторону в дрожащих руках даже самого сильного человека, угрожающе склонялся и падал бы, если бы многопудовое бревно беспорядочно не подхватывали другие руки и плечи. Веселье и смех сопровождали неудачу. В довершение непристойности всей сцены мужичка-игуменья, словно одержимая, танцевала на свежем лугу, одушевленная ценностью своей реликвии (значение этого базара начало мне выясняться) и, вероятно, монастырским вином, которое без всяких кубков и церемоний в громадных деревянных кружках переходило ото рта ко рту.

— Клянусь косами Божьей Матери,—кричала наглая баба,—никто у меня не подымет и не снесет этого креста нашей блаженной герцогини Амаласвинты, даже самый дюжий парень не подымет! Завтра же Гертрудочка внесет его, как перышко. Только бы смертное творение не стало суетным! Одному Богу слава! Так говорит Бригитточка. Люди, чуду этому тысяча лет, а оно все еще новехонько! Всегда оно сходило без задоринки и, вернее верного, гладко сойдет и завтра.—Надо полагать, славной игуменье в этот небесный день хмелек ударил в голову.

Сопоставляя это забавное происшествие с подобными же, виденными мною в моем благословенном отечестве, я начал его понимать и оценивать—именно так, как через час, получше познакомившись с делом, я окончательно его выяснил. Но течение моих мыслей внезапно и неприятным образом было прервано визгливым криком шутихи в белом капюшоне, с пунцовым лицом, с глупо хитрыми глазками, едва заметным носом пуговицей и отделенным от него на невероятное расстояние животным ртом...

— Эй, вы там, итальянский писец!—закричала она мне. В этот день я оделся просто по дорожному, и на мне явны были следы моего классического происхождения. — Подойдите-ка чуточку поближе и подымите мне крест блаженной Амаласвинты!

Смешливые взгляды всех обратились на меня, мне очистили дорогу и, по алеманскому обычаю, грубыми пинками протолкнули вперед. Я отказывался, ссылаясь на известную вам, друзья, короткость и слабость моих рук.—Рассказчик размахистым жестом показал их.

Тогда бессовестная, посмотрев на меня, воскликнула: — «Зато

длинные пальцы у тебя, прохвоста!» — И действительно, мои пальцы от ежедневного упражнения в писании развились и стали гибкими. Толпа стоявшего кругом народа подняла оглушительный смех, смысл которого остался мне непонятным, но который оскорбил меня и который я поставил на счет игуменье. С негодованием я удалился, завернул за угол соседней церкви и, найдя открытым главный вход, вошел в нее. Благородные арки окон и потолков, вместо модных стрельчатых сводов и глупого французского завитка, снова настроили меня ясно и спокойно. Медленно подвигался я вперед по храму, привлеченный скульптурой, которая при свете, падавшем сверху, мощной массой выступала из священного полумрака и казалась чем-то в своем роде прекрасным. Я подошел поближе и не разочаровался. Высеченная из камня группа представляла две соединенные крестом фигуры, и этот крест по величине и пропорциям совершенно походил на тот, который был выставлен на монастырском лугу, так что нельзя было сказать, который из них сделан по образцу другого. Могушая, увенчанная терниями жена несла его сильными руками на мощном плече почти прямо и всетаки поникла под ним, как показывали резко очерченные на одежде колени. Рядом с этой склонявшеюся женой-гигантом, немного впереди фигура меньших размеров, с веночком на миловидной голове, сострадательно подставляла свое слабое плечико под невыносимое бремя. Старый мастер — намеренно, а вернее, по недостатку умения — грубо обработал тела и одежды, отдав свои силы и пламенное одушевление своей души изображению голов, выражавших отчаяние и сострадание.

Пораженный этим, отступил я шаг назад, ища хорошего освещения. И вот, вижу — там против меня, с другой стороны группы, стоит девушка, почти столь же крепкого телосложения, как и каменная герцогиня, вероятно, местная уроженка, крестьянка из окрестностей. Девушка отбросила капюшон белой одежды назад на бремя светлых кос и сильную шею, жаждущую быть открытой.

Она поднялась — погруженная в себя, она заметила меня не раньше, чем я ее — оттерла рукою бежавшие из глаз слезы и хотела удалиться. Вероятно, это была послушница.

Я задержал ее и попросил объяснить мне значение изваяний,

сказав ей на своем ломаном немецком языке, что я один из чужеземных отцов на Соборе. Эти слова видно, не произвели на нее впечатления. Очень просто она сообщила мне, что группа изображает старую королеву или герцогиню, основательницу этого монастыря, которая, принося в нем свои обеты, пожелала приступить к пострижению с обвитою терниями головой и с крестом на плече.

— Говорят, — серьезно продолжала девушка, — она была большой грешницей; на ее совести лежало отравление супруга, но она была так сильна, что мирское правосудие было бессильно покарать ее. Тогда Бог прикоснулся к ее совести, и она впала в большую тоску, отчаявшись в спасении своей души! — После долгого и тяжелого покаяния, она, в жажде знамения того, что Бог ей простил, велела сделать этот большой и тяжелый крест, который с трудом мог поднять даже самый сильный мужчина ее времени. Она бы пала под его бременем, если бы Матерь Божия в видимом образе милосердно не подняла его вместе с ней, подставив рядом с земным свое небесное плечо.

Русокудрая германка рассказывала не этими словами, а другими, более простыми, даже грубыми и неумелыми. Но их нельзя перевести с варварского языка на нашу литературную тосканскую речь, не становясь мужиковатым и смешным. И с другой стороны, господа, это совершенно не подошло бы к величавому выражению гордых голубых глаз и грубых, но правильных черт лица, которые я видел перед собою.

— Рассказ правдоподобен, — заметил я, так как подобный поступок варварской королевы показался мне подходящим ко времени и нравам темного конца первого тысячелетия. — Это, может быть, и правда!

— Это правда! — подтвердила Гертруда страстно и кратко, мрачным и убежденным взглядом посмотрев на группу, и снова собралась уйти. Но я опять задержал ее вопросом: не Гертруда ли она, о которой рассказывал мне сегодняшний мой проводник Анселино из Сплугена? Она бесстрашно, даже без смущения подтвердила это, и улыбка медленно пробежала от твердых углов рта, словно блуждающий свет, по смуглому, но уже побледневшему от монастырской жизни лицу.

Подумав, она сказала:—Я знала, что он будет на моем пострижении, и по мне, пусть будет так. Когда он увидит, как упадут мои косы, это поможет ему меня забыть. Раз уж вы здесь, достопочтенный господин, я обращусь к вам с просьбой. Когда он возвратится с вами в Констанц, просветите его на счет того, почему я от него отказалась, после того как—и она еле заметно покраснела—честно и согласно добрым нравам была с ним дружна. Много раз я собиралась рассказать ему дело, но я прикусывала себе язык, так как это тайная сделка между мною и Матерью Божией, а тут болтать не годится. Вам же, знакомому с духовными тайнами, могу я о нем сообщить без предательства. Потом вы передадите Анселино столько, сколько можно и покажется вам нужным для того, чтобы он не считал меня легкомысленной и неблагодарной и чтобы не осталась я у него в памяти такою.

Дело вот какое. Когда я была еще малым ребенком—было мне десять лет, и отец мой уже умер—матушка моя тяжело и безнадежно заболела. И охватил меня тогда страх—остаться в мире одной-одинешенькой. Из-за этого страха и из-за любви к матушке принесла я за себя обет непорочной Деве Марии на двадцатый мой год, если сохранит она мне жизнь матери примерно до того времени. Так Она и сделала и поддержала ее жизнь до последнего праздника Тела Христова, когда упокоилась она. В это время как раз Анселино плотничал в монастыре и заодно сколотил гроб и моей матушке. Так как была я теперь одна, нечего удивляться, что он мне полюбился. Он славный и бережливый малый, как почти все итальянцы, скромн и вежлив, как они там за горами говорят. К тому же могли мы беседовать друг с другом на обоих языках, потому что мой отец, сильный и храбрый человек, много раз не во вред для себя сопровождал за горы тощего боязливого купца и привез оттуда домой пару-другую итальянских словечек. И если называл меня Ганс «*saga bambina*», я в ответ звала его «*proverello*», и оба слова звучат хорошо, хотя не хочу я бранить и наших любовных слов, если только говорить их с честными мыслями.

Наступил срок моего обета, и напоминал он мне о себе с каждым ударом церковного колокола.

Часто слышала я шопот разных мыслей, например: «Не связывает тебя обет невинного ребенка, не знающего, что такое мужчина и что женщина!» или: «Божья Матерь добра. Она бы безвозмездно подарила тебе твою матушку и без этого!» Но я возражала: «Торг остается торгом!» и: «Давши слово держись!» Она сдержала свое, сдержу свое и я. Без верности и веры не мог бы существовать мир. Как говорил покойный мой отец?—«Я сдержу, говорил он, слово чорту, не только Господу Богу».

Теперь, досточтимый господин, послушайте, что я думаю! С той поры, как Мать Божья несла крест, помогая королеве, она с незапамятных времен, заселяя ее монастырь, помогает нести его всем без различия послушницам. У нее стало это привычкой; она делает это, не думая. Когда мне было девять лет, я собственными глазами видела, как Лизочка из Вейнфельдена, хилая девушка, здесь приносившая свои обеты, шутя и играючи несла на своем кривом плече пудовый крест.

Теперь говорю я Матери Божьей: «Если хочешь меня, возьми! Хотя я—если бы ты была Гертрудой, а я Матерью Божьей—может быть, не стала бы ловить на слове ребенка. Но все равно—торг остается торгом! Есть только одна разница. Герцогине с ее тяжелыми грехами было в монастыре легко и хорошо; мне будет холодно и горько. Если ты снесешь для меня крест, то облегчи мне и сердце; иначе случится несчастье, Мать Божья! Если же не можешь ты облегчить мне сердце, дай мне лучше на мой позор упасть перед всеми и растянуться на земле.

Видя, как эти тяжелые мысли, текущие медленно и с трудом, бороздили морщинами юный лоб Гертруды, я лукаво улыбнулся:

—Ловкая и разумная девушка выберется из трудного дела, разок споткнувшись!

Ее голубые глаза загорелись.—Не думаете ли вы, господин, что я стану мошенничать?—разгневалась она:—Помоги мне Бог, Отец, Сын и Дух в последний мой часок за то, что честно понесу я крест всеми силами этих моих рук!—и она порывисто подняла их, точно уже несла крест, так что рукава рясы и рубашки спали далеко вниз. Я же, как истый флорентиец, с чувством художественного наслаждения посмотрел на стройные и сильные девичьи

руки. Она заметила это, нахмурилась и, негодуя, повернулась ко мне спиной.

Она ушла, я уселся в исповедальне, опустил голову на руку и стал думать — конечно, не о варварской девушке, а о римском классике. Вдруг сердце мое возликовало, и я громко воскликнул:— Спасибо вам, бессмертные! Любимец музы комедийной подарен миру! Плавт найден!

Друзья, стечение обстоятельств ручалось мне за успех.

Не знаю, мой Козимо, что думаешь ты о чуде. Сам я думаю о нем довольно свободно, ни суеверно, ни дерзновенно. Я терпеть не могу решительных людей, которые там, где необъяснимое явление собирает вокруг себя туманный круг суеверий, без всякого исследования и различия—или во все целиком верят или все так же целиком отвергают.

Я думал, что тут можно было найти и то, и другое: и непонятное, и обман.

Тяжелый крест был неподдельный, и величая грешница, варварская женщина, благодаря гигантским силам отчаяния и веры, может быть, его подняла. Но такое событие не повторялось, а в течение тысячелетия фокуснически подделывалось. Кто виноват в этом обмане? Заблудившееся благочестие? расчетливая жадность?— Это было покрыто мраком времен. Но одно несомненно: мрачный, потемневший от старости крест, выставленный на обозрение народу, и крест, который при пострижении носил целый ряд простодушных или вошедших в заговор послушниц, а еще недавно несла слабенькая и хитрая Лизочка из Вейнфельдена, были два различные креста. В то время как тяжелый крест показывали и поднимали на лугу, легкий поддельный крест прятали и заперли в каком-нибудь укромном местечке в монастыре для того, чтобы завтра подменить им настоящий и обмануть им народ.

Существование поддельного креста, в котором я был убежден, как в моем собственном, дало мне в руки одно оружие. Другое предоставили мне события этого времени.

Трех низложенных пап и двух сожженных еретиков для преобразования церкви было недостаточно. Комиссии собора занимались исправлением различных нестроений. Одна из них,

в которой заседали «doctor christianissimus» Жерсон и суровый Пьер д'Айи и некоторое время секретарем был я, восстанавливала чинную жизнь в женских монастырях. Там обсуждались опасные и ненадежные в женских руках поддельные чудеса и дурные книги для чтения сестер. Замечу мимоходом—эти вопросы рассматривались обоими французами с прямо непонятным для нас, итальянцев, педантством, без малейшей шутки, как она ни напрашивалась. Достаточно сказать, что эти рассуждения образовывали основу, а подделка чуда—уток моей пряжи; и так была готова сеть, которую я неожиданно накинул на голову игуменье.

Медленно поднялся я по ступеням хора и повернул из него направо в ризницу, со столь же смело перекинутым высоким сводом. Там я нашел покрытое хвастливыми надписями пустое место, где обычно стоял прикрепленным тяжелый крест и куда он должен был снова возвратиться с монастырского луга. Две маленькие двери вели в боковые помещения. Одна оказалась закрытой; другая была отперта, и я вошел в каморку, скудно освещенную круглым окном, затемненным паутиной. Вдруг я вижу—на двух-трех изъеденных червями полках лежит в куче монастырская библиотека.

Все существо мое пришло в возбуждение, словно я был влюбленным юношей и вошел в комнату Лидии или Глицеры. С трепещущими руками и дрожью в ногах приблизился я к пергаментам; и, найди я среди них комедии умбрийца, я бы покрыл их ненасытными поцелуями.

Но, увы, я перелистывал лишь ритуалы и литургии, священный текст которых оставлял холодным разочарованного искателя. Ни одного списка Плавта! Мне сказали правду. Неуклюжий искатель, неловко схватив клад, вместо того, чтобы достать его, допустил его уйти в недостижимые глубины. Я нашел в пыли—единственная добыча—«Исповедь» Св. Августина. Так как я всегда любил эту изысканную книжечку, я машинально сунул ее в карман, приготавливая себе, по моему обыкновению, чтение на вечер. Вдруг, точно молния, влетела моя маленькая игуменья, приказавшая притащить назад в ризницу крест и высмотревшая меня через оставшуюся открытой дверь в библиотеке, так что я, ошеломленный желанием и разочарованием, этого и не заметил. Баба эта,

словно молния, говорю я, налетела на меня с руганью и бранью; мало того—непристойными прикосновениями она ощупала мою одежду и снова извлекла на свет Божий лежавшего на груди моей отца церкви.

— Любезнейший,—завизжала она,—по вашему длинному носу я сейчас же заметила, что вы один из итальянских книжных хорьков, которые с некоторого времени шныряют по нашим монастырям. Но запомните—есть разница между нагрузившимся вином монахом сангаленского монастыря и проворною уроженкой Аппенцелля. Я знаю,—ухмыляясь, продолжала она,—за каким салом скребутся кошки. Они подстерегают книжку одного шута, которую мы здесь храним. Никто из нас не знал, что такое в ней написано, пока недавно один итальянский мошенник, поклонившись нашим пресвятым реликвиям, не попытался под своим длинным облачением—она показала на мое одеяние—утащить с собой этого скomorоха. Тогда я сказала самой себе:—Бригитточка из Трогена, не давайся в обман! Должно быть, свиная кожа стоит золота, раз итальянец рискнул за нее веревкой. Ведь у нас, голубчик, говорится: «Кто крадет веревку, тот повиснет на веревке!» Бригитточка—не будь душой—зовет на совет ученого друга, человека без лукавства, попа из Диссенхофена, который похваливает наше вино, да иногда пошучивает с сестрами забавные шутки. Рассмотрев эти дурацкие пожелтевшие каракули, он и говорит: «Вот так штука, мать игуменья, это стоит продать! На это построите вы для вашего монастыречка житницу и давяльню! Возьмите книжечку, милая, засуньте ее под свой пуховик, лягте на родех—так он называется—и—ради венца Божьей Матери—лежите на нем, пока не объявится честный покупатель!» Так Бригитточка и сделала, хотя с той поры спать ей немного жестко.

Я сдержал улыбку, подумав о ложе умбрийского поэта, которое, вероятно, ему присудили за его грехи три судьи подземного мира, и, приняв достойный вид, в иных случаях мне свойственный, состроил важное и негодующее лицо.

— Игуменья, сказал я торжественным тоном,—ты меня не признаешь. Перед тобой стоит посланник Собора, один из собравшихся в Констанце отцов, один из священных мужей, поставлен-

ных для реформы женских обителей.—И я развернул великолепно написанный счет из гостиницы; близость запрятанного комического поэта меня воодушевила.

— Во имя и по уполномочию семнадцатого и вселенского Собора!—стал читать я.—Да не будут запятнаны руки ни одной христианской весталки одним из тех опасных для нравственности, по латыни ли или на местном языке написанных сочинений, содержанием коих нанесен уже вред их душе... Благочестивая мать, я не в силах оскорбить ваши целомудренные уши именами этих отверженных... Поддельные чудеса, постоянные или единичные, преследуем мы с неумолимою строгостью. Там, где будет установлен сознательный обман, виновная—будь она игуменьей—без всякого снисхождения заплатит за кощунство смертью на костре.

Игуменья побледнела, как покойник. Но лживая баба с удивительным присутствием духа сейчас же собой овладела.

— Слава и хвала Богу!—воскликнула она,—за то, что, наконец, устраивает Он порядок в Своей святой церкви!—И, любезно ослабившись, она вытащила из угла в шкафу изящно переплетенную книжечку.—Эту книжку,—сказала она,—оставил нам один итальянский кардинал, наш гость. Он читал ее перед своим сном после обеда. Священник Диссенхофенский, просмотрев ее, высказал мнение, что это самое непристойное и богомерзкое из всего выдуманного со времени изобретения букв, да к тому же еще клириком сочиненное. Благочестивый отец, с полным доверием передаю я вам в руки такую грязь. Освободите меня от этой чумы!—И она подала мне мои фацеции!

Хотя эта неожиданность была злостной проделкой скорее случая, чем игуменьи, я почувствовал себя задетым и раздосадованным. Я начинал ненавидеть маленькую игуменью. Ведь наши писания—плоть и кровь наши, и льшу себя мыслью, что я в моих сочинениях остаюсь всегда безобидным, не оскорбляя ни стыдливых муз, ни непогрешимой церкви.

— Хорошо,—сказал я.—Хотелось бы мне, игуменья, чтобы ты оказалась не подлежащей наказанию также и в дальнейшем, более существенном пункте! По близости от собора и на глазах его,—сказал я с упреком, ты обещала собравшемуся народу чудо,

с таким базарным криком, что теперь уже не можешь пойти на попятный. Не знаю, разумно ли было это. Не удивляйся, игуменя, что твое чудо будет обследовано! Ты сама потребовала суда!

Колени старухи задрожали, а глаза ее забегали.

— Следуй за мною,—строго сказал я,—и рассмотрим орудие чуда!

Подавленная, она последовала за мной, и мы вошли в ризницу, куда принесли назад крест. В широком полумраке благородной комнаты он со своими глубокими трещинами и со своею гигантскою тенью так мощно прикидал к стене, как будто лишь сегодня отчаявшаяся великая грешница схватила его и пала под ним на колени, уже касаясь лицом каменных плит в то мгновение, когда появилась и помогла ей Царица Небесная. Я попробовал его поднять, но не мог сдвинуть с места. Тем смешнее казалось мне кощунство—подмена этого подавляющего бремени игрушкой. Я решительно повернулся к высокой узенькой дверке, за которой предполагал найти поддельный крест.

— Ключ, игуменя!—приказал я. Баба с ужасом уставилась на меня глазами, но нагло ответила:—Потерян, владыко епископ! Больше десяти лет!

— Женщина,—сказал я с внушающей страх серьезностью,—дело идет о твоей жизни! Там напротив остановился слуга моего друга графа Доккабурго. Туда я пошлю или пойду за помощью. И если здесь найдется сделанный по образцу настоящего крест более легкого веса, ты будешь гореть и пылать, грешница, как еретик Гус, не менее виновная, чем он!

Наступило молчание. Затем старуха—не знаю: стучали ли у нее зубы или она скрежетала ими—вытащила старинный ключ с завитою бородкой и открыла дверь. Это лестно—разум мой меня не обманул. К стене высокой комнатки, напоминающей внутренность трубы был прислонен черный крест с глубокими трещинами. Я его тотчас же схватил и своими слабыми руками без труда поднял на воздух. В каждом из своих возвышений или углублений, во всех мелочах подложный крест был сделан по образцу настоящего и походил на него до полного обмана даже на острый

взгляд, с тем лишь отличием, что он был в десять раз легче. Вследствие быстрой смены впечатлений, мне так и не удалось определить, был ли он внутри пустой или сделан из пробки, либо из какого-нибудь другого легкого вещества.

Я был удивлен совершенством подделки, и у меня мелькнула мысль:—Только большой художник, только итальянец мог его сделать. А так как я одушевлен славой своего отечества, у меня и вырвалось:—Великолепно! Мастерская работа!—конечно, в похвалу не обману, а приложенному к нему искусству.

— Проказник, проказник,—подняв палец, зазубоскалила внимательно следившая за мной бесстыдная старуха,—вы меня перехитрили, и я знаю, что придется уплатить! Берите вашего скомо-roxa, которого я вам сейчас принесу, под мышку, держите язык за зубами и отправляйтесь с Богом!—Когда на семи холмах встречались два авгура и, по крылатому слову древности, улыбались друг другу, это было лучше и тоньше, чем гадкий смех, который исказил лицо моей игуменьи и мог быть передан такими словами: «Знаем мы, где зарыта собака; все мы мошенники и нечего нам принаряжаться».

Я думал, как бы наказать негодную старуху.

В это время, во внезапно наступившей тишине, мы услышали раздававшиеся рядом на хоре беготню, шушуканье, хихиканье и догадались, что нас подслушивали праздные и любопытные монахини. —Во имя девственности моей!—воскликнула, обращаясь ко мне, игуменя.—расстанемся, владыко епископ! Ни за какие блага в мире не хотела бы я, чтобы меня застали вместе с вами мои монахини. Вы статный мужчина, а языки моих сестер режут, как ножницы или ножик!—Я нашел это соображение основательным и приказал ей удалиться, захватив с собой своих монахинь.

Через несколько времени оставил ризницу и я. Дверь в комнату с поддельным крестом я заботливо закрыл замком, не повернув, однако, в нем ключа. Ключ же я вытащил, припрятал под своей одеждой и затем спустил его в хоре в щель между двумя креслами, где он, наверно, лежит еще и теперь. Я сделал это без всякого определенного намерения, по внушению какого-то бога или богини.

Когда я уселся внизу в комнате настоятельницы вместе с моей игуменьей и монастырским душком, я почувствовал такую тоску по невинной игре музыки и такое отвращение к извортливым уловкам застигнутой врасплох лгуни, что решил сразу покончить. Игуменья должна была мне сознаться: как ее посвятили в многовековую мошенническую проделку, и я положил конец делу двумя-тремя преторскими эдиктами. Она созналась.—Ее предшественница перед смертью заперлась вместе с нею и своим духовником, и оба они доверили ей, как залог богатства для монастыря, передаваемое по наследству от игуменьи к игуменье поддельное чудо. Духовный отец, — болтливо рассказывала она, — не находил конца похвалам почтенной старине обмана, его глубокому смыслу и поучающей силе. Это чудо лучше и убедительнее, чем любая проповедь, воочию показывает народу первоначальную тягость и последующую легкость богоблагословенной жизни. Подобная символика так вскружила голову бедной бабенке, что она, не переводя духа, смело уверяла, будто она не совершила ничего дурного, но честна с младенческих лет своих.

— Я прощаю тебе ради матери Церкви, на которую пламя твоего костра бросило бы свет лжи, — обрезал я доводы этой мушкетерской логики и кратко приказал сжечь поддельный крест после того, как еще раз сыграют объявленное чудо — ему по соображениям осторожности воспрепятствовать я не решился — и без промедления выдать Плавта.

С бранью и проклятиями игуменья повиновалась. — Она подчинилась повелениям Констанцкого собора в том виде, как их формулировали мои уста, хотя и без ведома собравшихся отцов, но вполне согласно со смыслом и духом их решений.

Когда Бригитточка, ворча, принесла мне манускрипт, я забрался в довольно удобную комнату расположенной у стены монастыря гостиницы, вытолкнул из дверей невежу и заперся с комическими масками умбрийца. Никакой шум мне не мешал, кроме звонкой детской песни, которую пели на лугу перед моим окном крестьянские девочки и которая делала мне мое уединение еще более радостным.

Правда, через некоторое время возбужденная игуменья стала

шуметь и с отчаянием бить кулаками по запертой тяжелой дубовой двери, требуя ключ от оставшейся открытой комнаты с поддельным крестом. Я с сожалением дал ей краткий и правдивый ответ, что ключа в моих руках нет, и, не обращая больше на нее внимания, наслаждаясь неземным блаженством, оставил несчастную плакать и стонать, словно душу в чистилище. Сам я упивался благоуханиями брачного пира.

Явившийся на свет классик, и не темный мыслитель, не возвышенный поэт, нет — нечто страшно близкое и навеки приковывающее, ширь мира, пульс жизни, базарный хохот Рима и Афин, насмешки и игра слов, страсти, резкости человеческой натуры в смягчающем преувеличении комического кривого зеркала! Глотая одну вещь, я жадными глазами уже обращался к следующей.

Я кончил остроумного «Амфитриона», уже раскрылась передо мной «Аулулария» с ее несравненным скрягой — как я остановился и откинулся назад в своем кресле: у меня стали болеть глаза. Темнело. Снаружи на лугу девочки уже с четверть часа неутомимо повторяли глупую хороводную песенку:

Было у Адама семь сыновей...

Теперь они лукаво начали новую песню и с забавной решительностью запели:

В монастырь я не пойду,
Нет! Монашенкой не буду...

Я высунулся посмотреть на этих маленьких врагов безбрачия и позабавиться их невинностью. Но игра их оказалась совсем не невинной. Они пели, подталкивая друг друга локтями и поглядывая, не без злости и злорадства, вверх на закрытое решеткой окно, за которым, по их предположению, находилась Гертруда. Или же она уже стояла, коленопреклоненная; внутри в ризнице, там, в бледном сиянии вечного света, по обычаю постригаемых, которые проводят ночь перед небесным браком в молитве? Но что мне до этого? Я зажег лампу и начал читать комедию о горшке.

Только когда в моем светильнике вышло масло, и буквы стали расплываться перед усталыми глазами, я бросился на ложе и забылся беспокойным сном. Быстро окружили меня опять комиче-

ские маски. — Здесь громко хвастался солдат, там опьяневший юноша целовал возлюбленную, которая подставляла его поцелуям свою стройную шею. Вдруг — неожиданно — посреди веселой античной толпы появилась босоногая, широкоплечая германка, опоясанная веревкой, как рабыня, влекомая на торг. Казалось, она вперяла в меня из под мрачных бровей полный упрека и угрозы взгляд.

Я испугался и проснулся. Брезжило утро. Половина маленького окна стояла открытою в летнем зное, и я слышал со стороны близкого хора монастырской церкви монотонный призыв, жутко перешедший сначала в подавленные стоны, а потом в сильный крик.

— Мой ученый и достославный друг, — перебил себя рассказчик, обратившись к сидевшему напротив него и, несмотря на летний зной, по образцу древних задрапировавшемуся в складки своей мантии собеседнику, — великий мой философ, скажи мне, заклинаю тебя, что такое совесть?

Есть ли она нечто всеобщее? Никким образом. Все мы знали бессовестных людей и, чтобы не говорить о многих, назову нашего святого отца Иоанна XXIII, которого мы в Констанце низложили. У него не было никакой совести, но зато такая счастливая кровь и такой веселый, я сказал бы, детский душевный строй, что он, посреди своих злодейств, призраки которых не беспокоили его сна, каждое утро просыпался еще радостнее, чем ложился накануне. Когда в замке Готтлибине, где он сидел в заключении, я развернул перед ним список предъявленных ему обвинений и стал робким голосом и, время от времени внезапно краснея, читать ему список его грехов, его «*scelega horrenda, abominanda*», в десять раз более многочисленные, чем его папское число (XXIII), он, скучая, взял перо и пририсовал св. Варваре в своем молитвеннике усы...

Нет, совесть не есть нечто всеобщее, и даже среди нас, владеющих ею, она — Протей — проявляется в меняющихся формах. У вашего покорного слуги, например, она всякий раз пробуждается тогда, когда может воплотиться в образе или звуке. Недавно я был у одного из тех маленьких тиранов, которыми кишит наша

счастливая Италия. Когда в приятный вечерний час я сидел вместе с красивыми женщинами за хийским вином и игрою на лютне, на прохладном балконе, который, отходя от замковой башни, реял над пропастью с прохладным потоком, я слышал под собою вздох. Это был заточенный. Веселья как не бывало; а скоро не стало там и меня. Моей совести было тяжело наслаждаться жизнью, целовать, пить и смеяться рядом с несчастным.

Точно так же и теперь я не мог выносить близко раздававшегося крика отчаяния. Я набросил одежду и в сумерках по галерее проскользнул к хору, говоря себе самому, что в то время, как я читал Плавта, в состоянии Гертруды произошло, должно быть, какое-то изменение. На пороге самого решения, наверно, ее охватило неодолимое убеждение в том, что она погибнет в этой среде, в ничтожестве или — хуже — в гниении монастыря, взаперти с пошлыми монахинями, их презирая и им ненавистная.

В дверях ризницы я остановился, прислушиваясь, и увидел Гертруду, стиравшую руки перед настоящим, тяжелым крестом. Они были окровавлены и, может быть, кровь была и на ее коленях, ибо всю ночь лежала она в молитве; ее голос охрип, и ее речь к Богу, после того как она исчерпала и свое сердце, и свои слова, была настойчива и груба, как последнее напряжение.

— Мария, Мать Божья, сжался надо мною! Дай мне пасть под твоим крестом, он мне не под силу! Я содрагаюсь при мысли о келье! — и она сделала такой жест, точно отрывала от тела змею; и потом, на высоте душевной муки, попирая даже стыд, воскликнула: — Мне нужно солнце и облака, серп и коса, нужен муж и ребенок...

Пред лицом такого горя я все же не мог не улыбнуться над этим человеческим признанием, высказанным пред Непорочной, но улыбка замерла у меня на губах... Гертруда внезапно вскочила и вперила большие глаза бледного лица прямо на стену, на место, замазанное — не знаю, откуда взявшимся — красным пятном.

— Мария, Мать Божья, сжался надо мною! — снова вскричала она. — Моему телу в келье не хватает места, и я стучаюсь головою о потолок. Дай мне пасть под твоим крестом, он мне тяжел! Если ты облегчишь мне его на моем плече, но не сможешь

облегчить мне сердца, тогда—и она уставилась на злосчастное пятно—смотри, чтобы как-нибудь утром не нашли меня с раздробленным черепом!

Меня охватило бесконечное сострадание и не только сострадание, но и щемящий страх.

Гертруда, утомившись, присела на ларь, в котором хранилась какая-нибудь святыня, и стала заплетать свои белокурые волосы, разметавшиеся в борьбе с Божеством. При этом она пела полупечально, полудукаво, пела не своим сильным альтом, а другим, высоким, детским голосом:

В монастырь вступаю я,
Стану бедною монашенкой...

пародируя ту хороводную песню, в которой осмеивали ее крестьянские дети.

Это было безумие, подстерегавшее ее, чтобы проскользнуть с нею в келью. Но Optimus Maximus воспользовался мною, как своим орудием, и приказал мне спасти Гертруду, чего бы это ни стоило.

В свободно-благочестивом порыве я тоже обратился к той девственной богине, которую древние призывали как Афины Палладу, а мы называем Марией.—Кто бы ты ни была,—молился я, подняв руки,—Мудрость ли, как говорят одни, или Милосердие, как утверждают другие,—все равно: Мудрость не выслушивает обетов неопытного ребенка, и Милосердие не сковывает взрослую глупым обещанием малолетней. Улыбаясь, разрешаешь ты не имеющие значения обеты. Я берусь за твое дело, Богиня. Будь ко мне благосклонна!

Так как я дал боявшейся предательства игуменье слово не вступать более в сношения с Гертрудой, я решил по древнему обычаю приблизить к послушнице истину тремя символическими действиями, приблизить настолько, чтобы ее могла понять даже крепкая голова крестьянки.

Я подошел ко кресту, не обращая внимания на Гертруду.

— Если мне хочется потом признать какой-нибудь предмет, я делаю на нем отметку,—педантически произнес я и, вынув мой острый дорожный нож, сделанный мне нашим знаменитым согра-

жданином кузнецом Панталеоне Убриако, сделал на самой середине креста, где пересекаются его брусья, глубокую нарезку.

Далее, пройдя пять размеренных шагов, я засмеялся во все горло и, делая выразительные жесты, начал:—Что за комическое лицо было у моего носильщика в Констанце, когда пришла моя поклажа! Он наметил себе тяжелейший по виду огромный сундучище, засучил рукава до локтей, поплевал, мужичина, на руки и, напрягшись из всех сил, вдруг легко взбросил на плечи ничтожное бремя... *пустого ящика*. Ха-ха-ха!

Наконец, в третьих, я с глупою торжественностью встал между настоящим крестом и поддельным в его плохо запертой коморке и, несколько раз показав пальцем то в ту, то в другую сторону, загадал:—Правда на просторе, ложь на запоре!—раз,—и я ударил в ладони:—Ложь на просторе, правда на запоре!

Я искоса бросил взгляд на сидевшую в полутьме послушницу, чтобы прочесть по выражению ее лица действие трех изречений оракула. Я заметил на этом лице напряжение беспокойной мысли и первые проблески пламенного гнева.

После этого я снова вернулся к себе в комнату, осторожно, так же, как я оставил ее, проскользнув в нее, бросился в одежде на ложе и предался наслаждению спящего с чистой совестью человека, пока меня не разбудил шум подошедшей к монастырю толпы и гудевших у меня над головой праздничных колоколов.

Когда я снова вошел в ризницу, Гертруда, бледная, как смерть, словно ее вели на плаху, только что вернулась туда с исстари, полагаю, установленного, для бесчестной подмены креста, крестного хода к соседней часовне. Облачение Божьей невесты началось. В кругу певших псалмы монахинь послушница опоясалась грубою с тремя узлами веревкой и затем медленно разула свои сильные, но благородные по форме ноги. Ей подали терновый венец. Он, в отличие от поддельного креста, был сплетен из крепких, настоящих терний и топорщился острыми шипами. Гертруда жадно схватила и с жестоким наслаждением так крепко надела его себе на голову, что теплый дождь ее молодой крови брызнул и потом тяжелыми каплями покатился по ее немудрому лбу. Величавый гнев, приговор Господний уничтожающе пылал в голубых глазах

крестьянки, так что монахини начали испытывать перед нею страх. Шесть из них, вероятно, посвященные игуменьей в мошенническую проделку, возложили затем на ее честное плечо поддельный крест с такими ужимками, точно они едва его несут, и с такими глупо-лицемерными рожами, что мне как бы в действительности представилась божественная истина в терновом венке, открыто почитаемая и прославляемая людской ложью, за спиною же осмеиваемая ею.

Все остальное пронеслось, как буря. Гертруда бросила быстрый взгляд на то место, где мой нож оставил глубокую нарезку на подлинном кресте, и нашла скрещение на поддельном кресте неповрежденным. Презрительно дала она кресту, не обнимая его руками, соскользнуть с плеча. Затем она снова схватила его с резким вызывающим смехом и, ликуя, разбила о каменный пол на жалкие обломки. Один прыжок—и она уже стояла перед дверью комнаты, куда теперь запрятали настоящий, тяжелый крест, открыла ее, нашла и подняла его в диком весельи, словно нашла сокровище, без всякой помощи положила его себе на правое плечо, торжествуя обвила его своими храбрыми руками и медленным шагом направилась со своей ношей к хору, на открытом возвышении которого все должны были увидеть ее. Толпа, затаившая дыхание, стеснившаяся плечом к плечу, дворяне, попы, крестьяне, весь народ, заполняли обширный корабль церкви. С воплями, бранью, угрозами и мольбами игуменья вместе со своими монахинями стремительно преградила ей путь.

Но она, подняв кверху сияющие глаза, воскликнула:

— Теперь, Мать Божья, честно води торг!—и сильным голосом, как проносящийся в тесной толпе бревно работник, закричала:

— Эй, дорогу!

Все раздались, и она шествовала по храму, где ее ожидало во главе с викарием епископа местное духовенство. Взгляды всех направились на отягченное плечо и залитое кровью лицо. Но настоящий крест был для Гертруды тяжел, и богиня не облегчила ей ноши. Она шла с часто дышавшей грудью, нагибаясь все ниже, шла все медленнее, точно ее нагие ноги прилипали и приростали к земле. Она слегка споткнулась, оправилась, споткнулась опять,

упала на левое, потом на правое колено и попыталась с крайним напряжением сил подняться опять. Напрасно! Вот левая рука, отделившись от креста, вытянувшись и упершись в пол, на мгновение выдерживает всю тяжесть тела. Вот она подалась в суставе и согнулась. Увенчанная терниями голова тяжело склонилась вперед и громко ударилась о каменные плиты. С шумом повалился на падающую девушку крест, оставленный ее правой рукой лишь теперь, в ошеломляющем падении.

Это была кровавая истина, не шутовской обман. Единый общий вздох вырвался из тысячи грудей.

Испуганные монахини извлекли Гертруду из под креста и поставили ее на ноги. Падая, она потеряла сознание, но чувства скоро вернулись к сильной девушке. Она провела рукой по лбу. Ее взор упал на сломивший ее крест. И по лицу ее распространилась улыбка благодарности за ниспосланную ей помощь Богини. И с небесною веселостью сказала она шаловливые слова:

— Ты не хочешь меня, чистая Дева; ну, так меня хочет другой!

Еще в терновом венце, окровавленных шипов которого она, казалось, не чувствовала, Гертруда поставила ногу на первую из ведущих вниз ступеней. В то же время ее глаза обегали ряды народа, пока не нашли того, кого искали. Стояло глубокое молчание.

— Ганс из Сплюгена,—громко и отчетливо начала Гертруда,—берешь ты меня в жены?

— Ну, конечно! Со всей радостью! Только сходи вниз!—весело ответил из глубины храма твердый и уверенный мужской голос.

Она так и сделала и спокойно, но светясь радостью, спустилась вниз по ступеням, снова простая крестьянка, быстро и охотно позабывшая о том захватывающем зрелище, которое в своем отчаянии явила она толпе, позабывшая потому, что могла теперь отдаться своему скромному человеческому желанию и вернуться в повседневность. Смейся надо мной, Козимо!—я был разочарован. Одно мгновение крестьянка явилась моим возбужденным чувствам воплощением высшего существа, созданием демонической силы, истиной, ликуя разрушающей видимость. Но что есть истина?—спросил Пилат.

Когда, думая об этом, я тоже спускался с хора, меня потянул за рукав мой гонец, который сообщил о том, что всеобщим внезапным, одушевленным кликом в папы избран Оттон Колонна, и рассказал о нескольких примечательных обстоятельствах этого избрания.

Я снова поднял глаза, но Гертруда уже исчезла. А возбужденная толпа, разделившись в суждениях о происшедшем, волновалась и шумела. Там из среды мужчин слышалось:—Карга старая! Мошенница!—Это относилось к игуменье. Здесь кричали женские голоса:—Грешница! Бесстыдница!—Женщины говорили о Гертруде. Но, отгадали ли первые благочестивый обман, считали ли вторые, что чудо разрушено мирским духом Гертруды; все равно—и в том, и в другом случае реликвия потеряла свою силу, а жизненное поприще чуда кончилось.

Под грубою бранью народа храбрая Бригитта начала в ответ снова крепко ругаться, а на смущенных лицах присутствовавших попов изобразилась целая лестница настроений—от потворствующей хитрости до прямодушнейшей глупости.

Я почувствовал себя клириком и положил конец неуместному происшествию. Поднявшись на кафедру, я торжественно возвестил христианскому народу: «Habemus pontificem Dominum Ottonem de Colonna» и затянул громкое «Te Deum», к которому громкогласно присоединились сначала хор монахинь, затем и весь народ. По окончании гимна дворянство и крестьяне поспешили, кто на лошади или муле, кто пешком, в путь в Констанц, где даруемое по прекращении троецарствия «urbi et orbi» благословение должно было обладать тройной силой.

Ваш покорный слуга проскользнул назад в галерею, чтобы потихоньку взять в комнате Плавта. Прокрадываясь назад с манускриптом под мышкой, я столкнулся с игуменьею, которая, как хорошая хозяйка, заботливо тащила в большой корзине на кухню обломки поддельного креста. Я пожелал ей счастливо распутать запутавшийся узел. Но Бригитта считала себя обманутой и яростно закричала:—Убирайтесь вы оба к чорту, итальянские мошенники!—Под ними она, вероятно, подразумевала умбрийца Марка Акция Плавта и тосканца Поджио Враччолини, вашего согра-

жданина. Красивый белокурый мальчик, тоже курчавый, которого заботливо нанял для меня исчезнувший вместе с Гертрудою Ганс из Сплюгена, подвел мула, доставившего меня в Констанц.

«Plaudite, amici!» Я кончил. Когда также кончился Констанцкий собор, продолжавшийся дольше, чем эта историйка, я вместе со все милостивейшим государем моим, его святейшеством Мартином V, вернулся в Италию через горы. В гостинице в Сплюгене, еще с северной стороны опасного перехода, я нашел в хозяевах гостиницы Анселино и Гертруду в полном здравии, ее не в душевной келье, а в пронизываемом ветром скалистом ущелье с ребенком у груди и брачным крестом на плече.

Да будет, светлейший Козимо, эта «facezia inedita» благосклонно принятым даром в придачу к списку Плавта, который в этот час я дарю тебе или, вернее, отечеству, для которого ты «отец», и науке, ибо твои залы с накопленными в них сокровищами открыты всем.

Я хотел передать тебе этот единственный манускрипт по завещанию, чтобы не вызывать для себя, еще живого, десятикратных ответных даров, которыми ты привык по своей, никогда тобой не забываемой щедрости, оплачивать всякий почтительно приносимый тебе дар. Но,—меланхолично вздохнул Поджио,—кто знает, станут ли мои сыновья уважать мою последнюю волю?

Козимо любезно ответил:—Благодарю тебя и за то, и за другое: и за твоего Плавта, и за твою фацицию. Без всяких угрызений совести, ты, тогда еще молодой, ее пережил и разыграл. Теперь, уже в годах, ты рассказал ее нам с мудростью, присущей твоим годам. Это—он поднял благородный кубок с изображением смеющегося сатира—это выпью в честь моего доблестного Поджио и его русокудрой германки!

Гости выпили и посмеялись. Затем беседа от Плавта перешла к тысячам других открытых сокровищ и развернутых пергаментов древности и величию переживаемого присутствующими времени.

Перев. с немецкого

Л. П. Карсавин

ПАЖ ГУСТАВА АДОЛЬФА

(1882 г.)

I

В конторе одного Нюрнбергского патрицианского дома, неподалеку от церкви св. Зебальда, за поместительным письменным столом сидели друг против друга отец с сыном. С напряженным вниманием занимались они подведением итогов крупной торговой операции. Каждый сам для себя, на собственном листе бумаги, подсчитывал цифры одного и того же длинного ряда приходо-расходных статей,—чтобы потом, для большей достоверности, сравнить оба итога. Худошавый юноша, вылитый отец, первый отвел острый носик от своих красиво выведенных цифр. Он кончил работу и поджидал более осторожного в счете отца не без оттенка самодовольства на худом озабоченном лице. Вошел слуга и подал письмо большого размера с тяжелой печатью. Оно было доставлено, по его словам, корнетом из шведских карабинеров. Посланец в настоящее время занят по соседству осмотром зала ратуши, знаменитой своею живописью, и собирается ровно через час снова явиться сюда. Почтенный купец с первого же взгляда распознал уверенный почерк его величества, шведского короля Густава Адольфа, и был несколько смущен великой честью собственноручного королевского поелания. У него невольно явилось опасение, как бы не вздумалось королю, которого он угощал и чествовал в своем ново-отстроенном доме,—прекраснейшем во всем Нюрнберге,—позаимствоваться у своего патристически настроенного гостеприимного хозяина. Но так как купец был несметно богат и умел ценить по достоинству добросовестность шведского казначейства, то все же он, без особой озабоченности, и даже

скорее с легкой хвастливой усмешкой сломал королевскую печать. Однако, едва пробежал он глазами краткие строки письма, отличавшегося царственным немногословием, как лицо его приняло цвет барельефа над его головой, где выпуклые фигуры изображали принесение в жертву Исаака его собственным отцом Авраамом. Купеческий сынок, наблюдавший за отцом, в свою очередь побледнел, при виде того, как вся краска сбежала с сухого отцовского лица; было ясно, что стряслась какая-то большая беда. Но он еще больше опешил, когда старик, отведя свои взоры от бумаги, остановил их с выражением скорбной отцовской нежности на сыне.

— Ради Бога, отец,—запинаясь, спросил юноша,—что случилось?

Старый Лейбельфинг—к этому именитому купеческому роду принадлежали отец и сын—дрожащей рукою передал ему письмо. Юноша прочел:

«Любезный господин Лейбельфинг! Будучи осведомлены о желании сына Вашего поступить к Нам на службу в пажи и отнюдь не забывав сего, настоящим уведомляем, что таковое желание ныне может беспрепятственно осуществиться, поколику Наш предыдущий паж, покойный † Макс Бегейм (почтим при сем случае и память предшественника его, покойного † Утца Фолькамера, и опять таки его предшественника, покойного † Гетца Тухера) сегодня во время штурма, после того, как пушечным ядром ему оторвало обе ноги, тихо почил на Наши руках. Для нас будет в высшей степени удовлетворением принять на личную нашу службу снова одного из уроженцев евангелического имперского города Нюрнберга, пользующегося Нашим особливым расположением. Господин Лейбельфинг может быть совершенно уверен в хорошем содержании и ежедневном христианском вразумлении его сына. Пребываю благосклонный.

Gustavus Adolphus Rex».

— Господи милосердный!—горько жаловался сын, не тая перед отцом своего трусливого сердца.—Мой смертный приговор теперь у меня в кармане, и это вы, отец,—выражаясь со всем подобающим почтением,—виновник моей преждевременной кончины! Ибо

кто, кроме вас, мог внушить королю столь ошибочное мнение о моих желаниях и помышлениях? Помилуй Бог.—И он устремил свой взор вверх на нож гипсового патриарха, простертый над его головой.

— Дитя, ты разрываешь мне сердце!—ответил старик, роняя слезы.—Будь проклят лишний стакан токайского, выпитый мною.

— Отец!—прервал его сын, поникшая голова которого, несмотря на беду, сохранила свою ясность,—отец, расскажите, как случилось это несчастье?

— Август,—начал каяться старик с сокрушением,—ты помнишь ведь тот большой пир, заданный мною в честь короля при первом его въезде? Этот пир вскочил мне еще в малую толику!

— В триста девяносто девять гульденов одиннадцать крейцеров, отец, а мне этого угощения и помянуть не пришлось!—замечил юноша плаксиво.—Ведь я сидел в своей комнате с холодной примочкой над глазом.—Он указал на свой правый глаз.—Это было дело рук Густель, сорви-головы; обезумев и ошалев от радости, что ей представится случай увидеть короля, она запустила мне воланом в глаз, когда раздался трубный сигнал и ей почудилось, что швед уже въезжает в город. Но продолжайте, отец.

— Когда кушанья были убраны и поданы фрукты и кубки, то наверху по залу и внизу по площади в толпе теснившегося голова к голове народа пронеслась буря ликования. Всем хотелось видеть короля. Зазвенели бокалы, раздались при открытых окнах здравицы, встреченные внизу и наверху радостными криками. И вдруг, посреди всего этого шума раздался ясный, звонкий голос: «Да здравствует Густав, король Германии!» Тут наступила мертвая тишина. Дело принимало не шуточный оборот. Король наострил уши и поглаживал бородку.—Таких вещей я не должен слышать!—сказал он.—Я подымаю бокал в честь евангелического имперского города Нюрнберга!—Ну, тут уже ликованию не было конца. На площади раздалась пальба, все пошло вверх дном. Несколько времени спустя его величество, как бы ненароком, отводит меня в угол.—Кто это провозгласил здравицу в честь короля Германии, Лейбельфинг?—спрашивает он меня, понизив голос. И тут-то меня, старого, охмелевшего осла одолело хвастовство...

Лейбельфинг ударил себя по лбу, словно этот лоб был повинен в том, что не присоветовал ему ничего лучше.

— И я ответил: «Ваше величество, это сделал мой сын Август. Он днем и ночью только и мечтает о том, как бы стать Вашим пажем!» Несмотря на хмель, я знал, что должность королевского лейб-пажа замещена Гетцем Тухером и что бургомистр Фолькамер, равно как и судья Бегейм предложили уже своих мальчиков в пажи. Да и сказал-то я это лишь для того, чтобы не ударить в грязь лицом перед соседями—старым Тухером и хвастуном Бегеймом. Кто мог думать, что король так скоро израсходует в Баварии весь свой нюрнбергский товар?

— А что, если бы король тут же велел привести меня, с моим синяком над глазом?

— И это было предусмотрено, Август! В прихожей шумел проливной жулик Шарнасс. Уж три раза он докладывал о себе, и от него нельзя было никак отвязаться. Король позволил ему войти и так принялся журить посланника перед всеми нами, патрициями, что у каждого немца сердце должно было радоваться! Ни одно из этих обстоятельств не осталось невзвешенным мною.

— Так много и все же так мало мудрости, отец,—вздыхнул сын.

Затем они принялись втихомолку совещаться в поисках противоядия, как они это называли; они понизили теперь свои голоса до шопота, тогда как раньше, в своем волнении, совсем забыли их умерить, упустив из виду, что в соседней комнате занимались ученики и служащие. Но они не находили никакого исхода. Движения их отражали все большую робость и стеснение, когда снаружи, в проходе, раздался звучный альт, напевавший любимую песнь Густава Адольфа:

Смелее, маленький отряд!
Пусть враги твои грозят,
Что всех сживут со света!

Вслед затем в комнату вошла стройная, как ель, девушка, с веселыми глазами, коротко подстриженными волосами и мальчишеской фигурой, с замашками, несколько напоминавшими кавалериста.

— Все уши хочешь нам прокричать?—накинулись на нее оба Лейбельфинга.

Она обвела взглядом унылую парочку и ответила:

— Я пришла звать вас к столу. Но что случилось, дядюшка и кузен? У вас обоих кончики носов совсем побелели.

Письмо, лежавшее на столе между обоими растерявшимися людьми, объяснило ей их испуг. Увидав размашистый почерк королевской подписи, девушка без околичностей схватила письмо и страстными глазами пробежала его.

— К столу, господа!—сказала она и направилась первая в столовую. Однако, добросердечной девушке и самой стало не по себе при виде того, как каждый кусок становился Лейбельфингам поперек горла. Она велела убрать со стола, отодвинула стул, скрестила руки, закинула нога на ногу под своей синей юбкой, у пояса которой висела сумка и связка ключей, и заставила пересказать себе все злополучное происшествие, внимательно вслушиваясь и вдумываясь в рассказ. Видимо, она была своим человеком в семье и, благодаря своему бойкому нраву, завоевала в ней влиятельное положение.

Лейбельфинг изложил ей все положение.

— Подумать только,—храбро сказала девушка,—кто был тот крикнувший «ура» в честь короля!

— Кто же?—спросили Лейбельфинги.

Она же ответила:

— Никто, как я!

— Пропади ты совсем, девчонка!—вскипел старик.—Наверно ты нарядилась в тот синий шведский солдатский мундир, что висит у тебя в шкафу позади твоих передников, и, вместо того, чтобы чинно сидеть среди женщин, прокралась в столовую к своему кумиру?

— Они отвели бы мне самое последнее место,—возразила девушка в сердцах:—Маленькая Галлерша, большая Гольцшверша, высокомерная Эбнерша, кривая Гейдерша, глупая Крессерша и tutti quanti,—все они, удостоившиеся поднести королю в дар от нашего города два серебряных кубка—земной и небесный шары.

— И как это скромной девушке,—а ведь ты же такова,

Густа,—решишься носить мужскую одежду?—укорал ее жеманный юноша.

— Да ведь это,—возразила девушка серьезно,—одежда моего отца, на которой возле кармана на груди виднеется заштопанная дырка, прорванная пикагой француза! Достаточно мне скосить глаза,—и она сделала это, как будто на ней уже был отцовский мундир.—чтобы увидеть место разреза, а это действует на меня, как проповедь. К тому же,—сказала она в заключение, перескакивая, по своему обыкновению, от серьезных речей к шутке,—женские юбки совсем не мой наряд. Не мудрено, что они мне не к лицу: не даром я до четырнадцати лет вместе с отцом и матерью разъезжала верхом по мужски.

— Милая сестрица,—плакался молодой Лейбельфинг, не без выражения нежности,—со времени смерти твоего отца ты в нашей семье была, как родная дочь,—и вот, что ты теперь наделала. Ты отдаешь двоюродного брата, как овцу, на заклание. Утцу прострелили лоб, Гетцу—шею.—У него мороз пробежал по коже.—Хоть бы ты подала какой-нибудь добрый совет, сестрица!

— Добрый совет?—сказала девушка многозначительно.—Я готова тебе дать его: веди себя, как нюрнбержец, как Лейбельфинг.

— Лейбельфинг!—ядовито повторил старик.—Разве всякий нюрнбержец и каждый Лейбельфинг должен быть непременно забиякою, вроде твоего отца Руперта, царствие ему небесное! Десятилеткой он однажды увез меня на телеге от родителей, опрокинул по дороге, сам уцелел, а мне сломал два ребра. Что за жизненное поприще—в пятнадцать лет сбежать к шведам, в семнадцать перед барабаном, вместо алтаря, обвенчаться с пятнадцатилетней девицей, а к тридцати годам в драке покончить все земные счета!

— Он пал,—вставила девушка,—за честь моей матери...

— Ты ничего не можешь мне посоветовать, Густа?—настаивал на своем молодой Лейбельфинг.—Ты, ведь, знаешь шведскую военную службу и какие природные недостатки освобождают от нее? Под каким законным предлогом мог бы я от нее отделаться перед королем?

Девушка разразилась безудержным хохотом.

— Мы тебя запрячем среди девиц, как молодого Ахилла, изображенного там на печке, и когда хитроумный Одиссей станет раскладывать перед ними военные доспехи, то ты не накинешься на меч.

— Я не пойду,—ответил тот, разозленный этой мифологической ученостью.—Я не то лицо, о котором отец говорил с королем.

Но тут он почувствовал, что его хватают за обе худые руки. Старый Лейбельфинг, вцепившийся ему в левую руку, плакался:

— Ты меня, уважаемого человека, хочешь выставить в глазах короля легкомысленным вралем?

Девушка же, сжимавшая правую руку своего двоюродного брата, воскликнула возмущенно:

— Ты хочешь своею трусостью опозорить славное имя моего отца?

— Знаешь что?—вскричал молодой Лейбельфинг, задетый за живое,—поступай-ка ты сама пажем к королю! При твоём мальчишеском виде и поведении он так же мало признает в тебе девушку, как Одиссей на печи, про которого ты плетешь свои басни, признал бы во мне мужчину. Отчаливай к своему кумиру и поклоняйся ему! В конце концов, кто знает,—продолжал он,—не носилась ли ты уже давно с этой мыслью? Ведь бредишь же ты наяву и во сне шведским королем, с которым ребенком разъезжала по свету. Когда третьего дня по дороге в свою комнату я проходил мимо твоей спальни, мне уже издали стало слышно, как ты разговариваешь во сне. Право, мне незачем было прикладывать ухо к замочной скважине: «Король! Стража, сюда! На караул!»

Он пронзительным голосом передразнил команду.

Девушка отвернулась. Яркая краска залила ей щеки и лоб. Но, подняв затем снова свои теплые светло-карие глаза, она сказала:

— Берегись! как бы дело не кончилось по твоему слову,—хотя бы уже для того, чтобы не одни только трусы носили имя Лейбельфинг!

Слово было произнесено, и детская греза стала приобретать облик дерзкого, но не невозможного приключения. Сказывалась

отцовская кровь; удали и отваги хоть отбавляй, если бы только не девичья стыдливость и пристойность,—двоюродный брат дал на этот счет правдивое показание,—да не благоговение перед королем. Однако, водоворот захватил девушку и увлек ее за собою.

Шведский корнет, который привез послание короля и должен был сопровождать пажа в лагерь, велел доложить о своем приходе. Вместо темной стенной живописи мастера Альбрехта, он отдал свой досуг веселому погребку и зеленому кубку с золотистой влагой, не пропустив, однако, мимо ушей боя часов. Старый Лейбельфинг в смертельном страхе за сына и за свою фирму, сделал движение, желая как бы припасть к коленям племянницы, подобно тому, как седой Приам припадал к коленям Ахилла, моля о теле своего сына, а молодой Лейбельфинг стал дрожать всем телом.

Девушка с судорожным смешком высвободилась и ускользнула от них через боковую дверь за какое-нибудь мгновение до того, как в комнату вошел, позвякивая шпорами, корнет,—юноша с глазами, сверкающими задором и жизненным огнем,—даром, что король держал его в строгости.

Тем временем Августа Лейбельфинг впопыхах, словно хмельная, хлопотала в своей комнате; она достала ранец, живо натянула на себя мундир отпа, сидевший на ее стройной и плотной фигуре, как по ней сшитый, и затем бросилась на колени для короткой молитвы с мольбою о прощении и о помощи. Когда она снова спустилась в зал, корнет крикнул ей навстречу:

— Живо, товарищ, время не терпит, кони роют землю, король ждет нас. Прощайтесь с отцом и с вашим двоюродным братом!

При этом он единым духом опрокинул в себя содержимое поднесенного ему стакана.

Мнимый юноша, переодетый в шведский мундир, склонился к иссохшей руке старика, с чувством поцеловал ее дважды и принял исполненное благодарности благословение; затем, внезапно перейдя к безудержной веселости, паж схватил молодого Лейбельфинга за руку и, тряся ее, промолвил:

— Прощайте, барышня,—прощайте, кузина!

Корнет покатывался со смеху.

— Чорт побери, вот так штуки выкидывает товарищ! С вашего разрешения, мне тотчас бросилось в глаза: господин кузен — вылитая старая баба, каждая черта, каждое движение, как они у нас там поют в Финляндии: «...старая баба верхом на ухвате». Чорт меня побери!

Быстрым движением он сорвал с головы у прислуживавшей горничной чепчик и напялил его на темя молодого Лейбельфинга, поросшее жидкими льняными прядями волос. Востренький нос и срезанный подбородок довершали старушечный профиль. Затем слегка подвыпивший корнет приятельски подхватил было пажу под руку, но тот отступил от него на шаг и, держа руку на эфесе шпаги, сказал:

— Товарищ, я друг сдержанности и враг панибратства!

— Ишь ты! — произнес тот, однако, посторонился и вежливым движением руки дал пройти пажу вперед. Оба сорванца с шумом спустились по лестнице.

Долго еще продолжали совещаться Лейбельфинги. Было ясно, что юноша, как-бы утративший собственную личность, оставаться дольше в Нюрнберге не может. Наконец, отец и сын столковались: решено было, что сын откроет отделение их торгового дома в курфюршестве Саксонском, а именно в городе Лейпциге, в то время начинавшем процветать, и не под прежним патрицианским именем, а под плебейским Лаубфингер, — и это лишь на короткий срок, пока нынешний Август фон-Лейбельфинг не найдет себе смерти на поле брани, — что не заставит себя ждать, раз он будет состоять при короле.

Когда, после продолжительного совещания, подмененный юноша поднялся с места и увидел свое изображение в зеркале, то над его расстроенным лицом все еще красовался чепчик, напаянный на него шведским озорником.

II

— Послушай, паж Лейбельфинг, мне надо еще с тобой столковаться. Если бы в неотложных случаях тебе пришлось запивать королю, моему господину, распоровшееся платье или заменить

оборвавшуюся пуговицу новой, твое пажеское достоинство от того ничуть не пострадает. Разве в Нюрнберге тебе никогда не случалось заглядывать через плечо своей матушки или сестрицы в их рабочие корзинки? Ведь дело это нехитрое; ему может научить тебя любой шведский солдат. Ты хмуришь лоб, бука? Будь умницей и пайнькой. Видишь, вот мой собственный прибор, я дарю его тебе!

И шведская королева, бранденбургская принцесса, вручила пажу Лейбельфингу прибор английской работы с нитками, наперстком, иголками и ножницами.

Побуждаемая ревнивой нежностью, королева всюду следовала за королем; на этот раз она неожиданно на короткий срок приехала навестить его в злосчастный лагерь под Нюрнбергом, где король жил в полуразрушенном во время войны замке. Несмотря на сопротивление пажа, она открыла футляр, находившийся в его руках, вынула оттуда серебряный наперсток и надела его Лейбельфингу на палец со следующими ласковыми словами:

— Я возлагаю на твою ответственность наблюдение за тем, чтобы у короля, моего супруга, всегда все было в чистоте и исправности.

— Чорта ли мне в этих швах и пуговицах, ваше величество! — возразил Лейбельфинг с краской неудовольствия на лице, но, вместе с тем, с таким уморительным выражением и таким звучным голосом, что королева несколько не почувствовала себя оскорбленной, а снисходительным смехом уцепила пажа за щеку.

По мнению пажа, смех этот звучал пусто и глупо; добродушная женщина и не подозревала, что раздражительный паж исполнен к ней, государыне, недоброжелательного чувства.

Король, слышавший с порога комнаты эту беседу, разразился искренним смехом при виде своего пажа с длинной шпагой на левом боку и наперстком на правой руке...

— Однако, Густ, — сказал он, — ты поминаешь чорта, словно папист или язычник. Мне еще придется позаняться твоим воспитанием.

Густав-Адольф в самом деле был здесь прямодушен и прост.

Да и почему бы королю, умевшему относиться, без ущерба для воинской дисциплины, человечно и доброжелательно к каждому, даже самому ничтожному из своих людей,—отказать в том же пажу, юноше: благонаправленному и приятной наружности, раз тот, обязанный находиться при нем безотлучно, постоянно бывал у него на глазах, отличался неиспорченностью и краснел, как девушка, до корней волос даже по самому мелкому поводу. Король не забыл также молодому нюрнбержцу его возгласа в честь короля Германии на том банкете, столь чреватым последствиями,—возгласа, выразившего в краткой, пророческой формуле возможность победоносного исхода для его героического замысла.

Сказку нежную и причудливую, блаженную и страшную довелось пережить пажу вблизи своего героя, а тот ничего и не подозревал об этом тайном счастье. Пьянящие минуты, начинались вслед за только что отошедшими в прошлое восемнадцатью незрелыми годами и погашали их, как солнце гасит тени. Стремительный поток сладостных и горделивых переживаний, мучительных опасений, затаенного блаженства, сердечного трепета, ускоренного дыхания,—все, чем только может упиваться юная грудь и легкомысленное сердце перед угрозой разящей пули или накануне постыдного разоблачения.

Когда корнет представил молодого нюрнбержца, Августа Лейбельфинга, королю, последний, погруженный в заботы, мог не более, как на одну лишь минуту оторваться от дел, чтобы бросить взгляд на нового пажа. Таким образом, тот оказался избавленным от необходимости дерзко солгать перед королем. Густав Адольф как раз в это время собирался сесть на коня, чтобы озаботиться подготовкой ко второму безуспешному штурму неприступных позиций герцога Фридрихского. Он велел пажу следовать за собой; тот, не мешкая, вскочил на подведенного ему рыжего коня: с детства он чувствовал себя в седле, как дома, и еще от своего отца, некогда бесстрашнейшего наездника во всем шведском войске, унаследовал стройный и рыцарский склад фигуры. Когда король, обернувшись через некоторое время, заметил на лице пажа смертельную бледность, то причиной тому были отнюдь не горячие прыжки рыжего и не отсутствие привычки к седлу: Лейбельфинг заметил в неко-

тором отдалении от себя гуляющую девку, которую изловили и гнали из шведского лагеря ударами плетей по обнаженной спине; вид ее наготы вызывал в паже отвращение.

День за днем Лейбельфинг, не зная страха, скакал бок-о-бок с королем, ибо тот без усталости с непривычным для него упрямством возобновлял свои неудачные приступы. Каждую минуту могло случиться, что пажу придется принять к себе на руки с коня смертельно раненого короля или самому, сраженному на смерть, испустить дух на руках Густава-Адольфа. Когда, бывало, после неудачи, они возвращались домой,—король с омраченным челом,—то, желая усыпить или скрыть свою озабоченность, Густав-Адольф любил подтрунивать над новичком, потерявшим стремя и вцепившимся в гриву своей лошади; или, напротив, журить его за отчаянную смелость, обзывая его лагерной кличкой «Casse-cou». Вообще, король охотно отечески поучал пажа и при случае читал ему наставления в христианском духе.

У короля была похвальная и здоровая привычка проводить, по окончании дневных дел, последние полчаса перед сном в шалостях и забавах, отложив, усилием закаленной воли, в сторону все заботы, чтобы затем, с первыми лучами рассвета, приняться за них попрежнему. Этой привычки Густав Адольф держался и теперь, и тем более крепко, что безуспешные приступы и человеческие жертвы расстраивали его планы, уязвляли его гордость и тревожили его христианскую совесть. В эти поздние минуты досуга король удобно усаживался в своем кресле, откинувшись на спинку, а рядом с ним на скамеечке помещался паж. Тут у них шла игра в шашки или в шахматы, и иной раз пажу случалось на доске оставаться победителем. Иногда бывало, что король, находясь в добром расположении духа, рассказывал пажу всякие безобидные вещи, приходившие ему на память. Таков, например, был его рассказ про высокаторжественную проповедь, которую ему некогда, во время его свадебного посещения в Берлине, довелось слышать там в придворной церкви. Проповедник сравнивал в ней жизнь человеческую с подмостками: люди—это актеры, ангелы—зрители, а смерть, опускающая занавес, режиссер. Такова же была и невероятная история о том, как его, короля, после

рождения у него ребенка, сначала известили о появлении на свет сына, и он сам некоторое время поддавался обману. Или то были рассказы о празднествах и нарядах,—странным образом, большею частью все случаи, которые должны были забавлять девушку не менее, если не более, чем юношу,—словно обманутый король, не давая себе в том отчета, чувствовал обман, учиняемый над ним пажем, и бессознательно вкушал, сквозь личину благонаправного юноши, от живой прелести внимающей ему женщины. На пажа нападал в таких случаях внезапный страх, он принуждал свой девичий альт звучать более низко и отваживался на тот или иной мужской жест. Однако, какое-нибудь слово, исключаящее возможность двух толкований, или движение близорукоего короля возвращало испуганному пажу прежнюю уверенность в том, что Густав во власти такого же ослепления, как и при рождении его Кристель. Тогда пажем, чувствовавшим себя снова в безопасности, в такой степени овладевало резвое настроение и он позволял себе касаться с дерзким задором чего-либо столь личного, что его постигала кара. Так было, например, когда он, выслушав из уст Густава теплую супружескую похвалу королеве, бросил дерзкий вопрос: «Какова собственно была наружность у графини Евы Браге в молодости?» То была юношеская любовь Густава, позднее супруга Делагарди, за которого она вышла замуж, как за второго по храбрости человека, когда отважнейший из людей того века ускольнул от нее. У Евы были темные волосы, черные глаза и резкие черты лица; но любопытному пажу не удалось этого узнать; взамен ответа, он получил довольно увесистый удар ладонью по болтливым губам, в углах которых Густаву почудился намек на лукавую усмешку.

Однажды король подарил своей Кристине впервые кольцо с печатью. На благородном камне надлежало выгравировать, согласно моде того времени, какое-либо изречение или девиз, как его тогда называли, в отличие от такового же в наследственном гербе; этот девиз имел задачей дать выражение более личным свойствам его обладателя, высказать его заветную мысль, потребности его сердца и притом с выразительной краткостью, в роде, например, честолоубивого «Nondum» юного Карла V. Густав сам бы, конечно,

придумал девиз своему ребенку, но, опять-таки, согласно моде, предстояло выбрать итальянское, французское или латинское изречение. И вот король, склонившись над большим томом, принялся высматривать своими лучистыми, но близорукими глазами, среди тысяч собранных там изречений знаменитых или остроумных людей, девиз, которым ему хотелось наделить свою едва достигшую семи лет, но не по годам развитую Кристель. Густава Адольфа забавляли эти лаконические фразы, в некоторых случаях выражавшие верно, а то и разительно метко, существо их авторов, личностей, по преимуществу исторических, хотя в иных случаях, со свойственными людям самообольщением и хвастливостью, отмечали их прямую противоположность.

Вдруг чей-то тонкий палец, отбрасывая темную тень на ярко-освещенную страницу, указал королю на девиз неизвестного происхождения: это паж заглянул через плечо короля в книгу; а указанный им девиз гласил: «*Courte et bonne*», что значило: если уже выбирать жизнь, то жизнь краткую и полную наслаждения! Король прочел, задумался на минуту, с сомнением покачал головой и поймал пажа через плечо за красивое ушко, усадив затем Лейбельфинга на скамеечку, он собрался прочесть ему маленькую проповедь.

— Густ Лейбельфинг!— начал он наставительно, поудобнее откинув голову назад в подушки, так что полный подбородок с золотистой бородкой выдался вперед, а лукавый блеск полузакрытых глаз остановился на внимательно устремленном вверх лице пажа.— Густ Лейбельфинг, сын мой, я полагаю, что это сомнительное изречение исходит от человека, преданного мирскому, от эпикурейца, как таких называет доктор Лютер. Наша жизнь—в Божьих руках, и поэтому мы не смеем желать ни долгой, ни краткой жизни, а должны принимать ее такой, какой нам ее дарует Господь. Хорошей? Конечно, хорошей, это просто и правильно. Но не преисполненной опьянения и угара, что, без сомнения, подразумевается во французском изречении. Или, как ты его толкуешь, сынок?

Лейбельфинг начал робко и смущенно, но затем, с каждым словом, все радостнее и решительнее:

— Вот как, государь: я хочу, чтобы все лучи моей жизни на протяжении одного часа соединялись в единый огненный сноп; пусть вспыхнет, вместо тусклых сумерек, ослепительно-яркое пламя счастья, чтобы после потухнуть, как сверкнувшая молния!

Она приостановилась. Эти речи и выражение «сверкнувшая молния», повидимому, не понравились королю, несмотря на всю любовь того века к подобным сравнениям. Он скривил тонкие губы в насмешливую улыбку, но паж, предупреждая эти, еще не успевшие слететь с уст, слова порицания, в порыве страстного увлечения, воскликнул:

— Да, так я желал бы: *Courte et bonne!*

Затем, внезапно одумавшись, он прибавил смиренно:

— Государь, возможно, что я неправильно толкую это изречение. Оно многозначно, как и большинство в этой книге, но я знаю одно,—и это чистейшая правда: если бы нуля, задевшая тебя, государь, сегодня...—он осекся,—это значило бы *courte et bonne*, ибо ты вместе и юноша, и муж, и жизнь твоя—хорошая жизнь!

Король закрыл глаза и, усталый от дневных дел, погрузился в дремоту, по началу притворную, дабы не слышать лести пажа или, по крайней мере, не отвечать на нее.

Так играл лев с собачкой, но так играла и собачка со львом. И казалось, будто насмешливый или губительный рок поставил себе целью самым тесным образом связать влюбленного ребенка с обожаемым героем; он показывал ему короля все в новом и новом освещении в минуты глубочайших переживаний; он заставлял пажа делить со своим господином и тягчайшее горе, какое только существует,—горе отца.

Король пользовался услугами Лейбельфинга, которому выказывал неограниченное доверие, давая ему прочитывать письма, прибывающие в определенные дни из Стокгольма от воспитательницы его дочери-принцессы; Лейбельфингу же приходилось и отвечать на эти письма. Дама писала неразборчивым мелким почерком и многословным, обстоятельным слогом, так что Густав обыкновенно сразу передавал ее длинные послания пажу; быстрые глаза и подвижные губы последнего пробегали с неменьшим проворством по строкам письма, чем его молодые ноги по несчетным ступеням

витой лестницы. Однажды Лейбельфинг заметил на уголке почтового конверта большую букву S; ее ставили в те времена для обозначения важных или секретных посланий, дабы получатель мог лично принять и вскрыть их. Черты, характерные для всякого пажа—любопытство и бойкая дерзость взяли верх; Лейбельфинг сломал печать, и на свет Божий выплыла странная история.

Гофмейстерина маленькой принцессы, сообразно выработанному самим королем плану занятий, предусматривавшему раннее изучение языков, сочла своевременным пригласить к Кристине учителя итальянского языка. Выбор, сделанный с осмотрительностью, представлялся удачным. Швед, молодой еще человек, из хорошей семьи, знакомый со светом по своим долгим путешествиям, соединял в себе все достоинства внешние и духовные: благородную стройность, подкупающие черты лица, точно вылепленный лоб, приветливость в обращении, непоколебимую нравственность, одинаково далекую и от угрюмой суровости и от смехотворного педантизма, рыцарское чувство чести и христианское смирение; ко всему этому присоединялось и самое важное: подлинное лютеранство. По его собственному признанию, вера из заученных положений превратилась для него в личное непоколебимое убеждение лишь после того, как ему пришлось побывать в современном Вавилоне и столкнуться лицом к лицу с римскими мерзостями. Холодная и рассудительная гофмейстерина не уставала повторять в каждом из своих писем, что молодой человек ее обворожил, да и маленькая принцесса со своей умной головкой, при таком наставнике, стала делать быстрые успехи. Но вот однажды гофмейстерина поймала понятливую и обладавшую живым воображением Кристель на том, что та, втихомолку забравшись в угол, с молитвою перебирала четки из душистого кедра, поднося их время от времени к своему носу и вдыхая их аромат. «Лютый волк в овечьей шкуре»—писала добрая гофмейстерина, поставившая после этих слов пять восклицательных знаков:—«Я всплеснула руками и окаменела».

Густав Адольф побледнел, потрясенный до глубины души, а его большие голубые глаза вперились в грядущее. Он знал, что такое господа иезуиты.

Иезуит был посажен в тюрьму; согласно драконовским шведским законам, ему грозила смертная казнь, если король не даст перевеса милосердию над правосудием. Густав Адольф велел пажу немедленно написать ответ гофмейстерине: С девочкой нечего тратить много слов, а следует отнестись ко всему, как к ребячеству, иезуита же надлежит переправить, не поднимая шума, во избежание толков, через границу, «ибо,—диктовал король Лейбельфингу,—я не желаю делать из него мученика. Этот ослепленный человек со своей поддельной совестью, не задумываясь, дал бы себя обезглавить, дабы оказаться сопричтенным к сснму мучеников и попасть на небо со своей злой радостью, что ему удалось развратить душу моего ребенка».

Однако, еще в продолжение многих дней король не в силах был отделаться от мысли о том «несчастье и преступлении», как называл он покушение на душу своего ребенка; в присутствии своего любимца, он без устали, далеко за полночь, пока не выгорало масло в лампе, расхаживал взад и вперед, и, ведя разговор больше с самим собой, чем с пажем, высказывался на счет лжи, софистики и притворства благочестивых отцов; а паж в это время, сидя в полутьме, полный ужаса и сокрушения, бил себя в трепетную юную грудь и втихомолку стыдил самого себя: «И ты лгуныя, и ты софистка, притворщица!»

Со времени тех ночных часов паж находился в доводившем его до полного расстройствa ужасном страхе по поводу своего маскарада; самое ничтожное обстоятельство могло привести к раскрытию тайны. Чтобы избежать такого позора, бедняжка десятки раз принимал решение оседлать в вечерние сумерки или на утренней заре коня и ускакать на край света,—и десятки раз какая-нибудь невинная ласка короля, не имевшего понятия о том, что возле него находится женское существо, удерживала его. Легко на душе становилось у него лишь в облаках порохового дыма; тут глаза его загорались, и он радостно скакал навстречу смертоносным пулям, бросая им вызов, чтобы разом покончить со своим жутким сном. И когда потом в вечерние часы, при уютном свете лампы, король, поймав пажа на каком-нибудь промахе или ошибке, брал его за голову и с открытым смехом трепал за вихры, то Лейбель-

финг говорил сам себе, трепеща от радости и страха: «Это в последний раз!»

Так он все оттягивал время и при помощи смерти вкушал высшую прелесть жизни.

Странно:—и король также был на короткой ноге со смертью, Лейбельфинг чувствовал это. Герцог Фридландский взял почин наступления в свои руки и поставил завоевателя в тягостное положение отступающего, почти убегающего. Таким образом, герой-христианин ежедневно, даже ежечасно, почти с вызовом, предавал себя на волю своего Бога; панцырь, который паж по обыкновению предлагал ему надеть, он упорно отвергал, под предлогом плечевой раны, на которую будет давить плотно прилегающий стальной доспех. Ему была доставлена гибкая тонкая кольчуга,—искусное изделие нидерландского кузнечного мастера; благоразумные и осторожные люди носили ее прямо на теле. Королева писала ему при этом, что, по ее сведениям, герцог Фридландский носит такую же кольчугу и что ее государь и супруг не вправе, отправляясь в битву, быть менее защищенным, чем его противник. Густав презрительно отбросил в сторону это тонкое изделие, как знак трусости. Однажды, в ночной тиши, Лейбельфинг, голову которого отделяла от короля одна лишь стена, тесно к ней прижав, услышал, как Густав пламенно молился и неотступно просил своего Бога взять его в расцвете сил, когда пробьет его час, прежде чем он станет бесполезным или ненужным. Сперва у подслушивавшей девушки потекли слезы из глаз, но затем ее пронзила с головы до пят гордая радость, тайное ликование, ощущение победы, торжества от сознания сходства ее малого жребия с этим великим уделом; ей пришла на ум нелепая ребяческая мысль, что один и тот же слог кончает ее имя и начинает имя короля. На этой мысли она и заснула.

Но пажа одолевали дурные сны, ибо во сне совесть его давала о себе знать карающими образами, которые проходили перед его дремотным взором; то ему представлялось, будто король с горящим взором и осуждающим движением прогоняет разоблаченного обманщика; то будто королева выпроваживает его метлой, с грубейшими ругательствами, какие на яву никогда не слетают

с уст образованной женщины, да которых королева, наверное, вовсе и не знала.

Однажды пажу приснилось, что его рыжая кобыла понесла и бешено мчится по голой равнине, гневно освещенной красным заревом позднего заката, к краю пропасти; король скачет за ним в догонку, но на глазах своего спасителя или преследователя паж срывается в пропасть под раскаты адского хохота.

III

Лейбельфинг проснулся с внезапным криком. Брезжило утро; паж напел короля выпавшимся на славу, без просыпа, в самом веселом, благодушном расположении духа. Получилось письмо от королевы; само оно не заключало в себе ничего спешного, но в нем была приписка, в которой королева просила своего супруга принять нужные меры по одному затруднительному делу, близко принимаемому к сердцу отзывчивой женщиной. Герцог Лауэнбургский, человек безправственный, всего несколько месяцев тому назад женившийся из политических соображений на одной из многочисленных кузин королевы, давал повод к общественному неудовольствию: наскучив белокурыми косами и водянистыми голубыми глазами своей жены, он сократил свой медовый месяц и поспешил обратно в шведский лагерь, где держал при себе молоденькую славонку. Как сущий разбойник, он похитил ее при захвате обоза герцога Фридландского. И вот, королева просила своего супруга положить скорый конец этому наглому надругательству над брачными узами. Ибо Лауэнбург избегает взоров одного лишь короля, перед сотоварищами же по сословию похвывается своей красивой добычей и, пользуясь тем, что он имперский государь, не смущается ни грехом, ни скандалом. Густав Адольф воспринял это поручение, как простое исполнение долга, и тут же отдал приказ задержать славонку, — ее звали Коринной, и привести к нему в восьмом часу, когда, по его расчетам, он должен был возвратиться с короткой разведки. Король намеревался обратиться к

девушке со строгим и, вместе с тем, мягким увещанием, — зная Лауэнбурга, он приписывал Коринне меньшую долю вины, — а затем отослать ее в лагерь Валленштейна, к ее отцу. Он уехал, дав поручение пажу письменно успокоить королеву. В конце письма он собирался сделать собственноручную приписку. Восемь часов прошло, а король все еще не возвращался; тем временем привели Коринну в сопровождении нескольких суровых шведских копеечников, сдавших девушку пажу, который сидел над письмом в прихожей, положив рядом с собой на стол шпагу и пистолет; перед воротами маленького дворца и без того стояла стража.

С любопытством паж бросил взор поверх строк своего письма на пленницу, которую он пригласил сесть, и был поражен ее красотой. Ростом она была не выше среднего; на полных плечах и тонкой шее покоилась небольшая, прекрасная по форме головка. Будь у нее более спокойные глаза, более ясный лоб, менее подвижные ноздри и углы губ, это была бы прелестная голова музы, как ни мало было от существа музы в Коринне. Черные, как смоль, косы, и темные, полные угрожающего блеска, глаза бледнили ее лицо, приковывая к себе взоры. Ее пришедшая в беспорядок одежда, пестрая и яркая по краскам, не смягченная южными солнечными лучами, казалась под северным небом кричащей и назойливой. Грудь ее заметно волновалась.

Молчание становилось для девушки невыносимым.

— Где король, паж? — спросила она высоким, крикливым от волнения голосом.

— Уехал. Сейчас вернется, — ответил Лейбельфинг на самых низких нотах своего голоса.

— Пусть только король себе не воображает, что я отступлюсь от герцога, — продолжала страстная девушка с безудержной горячностью. — Я люблю его до смерти. Да и куда мне деваться? К отцу? Он жестоко избил бы меня. Я остаюсь. Король не может приказывать герцогу. Мой герцог — имперский государь.

Очевидно, перепуганная девушка повторяла в этой своей болтовне слова Лауэнбурга: тот, при всей своей преступности, прикрывал свои злодеяния наполовину в насмешку, наполовину серьезно, герцогской мантией.

— Это не поможет ему, барышня, — возразил паж Густава Адольфа. — Будь он двадцать раз имперским государем, король — его военачальник, и Лауэнбург обязан перед ним ответом.

— Герцог — самой что ни на есть благородной крови, — сердито возражала славонка, — а король ведет свой род от простого шведского мужика.

Друг ее Лауэнбург, видно, внушил ей эту сказку, восходящую к крестьянскому платью Густава Вазы. Лейбельфинг, оскорбленный, поднялся, прямехонько направился к Коринне и, подойдя к ней вплотную, строго спросил:

— Что болтаешь?

Девушка тоже испуганно поднялась и с внезапно изменившимся выражением бросилась пажу на шею.

— Дорогой господин, прекрасный господин, помогите мне, вы должны мне помочь. Я люблю Лауэнбурга, я не отступлюсь от него никогда.

С этими восклицаниями и мольбами она принялась целовать, ласкать и прижимать к себе пажа. Вдруг она с выражением неопишуемого изумления отступила на шаг назад, и на ее насмешливо поджатых губах заиграла причудливейшая улыбка.

Паж смертельно побледнел.

— Сестрица, — залепетала Коринна, с хитрыми взглядами, — если бы ты с твоим влиянием...

В то же мгновение паж схватил ее руку своей сильной левой рукой, пригнул на колени и, выхватив пистолет, приставил его дуло к виску маленькой головки.

— Стреляй! — вскричала Коринна, как безумная: — Пропaday мое счастье и горе!

Однако, быстрыми и гибкими движениями своей шейки она увертывалась от дула.

Тогда Лейбельфинг приставил холодное стальное кольцо к середине ее лба и, смертельно бледный, но спокойный, сказал:

— Королю ничего об этом неизвестно, клянусь спасением моей души.

Ответом была недоверчивая улыбка.

— Королю об этом ничего неизвестно, — повторил паж, — и ты

должна мне поклясться вот этим крестом, — он вытащил у нее с груди крест на золотой цепочке. — Откуда он у тебя? От матери, говоришь ты? Ты должна мне поклясться этим крестом, что тебе также ничего неизвестно. Живо, не то я выстрелю!

Но тут паж опустил свое оружие; он услышал топот коней, шум военного салюта и тяжелые шаги поднимающегося по лестнице короля. Он бросил на поднимающуюся с колен Коринну молящий взгляд, в котором можно было прочесть то, чего он никогда не решился бы высказать вслух: «Будь милосердной, я в твоей власти! Не выдавай меня! я люблю короля!»

Густав Адольф вошел. Это был не тот человек, что выехал отсюда два часа назад, — строгий, как судия во Израиле, полный священного негодования, пламенеющий гневом, как библейский герой, долженствующий искоренить вопиющее к небу беззаконие, дабы не погиб весь народ. Он стал свидетелем возмутительного случая, сцены, возбуждающей отвращение: ограбления немецкими дворянами под предводительством немецкого князя толпы немецких крестьян, бежавших от герцога Фридрихского в шведский лагерь. Эти господа пьянствовали и играли в кости и в карты в палатке одного из своих до утреннего рассвета. Авантюрист сомнительнейшего сорта опустошил все их кошельки. Подозреваемого в нечестной игре, — он был из дворян, — после короткой ссоры, отпустили невредимым, как человека своего круга; за то, возвращаясь к своим палаткам, раздраженные и усталые от бессонной ночи бароны врезались в беспорядочную вереницу тяжело нагруженных телег, запрудивших одну из улиц лагеря. Лауэнбург, проезжая мимо своей палатки, распахнул ее и, найдя гнездо опустевшим, возымел сразу подозрение против короля; нагнав сотоварищей, он раззадорил в них хищнические вожделения и подбил их на дело, которое, как ему хорошо было известно, дойдя до слуха Густава Адольфа, ранит короля в самое сердце.

Но последнему суждено было увидеть злое дело собственными глазами. Посреди сумятицы взламывались ящики и сундуки, закалывались или похищались лошади, избивались беззащитные, наносились раны пытавшимся сопротивляться; когда появился король на коне, то к нему, словно к престолу Всевышнего, потянулись

руки с мольбами, понесли молитвы, хулы и проклятия. Король подавил и затаил свой гнев. Первым долгом он приказал озабочиться о судьбе потерпевших беженцев, а затем вызвал к себе к девяти часам вечера всю эту дворянскую компанию. Возвращаясь домой, король остановился у калитки главного профоса и велел ему накинуть красный плащ и следовать за ним в некотором отдалении.

В таком состоянии духа находился король, когда перед ним предстала наложница Лауэнбурга. Он смерил взором девушку; ее дикая красота пришлась ему не по вкусу, а кричащие одежды оскорбляли его ясные взоры.

— Кто твои родители?—начал он, не устаивая ее вопроса о собственном имени или судьбе.

— Офицер из кроатов, мать рано умерла,—ответила девушка, избегая своими темными глазами его светлого взора.

— Я отошлю тебя к отцу,—сказал он.

— Нет,—отвечала девушка,—он меня зарежет.

Чувство сострадания смягчило суровость короля. Он сделал попытку свести дело к проступку, требующему меньшего наказания.

— Ты слонялась по лагерю в мужской одежде, это запрещено,—выставил он обвинение.

— Никогда,—возразила Коринна, искренно возмущенная,—никогда я не совершала такого бесстыдства.

— Однако,—продолжал король,—ты разрушаешь брак и делаешь несчастной молодую, благородную герцогиню.

Бешеная ревность вспыхнула в глазах славонки.

— А если он меня любит больше, любит меня одну, чем же я виновата? И какое мне дело до другой?—с презрительным упорством возразила она.

Король посмотрел на нее изумленным взором, словно спрашивая себя, учили ли ее когда-нибудь в детстве христианской вере.

— Я позабочусь о тебе,—сказал он затем.—Теперь же я тебе приказываю: ты откажешься раз навсегда от Лауэнбурга. Твоя любовь—смертный грех. Согласна ты повиноваться?

Она выдержала взгляд короля, сперва пылающими, как факелы,

глазами, затем твердым неподвижным взором, и отрицательно покачала головой.

Король повернулся к профосу, стоявшему у двери.

— Что он делает со мною?—спросила девушка, вздрагивая.—Это палач? Он казнит меня?

— Он острижет тебе волосы, а затем, с ближайшим транспортом, тебя доставят в Швецию, где ты будешь помещена в исправительный дом, покуда не станешь верующей протестанткой.

Стремительный наплыв причудливых опасений и неведомых страхов перевернул все вверх дном в маленьком мозгу. Бритая головка—возможно ли более постыдное, бесчестящее обнажение? Швеция, ледяная страна, с ее длинными зимними ночами, страна, про которую ей рассказывают, будто там вход в царство духов и привидений? Исправительный дом? Какую жестокую, изысканную пытку означало это неведомое ей слово? Протестантка? Что это, как не еретичка! Значит, вдобавок ко всему, ей предстоит еще лишиться и скромной доли в царствии небесном? Ей, не нарушавшей ни одного поста и не пропускавшей ни одного церковного обряда? Она схватила крест, висевший на оборванной цепочке и страстно поцеловала его.

Тут ее безумные глаза заходили кругом, они остановились на паже, и в них вспыхнуло мстительное пламя. Коринна раскрыла рот, чтобы бросить королю, обвинявшему ее в прелюбодеянии, самому имя прелюбодея. Тот спокойно стоял в стороне, держа близко к глазам письмо пажа и просматривая его. Черты его внимательного лица, на котором запечатлелось смешанное выражение справедливости и доброты, пугали Коринну. В нем было что-то величественное и божественное, и она чувствовала страх перед этим лицом, как перед чем-то чуждым и жутким. Девушка-дикарка, правильно и без страха разгадывавшая выражение мужского лица, охваченного простой и понятной страстью, не в силах была разобраться в этом облагороженном человеческом облике. Она не в состоянии была дольше смотреть на короля. «И то сказать, думалось ей, снежный король, быть может, человек с замерзшей кровью, он не угадывает близости женщины и не чувствует

тайком прокрадшейся к нему любви. Я могла бы погубить молодую жизнь, — но к чему? Да притом она любит его».

Тут выступил на шаг вперед профос и протянул руку по направлению к славонке. Та сочла себя погибшей; с быстротой молнии подбежала она к пажу и прошептала ему на ухо:

— Вели, сестрица, отслужить за меня десять месс, да подороже. Ты задолжала мне толстую свечу! Ну, что ж, одной — счастье, а другой... — она запустила руку в карман, выхватила оттуда кинжал, сорвала с него ножны и искусным ударом вскрыла себе, точно голубке, жилу на шее. Быть может, так научилась и наловчилась она в походной кухне.

Профос разостлал свой красный плащ, положил девушку по его длине, завернул и вынес ее через боковую дверь на руках, словно спящего ребенка.

Но вот в соседней комнате послышался шум неуместно громких речей. Ровно в девять часов Лейбельфинг распахнул двери, и король появился среди собравшихся немецких государей и баронов. Они стояли тесным кругом, в узком зале, и их было около пятидесяти или шестидесяти человек. Эти господа держали себя не слишком почтительно, некоторые даже небрежно, как будто стыд был так же мало знаком им, как и страх: лица хитрые рядом с отважными, честлюбивые рядом с ограниченными, благочестивые рядом с дерзкими. — Люди, большей частью умеющие за себя постоять, с которыми нельзя было не считаться. По левую руку от короля скромно стоял полковник Эрлах; ему тут, собственно, нечего было делать. Этот воин вступил под знамена Густава-Адольфа, как богобоязненнейшего из героев своего века; часто он признавался королю, что его гнетут грехи, свидетелем которых ему приходится быть в империи: неблагодарность, притворство, козни, интриги, коварство, тайная игра с предварительным распределением ролей, заматывание следов, подкуп, распродажа имперских земель, измена — все вещи, совершенно неизвестные и невозможные в его швейцарских горах. Он пришел сюда, быть может, для того, чтобы поделиться со своим закадычным другом, французским посланником, плененным простотой его нравов, новостями, до которых так падки, по своей природе, французы или,

быть может, просто лишь для того, чтобы присутствовать, для назидания своей души, при торжестве добродетели над пороком. Он с полным душевным спокойствием прищурил глаза и вертел большими пальцами сложенных кистей рук. Насупротив этой олицетворенной добродетели стояло воплощение дерзкого греха — Лауэнбург, в роскошной одежде, в драгоценнейшем кружевном воротнике; он демонически улыбался и, вращая глазами, беспокойно переступал с ноги на ногу. По дороге ему повстречался слуга профоса, которому тот передал свою ношу. Под складками плаща герцог различил очертания человеческой фигуры, подошел и отбросил покрывало.

Густав обвел собравшихся полным осуждения взором, и тут разразилась гроза. Странно: король, повидимому, раздраженный несоответствием этих высокомерных фигур и великолепных доспехов, с одной стороны, и низостью бьющихся под ними сердец, с другой, умышленно, с целью унижить это высокомерие и заклеить преступление, выбирал самые грубые, мужицкие обороты речи, обычно ему несвойственные.

— Разбойники все вы и воры, от первого и до последнего! Стыдитесь! Вы обкрадываете ваших земляков и единоверцев! Тьфу! мне тошно от вас! У меня сердце обливается желчью! Я истощил свою казну в борьбе за вашу свободу. Сорок тонн золота, — и не взял от вас столько, сколько нужно, чтобы сшить себе рейтузы! Да, я бы скорее готов был нагишем проехать, чем одеть себя на немецкие деньги! Вам отдавал я все, что попадало мне в руки, себе — и свиного хлеба я не оставил.

Таковыми грубыми и резкими словами поносил король всю эту знать.

Затем, переменив тон, он стал хвалить храбрость этих господ, безупречность их поведения на поле битвы и несколько раз повторял:

— Вы храбры, да, вы храбры! На ваше умение биться пожаловаться нельзя.

Но вслед затем последовала вторая, еще более резкая вспышка гнева.

— Если вы хотите бунтовать против меня, — бросил он им вы-

зов,—то я, во главе моих финнов и шведов, так с вами схвачусь, что только ключья полетят.

Он закончил христианским увещанием и просьбой хорошенько пораздумать над полученным уроком.

Полковник Эрлах смахнул рукою слезу. Присутствующие сделали вид, что все это их не слишком задевает, однако, стали держаться заметно скромнее. Некоторые казались взволнованными, даже растроганными. Немецкий нрав переносит грубую честную брань лучше, чем вялую проповедь или тонкую, язвящую насмешку.

До сих пор все шло, как подобает, и было в порядке вещей. Но тут Лауэнбург, повернувшись наполовину к королю, наполовину к своим сотоварищам, позволил себе с наглой дерзостью обронить бессовестные слова:

— Что за охота его величеству гневаться из-за плевого дела? Чем провинились мы, господа? Тем, что пооблегчили наших подданных!

Густав побледнел. Он кивнул профосу, стоявшему за дверьми.

— Положи этому господину свою руку на плечо, — приказал он ему.

Профос подошел, но не решался исполнить приказание, ибо герцог выхватил шпагу из ножен; среди собравшихся послышался угрожающий ропот.

Густав обезоружил Лауэнбурга и переломил его шпагу, сильно пригнув ее клинок к своей ноге. Затем, взяв широкую, волосатую руку профоса, он сам силою положил ее на плечо Лауэнбурга, стоявшего словно в параличе, и, продержав ее там некоторое время, произнес:

— Ты имперский государь, негодяй, и я не смею с тобой расправиться, но рука палача да будет над тобой!

Затем он повернулся и вышел, а профос размеренными шагами последовал за ним.

Паж Лейбелфивга, который был оттеснен плотно стоявшими баронами в оконную нишу, прикрытую тяжелой камчатной занавесью с гигантскими кистями, все это происшествие сначала увеселяло, вызывая неудержимый смех. После кровавой кончины Ко-

ринны, потрясшей и облегчившей его душу одновременно, все эти знатные господа, которых так отделил его герой, представлялись пажу действующими лицами комедии. Так иной раз мальчик слушает с удовольствием, подавляя в себе смех, как отец, под защитой которого он находится и перед силой и влиянием которого преклоняется, распекает в его присутствии забывшего свои обязанности слугу. Но при первом слове, произнесенном Лауэнбургом, паж содрогнулся от жуткого сходства голоса этого человека со своим собственным: та же звучность, та же ясность и металличность. И этот страх перешел в ужас, когда после ухода короля Лауэнбург захохотал искусственным смехом и разразился резкими словами:

— Он ругался, как конюх, этот шведский мужик! Чорт побери, ну и разозлили мы его сегодня! *Pereat Gustavus!* Да здравствуют немецкие вольности! Ну, что, сыграем сегодня партию у меня в палатке, братец? Я велю раскупорить боченок вюрцбургского.

И он правой рукой взял под руку одного из князей, ближе других от него стоявших. Но тот вежливо высвободил руку и ответил со сдержанным поклоном:

— Сожалею, ваша милость, я уже приглашен.

Обратившись к другому соседу, рауграфу, Лауэнбург в еще более веселых и настойчивых выражениях стал приглашать его к себе:

— Ты мне не смеешь отказать, товарищ. Ты передо мной еще в долгу!

Рауграф, человек, не любивший вдаваться в разговоры, повернулся к нему, без дальнейших слов, спиной. Сколько герцог ни возобновлял своих попыток, с каждым разом он получал все более короткий и резкий отпор. Перед его шагами и движениями отступали, и помещение пустело.

В конце концов, он остался один, посредине покинутого всеми зала. Ему стало ясно, что отныне товарищи будут тщательно сторониться его. Лицо герцога исказилось. Заклейменный, в бешенстве сжал он кулак и, подняв его, погрозил им судьбе или королю. Паж не мог разобрать, что пробормотал он при этом про себя, но выражение его породистого лица было настолько дьявольским, что подслушивавший паж чуть не упал в обморок.

IV

Под вечер того же дня, столь богатого событиями, королю доложили о прибытии Фридландова парламентаря, снабженного пропуском по всей форме. Дело могло касаться либо погребения павших при последней схватке, либо соглашения по какому-нибудь другому вопросу, как то водится между двумя стоящими друг против друга войсками.

Паж провел офицера в приемную, как раз в то время пустовавшую, и попросил его повременить здесь, пока о нем не доложат королю.

Но Валленштейнов посланец, худощавый человек с желтым, замкнутым лицом, остановил пажа, сказав, что ему хотелось бы отдохнуть с минуту после быстрой верховой езды. Опустившись небрежно на стул, он завязал с пажем, продолжавшим стоять перед ним, безразличный разговор.

— Ваш голос кажется мне знакомым, — мимоходом заметил он, — прошу вас сообщить мне ваше имя.

Лейбельфинг, уверенный, что ему никогда прежде не приходилось видеть этого холодного и повелительного лица, непринужденно ответил:

— Я паж короля, Лейбельфинг из Нюрнберга, к услугам вашей милости.

— Город, славящийся своим искусством, — равнодушно заметил офицер. — Доставьте мне удовольствие, молодой человек, — примерьте вот эту перчатку, она с левой руки. В юности иезуиты, мои воспитатели, привили мне, как знак смирения и услужливости, привычку, плохо вяжущуюся теперь с моим капитанским чином, — поднимать все оброненные и валяющиеся на дороге предметы. Это так уж у меня и осталось.

Он вытащил из кармана кожаную перчатку для верховой езды, какие в то время были в ходу. Но только перчатка эта отличалась исключительным изяществом и необычайно малыми размерами, так что девять десятых шведских или валленштейновских солдат разорвали бы ее по всем швам при первой попытке натянуть ее на пальцы.

— Я подвyal ее при входе на первой ступени наружной лестницы.

Лейбельфинг, несколько задетый обращением запросто и повелительным тоном капитана, взял, все же, перчатку без всякого недоверия, с вежливой готовностью, и натянул ее на тонкие пальцы. Она пришлась, как вылитая.

Капитан двусмысленно улыбнулся.

— Она ваша, — сказал он.

— Нет, капитан, — ответил несколько озадаченный паж. — Я ношу перчаток из такой тонкой кожи.

— Ну, так возвратите мне ее! — И капитан снова взял перчатку.

Затем он медленно поднялся со стула и поклонился, ибо в это время вошел король.

Последний сделал несколько шагов с выражением все возраставшего изумления, и его выпуклые сияющие глаза широко раскрылись. Затем он неуверенно обратился к гостю.

— Вы здесь, господин герцог?

Король никогда не видал в лицо герцога Фридландского, но ему часто приходилось рассматривать его, повсюду распространенные, изображения, а голова Валленштейна была настолько своеобразна, что ее нельзя было не признать.

Валленштейн вторичным поклоном подтвердил слова короля.

Тот в ответ произнес серьезно и вежливо:

— Приветствую ваше высочество, я к вашим услугам. Что вам от меня угодно, герцог?

Он знаком велел пажу удалиться.

Лейбельфинг скрылся в свою прилегающую комнату; бедно обставленная, она узкой полоской вдвигалась между приемной и спальней короля, — наиболее спокойным помещением во дворце. Не самое присутствие грозного полководца, а то жуткое, что крылось в этом позднем посещении, внушало пажу страх. Нелгое чувство подсказывало ему догадку о связи этого посещения с его собственной судьбой.

Побуждаемый скорее страхом, чем любопытством, он тихонько открыл глубокий стеной шкаф, откуда, говоря правду, ему уже

довелось однажды, — только однажды! — наблюдать в скважину за королем, — чтобы всласть и без помехи на него наглядеться.

Необычайность содержания подслушанного разговора была причиной того, что попеременно то ухо, то глаз пажа не в силах были оторваться от щели.

Король и герцог, сидевшие друг против друга, некоторое время молчали, присматриваясь, но не останавливая друг на друге взглядов. Оба знали, что в настоящее время, когда уже началась определяющая судьбы Германии шахматная партия с ее многозначительными ходами и скрытыми планами, когда игра уже завязалась по всей доске, — теперь, накануне решительной битвы, могущей создать новое положение вещей, никакие переговоры неуместны, и никакое соглашение невозможно. Герцог Фридландский дал этому чувству выражение в своих словах.

— Ваше величество, — сказал он, — я пришел по личному делу.

Густав Адольф холодно и любезно улыбнулся.

Герцог продолжал:

— Я имею обыкновение читать в постели во время бессонницы; вчера или сегодня утром мне в одних французских меуарах встретилась занимательная история. Это — истинное происшествие с дословными показаниями адмирала, — я разумею адмирала Колиньи, заслугам которого, как полководца, я хорошо знаю цену. С разрешения вашего величества, я сейчас изложу эту историю. Однажды к адмиралу явился некий партизан по имени Польтро — или что-то в таком роде. Он упал, словно безумный, на стул и принялся говорить сам с собой, подвергая страстным нападкам Франциска Гиза, политического и военного противника адмирала, при чем он высказывал намерение сжить его со света. То был, как сказано, бред человека невменяемого, и от адмирала зависело придавать или не придавать ему значение. Я рекомендовал бы эту сцену вниманию драматурга, — она может произвести впечатление. Адмирал промолчал, сочтя болтовню партизана за пустое хвастовство, и Франциск Гиз пал, сраженный пулей.

— Если Колиньи так поступил, — прервал Валленштейна король, — то это было не по человечески и не по христиански.

— И не по рыцарски, — с холодной насмешкой заметил герцог.

— К делу, ваше высочество! — попросил король.

— Ваше величество, нечто подобное произошло сегодня со мной; только человек, предлагавший себя в убийцы, разыграл еще более искусную сцену. Мне доложили о приходе одного из ваших людей. Будучи занят, я велел провести его в соседнюю комнату. Когда я вошел туда, то застал этого человека дремавшим: время было полуденное и душное; при этом спящий во сне громко говорил сам с собою. Произнесено им было всего несколько отрывочных слов, но смысл и связь их угадывались без труда. Если я верно понял, то ваше величество смертельно обидели его чем-то, и он решился или даже вынужден погубить шведского короля какой бы то ни было ценой или, по меньшей мере, за хорошую цену. Ему тем легче это сделать, что он находится в непосредственной близости к королю и ежедневно с ним общается. Я разбудил спящего и, не тратя лишних слов, только спросил, чего ему нужно. Дело сводилось к справке об одном прирейнском жителе, пропавшем без вести много лет тому назад на императорской службе, жив ли он еще или нет. Вопрос шел о наследстве. Я дал справку и отпустил хитреца. Имени его я не спрашивал, — он все равно назвал бы какое-нибудь вымышленное. Задерживать же его на основании отрывочных слов, произнесенных во сне, было бы неудобно и означало бы вопиющую несправедливость.

— Конечно, — согласился король.

— Государь, — сказал герцог, упирая на каждый слог, — ты предупрежден!

Густав задумался.

— Я не хочу тратить время на то, чтобы отравлять себе душу в поисках правды по таким сомнительным и неясным следам. Моя жизнь — в руках Господа. Имеются у вашего высочества еще какие-либо свидетели или улики?

Герцог вынул перчатку.

— Мои уши и вот эта перчатка. Я забыл сказать вашему величеству, что тот спящий был строен, лицо же его было лишено всякого выражения и не говорило ничего, — очевидно, на нем была

плотно прилегающая маска, какие с большим искусством выделываются в Венеции. Голос его—баритон или низкий альт,—отличался приятной звучностью,—он не лишен сходства с голосом вашего пажа; да и перчатка, потерянная им и оставшаяся у меня, приходится ему как раз по руке.

Король искренно засмеялся.

— Я готов заснуть, положив голову на колени моего Лейбельфинга,—заверил он.

— Да и я,—возразил герцог,—не имею основания заподозрить молодого человека; у него хорошее, честное лицо, такое же задорное, мальчишеское лицо, как у моих босоногих богемских крестьянских девиц. Однако, ваше величество, я не поручусь ни за одного человека. Лицо может быть обманчивым, а если бы даже оно и не обманывало, то все же я не желал бы видеть возле себя пажа,—будь он даже моим любимцем,—если бы голос его звучал, как голос моего ненавистника, а рука была того же размера, как у человека, намеревающегося убить меня из-за угла. Это дело темное, роковое, здесь может таиться гибель.

Густав улыбнулся. Он, вероятно, подумал про себя, что этот блестящий выскочка, вступивший ныне по договору с Габсбургом на путь невыполнимых химерических затей, более, чем когда-либо, склонен отдавать дань суеверию. Усматривая внутреннее противоречие между верой в рок и попытками обезвредить последний, король, преисполненный упования на своего Бога живого, не желал ни единым словом, ни единым намеком касаться той области, где царило, как ему казалось, дьявольское наваждение. Он прекратил разговор и поднялся, выражая благодарность герцогу за его лояльный образ действий; при этом он все же потянулся за перчаткой, небрежно брошенной герцогом на стоявший между ними столик, и сделал столь характерное для близорукого человека движение, что Валленштейн, обладавший острым зрением, не мог удержаться от улыбки.

— Я вижу с удовольствием, — пошутил король, провожая герцога до дверей, — что ваше высочество озабочены моей невредимостью.

— Как же иначе? Хотя ваше величество и я и воюем друг

с другом во главе наших полчищ, все же ваше величество и я,—герцог вежливо избегал слова «мы»,—неразрывно связаны. Один немислим без другого, и свались ваше величество или я с одного конца мировых качелей,—ответил он шуткой на шутку короля,—другой конец с силой ударился бы о-земь.

Король снова задумался, и невольно в его голове мелькнула мысль, что некое небесное предопределение или положение светил открыло герцогу Фридландскому связь между их смертными часами: один следовал за другим крадущейся поступью, с закутанным челом. Странно: этот образ, при всем уповании Густава на бога, возымел над ним внезапную силу. Но тут христианский король почувствовал, что атмосфера суеверия, окружавшая Валленштейна, начала заражать и его. Он снова сделал шаг по направлению к выходу.

— Ваше величество, — заключил герцог Фридландский почти добродушным тоном свое посещение: — должны были бы побереечь себя, по крайней мере, ради своего ребенка. Принцесса учится на славу, как я слышал, и ваше величество привязаны к ней всем сердцем. Что же делать, когда не имеешь сыновей? Я, ведь, такой же, вот, дочкин родитель!

На этом герцог откланялся.

Паж, у которого от подслушанного разговора, словно от привидения, волосы стали на голове дыбом, успел заметить, как Густав опустился в кресло и принялся играть перчаткой. На этом Лейбельфинг отвел глаза от скважины, шатаясь, вернулся к себе в комнату и бросился на колени возле постели, моля небо сохранить невредимым своего героя, для которого в одном его—пажа—присутствии, — как это полагал герцог Фридландский и как сам паж готов был поверить, — могла таиться гибель. «Чего бы мне это ни стоило, — клялся полный отчаяния паж, — но я отстранюсь от него, я избавлю его от себя, лишь бы моя злосчастная близость не послужила к его гибели».

Пажа не позвали, и он пробрался снова к королю лишь в обычные часы досуга. Часы эти прошли в большей своей части в безразличных разговорах, если не считать, что король как-то мимоходом заметил:

— Где это ты пропадал сегодня около полудня, Лейбельфинг? Я тебя звал, а тебя не оказалось.

Паж ответил по всей правде, что, чувствуя после потрясающих утренних сцен потребность освежиться, он вскочил на коня, поскакал по направлению к валленштейнскому лагерю и подъехал к нему почти на расстояние пушечного выстрела. Пажу хотелось навлечь на себя дружеский упрек короля, но такового не последовало. Разговор снова принял безразличный оборот. Наконец, пробило десять часов. Тут Густав вынул рассеянным движением перчатку из кармана и, рассматривая ее, сказал:

— Это не моя. Не ты ли ее потерял, неряха, а я по ошибке засунул в свой карман? Дай-ка примерить. — Он схватил, как бы играючи, левую руку пажа и натянул мягкую кожу на тонкие пальцы.

— Впору, — сказал он.

Тогда паж бросился перед королем на колени и схватил его за руки, обливая их слезами. — Прощай, ты мой повелитель, ты для меня все! — рыдал он. — Да хранит тебя Господь! — и, быстро вскочив, он, как безумный, бросился из комнаты.

Густав поднялся, стал звать его обратно. Но в это время уже донесся до него стук копыт скачущей лошади и — странно сказать, — ни ночью, ни на следующий день король не отдавал приказа произвести расследование относительно бегства и местопребывания своего пажа. Правда, дел у него было по горло, так как он принял решение сняться с лагеря из под Нюрнберга.

Лейбельфинг не сдерживал стремительного бега своего коня, тот сам утомился, достигнув крайней границы лагеря. К этому времени улеглись и взволнованные чувства всадника. Месяц ярко светил; было светло, как днем; конь шел шагом. При более спокойном разборе невыясненного события, принудившего пажа покинуть короля, беглец острым взором любви и ненависти распознал, кто его двойник. Это — Лауэнбург. Не пришлось ли пажу быть свидетелем того, как этот заклеянный человек грозил кулаком в ответ на решение королевского правосудия? Разве голос герцога, навлекшего на себя кару, не звучал, будто его собственный? Разве сам паж не был настолько женщиной, чтобы не заметить даже в ту ужасную

минуту малых размеров сжатого герцогского кулака? Без сомнения, Лауэнбург замыслил месть, замыслил убийство любимого существа. И в эти-то часы жуткого выслеживания и преследования короля, паж сам бежит близости своего повелителя, над которым нависла угроза. Сжимавшая его сердце бесконечная тревога за самое для него дорогое, теперь, при мысли о потере его, разрешилась сперва сдавленными рыданиями, а затем неудержимо льющимися слезами. Часовой, шведский мушкетер с поседелыми усами, увидев плачущего молодого всадника, сложил губы в веселую усмешку, но затем добродушно спросил: — Верно скучаете по дому, господин? — Лейбельфинг овладел собою и, продолжая медленно ехать дальше, решил с отвагой, свойственной ему от природы и закаленной в боях, не покидать войска. «Король снимется с лагеря, — сказал он себе, — я пристроюсь к одному из полков и во время переходов останусь незамеченным, а там — битва!»

В это время он заметил полковника, объезжавшего лагерь дозором. Месяц сиял так ярко, что можно было читать рукопись. Поэтому паж при первом же взгляде узнал в полковнике друга своего отца, бывшего секундантом капитана Лейбельфинга при последнем, смертельном для того поединке. Паж подъехал на своем рыжем коне к полковнику с левой стороны. Полковник, которому за последнее время доводилось большей частью бывать на передовых позициях, внимательно посмотрел на молодого всадника.

— Либо я ошибаюсь, либо я в самом деле видел, хотя и на некотором расстоянии, как ваша милость ехали, в качестве пажа, верхом рядом с королем. Ну да, теперь я вас узнаю, хотя вы и кажетесь бледным, как луна, и печальным. — Затем, пораженный внезапным воспоминанием, он прибавил: — Не из Нюрнберга ли вы и не сродни ли покойному капитану Лейбельфингу? Вы до жуткости похожи на него или, вернее, на его дочь, сорванца Густль, разъезжавшую до пятнадцати лет вместе с нами верхом. Впрочем, лунный свет обманчив и творит колдовство. Сойдемте с коней. Вот моя палатка. — И он передал лошадей, — свою и Лейбельфинга, — поджидавшему слуге с приплюснутым носом и широким лицом, встретившему своего повелителя добродушной тупой улыбкой.

— Пожалуйста, будьте как дома, — сказал старик, предлагая

пажу походный стул и опускаясь сам на свое жесткое ложе. Два светильника, прикрытые от ветра стеклянными колпаками, бросали на них свой дрожащий свет.

Тут полковник без церемоний запустил пажу в волосы свою честную широкую ладонь. На обнажившемся лбу показался старый, но глубоко врезавшийся шрам. — Густль, дурочка, — разразился полковник, — думаешь, я забыл, как венгерский жеребец, лягнув задом, перебросил тебя через свою упрямую голову, так что ты полетела по воздуху? Мы все трое подобрали тебя, замертво рыдающая мать, отец, бледный, как привидение, и я сам, не на шутку перепуганный. Бравый был солдат покойный Лейбельфинг, мой лучший начальник и закадычный друг. Только немножко шальной, как и ты, вероятно, Густль. Чорт побери, дитя, сколько времени ты уже околачиваешься подле короля? Смотришь ты, впрочем, точь в точь мальчишкой. Сбрила себе, небось, белокурые кудряшки на затылке, бесенок? — И он потянул ее за волосы. — Не воображай только, что ты единственная баба в лагере. Взгляни-ка на Якова Эриксона, моего денщика. — Тот как раз вошел с бутылками и стаканами. — Такой же мужчина, как и ты. Не бойся, Густль. Его невозможно было научить ни единому немецкому слову — для этого он слишком глуп. Но женщина честная до мозга костей и богобоязненная. И уродина же! Впрочем, история эта самая простая, Густль. Семеро крикунов, кормилец выбыл, жена заступила его место. Лучшего парня и не придумаешь. Я бы никак не мог без него обойтись.

Паж разглядывал это славное существо с решительным недоброжелательством, полковник же продолжал свои разглагольствования. — Как ни как, ловкая штука, Густль. Примазаться к королю, который не выносит баб в штанах. Ты разыграла пьесу — в том роде, что у них там на упсальских скамьях зовут монодрамами: какоенибудь действующее лицо одно-одинешенько про себя радуется, страшится, робеет, разыгрывает трагедию, преисполняется чувств, фантазирует. И Бог весть чего ты себе навоображала, и ни одна живая душа об этом не догадалась и ни на грош не побеспокоилась. Ты смотришь недовольной? Ну, шей бы ты на этом не сломала! Сдерни король с тебя личину — «убирайся отсюда, глупая

девченка!» — выбранился бы он и через минуту стал бы думать уже о другом. Да, вот, если бы королева тебя разоблачила! Брр...! Вот я и говорю: не следует целовать детей. Такой поцелуй тлеет, тлеет, да и вспыхнет снова, когда губы подростут и нальются. А что правда, то правда: король как-то взял тебя у меня с рук, крестница, и так целовал и миловал тебя, что одно только чмокание и было слышно. Ты, ведь, была бойким и красивым ребенком. — Паж ничего не помнил об этом поцелуе, но с густой краской ощутил его на лице.

— Ну, сорванец, что же теперь дальше? — Он на минуту задумался. — Что там долго думать: я уступаю тебе свою вторую палатку. Ты станешь моим ординарцем, дашь мне честное слово не сбежать и будешь состоять при мне вплоть до заключения мира. А там я отвезу тебя к себе домой в Швецию, на мызу возле Гефле. Я одинок. Оба мои младших сына, Аксель и Эрик, — он смахнул слезу, — за короля и отечество. Оставшийся в живых старший сын живет в Фалуне — он священник в прибыльном приходе. Выбирай между нами обоими.

Паж Лейбельфинг дал своему крестному то же обещание, что и самому себе, и вслед затем рассказал ему все свои приключения полностью, с тою потребностью в правдивости, которая заявляет о себе после долгого ношения личины так же повелительно, как голод и жажда после продолжительного поста. Старик, выслушивая его рассказ, думал свои думы и в особенности потешался над кузеном Лейбельфингом, портрет которого он заставил пажа набросать себе.

— Белобрысый сморчок не виноват в том, что он баба, — философствовал полковник. — Это в крови. Мой сын, священник в Фалуне — тоже заяц, — он пошел в мать.

Начиная с последних летних дней вплоть до окончания сбора винограда и до первых редких снежных хлопьев, закружившихся однажды морозным утром над большой дорогой, паж Лейбельфинг разъезжал верхом рядом со своим крестным, полковником Аке Тоттом, то сюда, то туда, как это бывает во время походов. Ему не случалось сталкиваться с главной квартирой и королем, так как полковник, большей частью, нес авангардную службу или

прикрывал тыл войска. Но Густав Адольф неотступно стоял перед его духовным взором в преображенном и недосыгаемом виде—теперь, когда король уже не теребил больше его за кудри, и паж не слышал уже более, как прежде, находясь с ним бок о бок и отделенный от него лишь тонкой стеной, как он ворочается и откашливается по ночам.

Но вот случилось, что Лейбельфинг вновь увидел своего короля. То было на рыночной площади в Наумбурге. Паж замешкался там, делая закупки, и совсем было собрался нагнать своего полковника; тот командовал на этот раз авангардом и уже покинул город. Оттесненный вместе с конем толпой, все более и более густевшей, к самым домам, паж увидел на узкой площади зрелище, подобное которому представлялось человеческим взорам лишь однажды: когда Миротворец свершал свой въезд на ослице в Иерусалим. Правда, Густав сидел верхом на статном боевом жеребце, окруженный военачальниками на лихих конях в доспехах; но сотни людей в страстном порыве, весь народ, охваченный бурным приливом любви и воодушевления, толпился вокруг северного короля, хранителя его духовных благ; женщины подымали обеими руками своих детей над ликующей толпой, мужчины протягивали руки, чтобы схватить и пожать правую руку Густава; девушки стремились поцеловать хотя бы его стремя, всякие люди простого звания бросались на колени перед королем, не страшась ударов копыт его коня, который, впрочем, шел спокойной и плавной поступью. Густав Адольф, заметно растроганный, склонился с коня к престарелому местному священнику, облобызавшему у него, перед самыми глазами Лейбельфинга, руку, прежде чем король мог тому воспрепятствовать, и произнес, повысив голос:

— Люди воздают мне божеские почести! Это—свыше меры и служит мне напоминанием о моем конце. Отец мой, мне сопутствуют языческая богиня Виктория и христианский ангел смерти.

У пажа слезы полились из глаз. Но когда напротив в окно он заметил королеву и увидел, как король посылал ей нежный прощальный привет, в его груди закипела жгучая ревность.

Не более недели спустя, в то время, когда шведские войска стягивались на Люценской равнине, Аке Тотту довелось ехать

неподалеку от экипажа, в котором находился король. Тут Лейбельфинг увидел хищную птицу, неотвязно парившую под ключьями облаков как раз над королем и не желавшую улетать, несмотря на выстрелы свиты. Паж вспомнил о Лауэнбурге: не нависло ли также его мщение над Густавом Адольфом? Бедное сердце пажа сжалось от безмерного страха. Этот страх по мере наступления ранних сумерек все возрастал, и, когда стемнело, Лейбельфинг, нарушив данное им честное слово, прищепил коня и исчез с глаз полковника, кричавшего ему вслед:—Вероломный мальчишка!

Непрерывным галопом паж доскакал до кареты короля и смешался с лицами его свиты; там, накануне предстоящей великой битвы, его как будто никто не заметил или не обратил на него внимания. Король собирался заночевать в своей карете, но холод вынудил его покинуть ее и искать пристанища в скромной крестьянской избе. С наступлением рассвета низкая комната, где король уже сидел над своими картами, наполнилась ординарцами. Боевое построение шведов закончилось, теперь наступил черед немецких полков. Камердинер короля, благоволивший к Лейбельфингу, узнал его и не стал ни о чем расспрашивать; паж снова завладел скамеечкой с вышитым на ней шведским гербом,—он имел обыкновение сидеть на ней возле короля,—и забрался в угол, где оставался незамеченным позади постоянно сменявшихся военных фигур.

Наконец, король отдал свои последние распоряжения; он находился теперь в самом необычном настроении. Медленно поднявшись, он обратился к присутствующим,—это все были немцы и среди них не мало тех, кого король стыдил в лагере под Нюрнбергом в столь резких выражениях. Не почил ли уже на Густаве Адольфе правосудие и милосердие того небесного царства, к коему он мнил себя ныне близким? Он сделал знак рукой и тихо, словно в полусне, произнес, говоря скорее своими призрачными очами, нежели едва шевелящимися губами.

— Господа и друзья, сегодня, видно, пробьет мой последний час. И вот, мне хотелось бы оставить вам свое завещание. Не война меня заботит—это дело живых,—нет, наряду с помышлениями о спасении моей души, меня заботит память, остающаяся

по мне среди вас. Я приехал сюда из-за моря с разными намерениями, но всех их перевешивала, скажу не лицемеря, забота о чистоте веры. После победы при Брейтенфельде, я получил возможность продиктовать мир императору и, утвердив здесь евангелическую веру, вернуться со своей добычей, как хищный зверь, к себе в шведские ущелья. Но меня заботили немецкие дела. Не без помыслов о вашей короне, господа,—но, скажу без утайки, заботы о государстве преобладали над честолюбием. Невозможно, чтобы Германия и впредь принадлежала Габсбургу, ибо это государство протестантское. Но вы подумаете и скажете себе: «Не должен король-пришелец властвовать над нами». И вы правы. Ибо написано: «Чужеземец да не наследует государства». Но напоследок мне пришла мысль о руке моей дочери и о тринадцатилетнем...

Его тихая речь была заглушена буйным солтатским пением конного Тюрингенского полка, который, проходя мимо стоянки короля, с воодушевлением напирал на слова песни:

Ниспослан будет Гедеон!
И уж тебе поможет он!

Король прислушался и, не докончив речи, сказал:—Довольно, теперь все в порядке.—Затем, отпустив присутствующих, он опустился на колени и стал молиться.

В это время паж со страшным сердцебиением увидел, что вошел Лауэнбург. Одетый в платье простого кавалериста, он приблизился с заискивающим и подбострастным видом, простер руки к медленно подымавшемуся королю и пал перед ним ниц, обнимая его колена, рыдая и взывая к нему трогательными словами блудного сына:—Отец, я согрешил перед небом и тобой!—и еще раз:—Я согрешил перед небом и тобой, я недостойн более называться твоим сыном!—и он склонил перед ним повинную голову. Король поднял его с земли и обнял.

Перед исполненными ужаса глазами пажа проплыли, как в тумане, две обнявшихся фигуры. Правда ли это, может ли то быть правдой? Проявила ли на погибшей душе свою чудодейственную силу святость короля? Или то сатанинское притворство? Не упо-

требил ли во зло бессовестнейший из лицемеров слова, слетевшие некогда с пречистых уст? Таким сомнениям предавался паж, со смятенными чувствами и бьющимися висками. Миг промелькнул. Подали коней; король потребовал себе кожаную куртку. Появился камердинер с требуемым предметом на левой руке, а в правой он нес блестящий панцырь, держа его за шейное отверстие. Тогда паж выхватил у него из рук непроницаемую броню, с намерением помочь королю надеть ее. Но Густав, не выражая никакого изумления по поводу присутствия пажа, отстранил панцырь с несказанно приветливым взглядом и обычным своим движением запустил руку в кудри пажа.

— Густ,—сказал он,—не надо, он жмет. Подай куртку.

Вскоре затем король ускакал, имея позади себя по левую руку Лауэнбурга, а по правую пажа.

V

В деревне Мейхен, позади шведской боевой линии, в пасторском доме, около полуночи, за библией огромного размера сидел вдовый магистр Тоденус; он читал своей домоправительнице, госпоже Иде, особе хрупкого телосложения и также вдове, покаянные псалмы Давида. Магистр, впрочем, человек воинственного вида, с густыми седыми усами, в молодости прошедший несколько лет на военной службе,—вслед затем принялся вместе с госпожей Идой горячо молиться за жизнь протестантского героя, который именно сегодня вступил здесь (по близости в бой, и пастор не знал, выиграл он его или проиграл. В это время раздался сильный стук в ворота, и госпожа Ида, верившая в духов, отгадала, что стучится умирающий.

Так оно и было. К пастору, открывшему дверь, шатаясь, подошел молодой человек, бледный, как смерть, с широко раскрытыми лихорадочными глазами; его голова была непокрыта, и на лбу зияла рана. Шедший следом за ним другой человек снял с коня грузное тело. Несмотря на раны, искажавшие черты убитого, пастор узнал в нем шведского короля, которого он видел

однажды при его вступлении в Лейпциг и гравированное изображение которого, очень схожее, висело тут же в комнате. Глубоко потрясенный пастор закрыл лицо руками и зарыдал.

С лихорадочной поспешностью и в торопливых словах раненый юноша высказал желание, чтобы короля положили в соседней церкви. Но прежде того он потребовал себе теплой воды и губку, чтобы омыть окровавленную и израненную голову короля. Затем, с помощью своего товарища, он положил тело убитого, слишком тяжелое для его рук, на убогую лежанку, опустился перед ним на колена и с любовью стал всматриваться в бледное, как воск, лицо. Но только что он хотел прикоснуться к нему губкой, как лишился чувств и упал ничком на труп. Товарищ поднял его и, внимательно всмотревшись, заметил, кроме раны на лбу, еще и другую рану на груди. Через свежее порванное отверстие в платье, рядом с заштопанной дыркой повыше сердца, сочилась кровь. Шведский корнет осторожно расстегнул платье своего товарища и остановился, не веря своим глазам.—Тыфу ты пропасть!—пробормотал он, а госпожа Ида, державшая чашку с водой, покраснела до корней волос.

В это мгновение дверь распахнулась, и вошел полковник Аке Тотт. Посланный по делам продовольствия в тыл, он спешил, окончив с поручением, снова к полю битвы. Пропуская перед харчевней на деревенской улице рюмку водки, он услышал рассказ о шатавшемся в седле всаднике, державшем перед собой на коне тело убитого.

— Правда ли, возможно ли?—вскричал он и бросился к своему королю. Схватив его руку, он залил ее слезами. Обернувшись через некоторое время, он заметил юношу, лежавшего без чувств в кресле.—Чорт побери,—гневно вскричал он,—Густль-то снова прицепилась к королю!

— Я встретил молодого человека, моего товарища,—заметил осторожно корнет,—в то время, как тот скакал поперек поля битвы держа перед собой на коне убитого короля. Он пожертвовал своею жизнью за его величество.

— Нет, за меня!—перебил его долгоязычный человек с лицом старой бабы. Это был купец Лаубфингер. Намереваясь взыскать

крупный долг, задержанный войной, он отважился покинуть безопасный Лейпциг и, сам того не ведая, приблизился к полю битвы. Попад на деревенскую улицу, запруженную обозом, он пошел следом за полковником, чтобы испросить у него *Salva guardia*. Преисполненный чувства признательности и облегчения, он передал теперь присутствующим подробно всю свою семейную историю:—Густль, Густль,—плакался он,—узнаешь ли ты своего двоюродного брата? Чем отплачу я тебе за то, что ты для меня сделала?

— Тем, сударь, что заткнете себе глотку!—огрызнулся на него полковник.

Тут вмешался пастор и произнес спокойно и серьезно:

— Господа, вы знаете, свет насыщен злословием.—Госпожа Ида вздохнула.—В особенности, когда большой и чистый человек творит большое и чистое дело. Окажись запятнанной хоть самым легким подозрением его память—он указал на почившего короля,—подумайте, в какое легендарное существо не поспешила бы превратить клевета папистов вот эту—и он указал на лежавшего в обмороке пажа—бедную мошку, спалившую себе крылышки в лучах его славы. Я уверен не меньше, чем в собственном бытии, в том, что король ничего не знал об этой девушке.

— Согласен с вами, господин священник,—подтвердил полковник.—И я также уверен в этом не менее, чем в том, что обрету спасение через веру, а не через дела.

— Несомненно,—подтвердил Лаубфингер.—Иначе король стоил бы девушку домой и потребовал бы меня.

— Провались я на этом месте!—заверил корнет, а госпожа Ида вздохнула.

— Я—служитель Божий,—у вас, полковник, седина в волосах, вы, корнет, дворянин, вам, господин Лаубфингер, это будет полезно и выгодно, а за госпожу Иду я ручаюсь. Сохраним все в тайне.

В это время паж открыл свои потухающие глаза. Обведя всех испуганным, блуждающим взором, он остановил его на Аке Тотте.

— Крестный, я ослушалась тебя, я не могла, я великая грешница.

— Великий грешник,—строго прервал его пастор.—Вы бредите! Вы — паж Август Лейбельфинг, законный сын Нюрнбергского патриция и именитого купца, Арбогаста Лейбельфинга, родившийся тогда-то и тогда-то, скончавшийся 7-го ноября 1632 г. от раны, полученной накануне в сражении при Лютцене, *pugnans cum rege Gustavo Adolpho*.

— *Fortiter pugnans!* — с воодушевлением добавил корнет.

— Так я велю начертать на вашей надгробной плите! А теперь да примет вас Господь с миром, ваш часочек пробил.— Магистр произнес это не без жесткости, ибо не мог подавить в себе неудовольствия, вызванного юной любительницей приключений, которая подвергла опасности незапятнанную славу его короля, даром, что она уже лежала при последнем издыхании.

— Я не могу еще умереть. Мне надо многое рассказать,—прохрипел паж.—Король... в тумане... пуля Лауэнбурга...—Смерть сомкнула его уста, но не в силах была помешать ему искать последним напряжением потухающего взора лицо короля.

Каждый из присутствующих вывел свои заключения и закончил на свой лад эти слова пажа; но сохранивший присутствие духа пастор, патриотизм которого оскорбляла мысль, что спаситель Германии и дела протестантизма,—для него вещи однозначные,—мог погибнуть от руки одного из немецких государей, принялся настойчиво увещевать присутствующих похоронить эти прерванные смертью слова вместе с пажем.

И вот, когда Август Лейбельфинг уже покончил счеты с жизнью и лежал, бездыханный, рядом со своим королем, его двоюродный брат произнес, всхлипывая:

— Теперь, после того, как сестра моя скончалась и наследование вступает в свои права, получу ли я обратно свое имя?—Он бросил вопросительный взгляд на окружающих. Магистр Тоденус рассматривал в это время невинное лицо отважной нюрнбергской девушки, на котором запечатлелось выражение счастья. Суровым человеком овладело чувство умиления, и он порешил:

— Нет, сударь, вы останетесь Лаубфингером. Ваше прежнее имя удостоится чести красоваться на могильном холме этой девушки, одаренной высокой душой, любившей до самой своей смерти

славного героя. Вы же спасли высшее для вас благо—дорогую вам жизнь.—Довольствуйтесь этим.

Церковь была заперта на засов, чтобы сдерживать напор стекавшейся отовсюду толпы: молва о том, что здесь лежит король, быстро распространилась. Затем покойники были омыты и положены на амвоне. Тем временем рассвело. Когда церковные двери раскрылись для толпы, стремившейся туда с благоговейным нетерпением на лицах и в движениях, то оба тела лежали перед алтарем на катафалках—король повыше, паж пониже, и в противоположных направлениях, так что голова пажа приходилась в ногах короля. Луч утреннего солнца—за вчерашним туманным последовал ясный и безоблачный день—скользил через низкое церковное окно и, озаряя лик героя, уделял частицу своего сияния кудрявой голове пажа Лейбельфинга.

Перев. с немецкого

А. Н. и Ю. Л. Римские-Корсаковы

СТРАДАНИЯ ОДНОГО МАЛЬЧИКА

(1883 г.).

Король вошел в комнату госпожи де-Ментенон и так как ему всегда не хватало свежего воздуха, а к погоде он был не чувствителен, то он, прежде всего, свойственным ему властным движением руки распахнул окно. В комнату с силой ворвался сырой осенний воздух, и нежная женщина стала зябко кутаться в свои три или четыре юбки.

С некоторых пор Людовик XIV затыгивал свои ежедневные визиты у женщины, которая стала предметом его старческого увлечения. Часто он появлялся уже, как только наступал вечер, и оставался, пока не накрывали к ужину. И если он при этом не работал с министрами подле своей скромной подруги, которая, зарывшись в кресло, оставалась внимательной и молчаливой слушательницей; если погода не позволяла предпринять прогулку или поехать на охоту; если концерты, по преимуществу духовной музыки, слишком приедались,—то не легко было придумать, чем занимать и развлекать монарха в течение долгих четырех часов. Дерзкая муза Мольера, нежности и обмороки госпожи де-Лавальер, смелое поведение и оригинальные остроты госпожи де-Монтеспан и многое другое отжило свое время и утратило привлекательность, как вылинявший ковер. Король стал воздержным, почти скромным, трудолюбив он был всегда и теперь он находил удовлетворение у женщины, которая любила сдержанность и полумрак.

Услужливая, лстивая, она сумела стать необходимой; к тому же, несмотря на свои годы, она была еще полна грации. Правда, у внучки Агриппы д'Обинье была в характере доктринерская черта, свойственная гувернантке склонность авторитетно вмешиваться в интимные дела, находившая себе полный простор в Сен-Сире,

среди благородных девиц, которых она там воспитывала. Но в присутствии повелителя она скромно подчинялась его высшей мудрости, так что если Людовик молчал, то и она не произносила ни слова, особенно в такие дни, как сегодня, когда почему-то отсутствовала молодая жена внука короля, «савоярка», забавнейшее существо в мире, которое вносило всюду оживление и смех своими детскими выходками и ласковым лепетом.

В виду этих обстоятельств, госпожа де-Ментенон не без некоторой тревоги прислушивалась к приближающимся шагам короля. Но она успокоилась, когда по хорошо знакомым ей чертам лица заметила, что король чем-то занят и, повидимому, слегка рассмешен. Очевидно, Людовик сам собирался что-то рассказать и при этом что-то забавное.

Король закрыл окно и уселся в кресло.

— Сударыня, — сказал он, — сегодня днем отец Лашез привел ко мне своего преемника, отца Телье.

Отец де-Лашез был в течение многих лет духовником короля, который не соглашался отпустить престарелого иезуита, не взирая на его глухоту и полную дряхлость. Он совершенно, если можно так выразиться, истрепал его, потому что привык к нему. Как это ни странно, но в силу каких-то неопределенных опасений король не решался взять духовника из другого ордена, кроме иезуитского, а потому видел подле себя охотнее этого обратившегося в руину, но все же почтенного человека, чем молодого и более честолюбивого члена ордена Иисуса. Однако, все имеет свои пределы: отец Лашез явно быстро приближался к могиле, и Людовик все же не хотел стать виновником смерти своего духовного отца.

— Сударыня, — продолжал король, — мой новый духовник не обладает ни красотой, ни осанкой. Лицом он похож на волка и к тому еще косит. Вид у него, можно сказать, прямо отталкивающий, но мне его рекомендовали, как человека строгого по отношению к себе и другим, так что ему можно доверить свою совесть. А ведь это самое главное.

— Чем хуже жолоб, тем прекраснее в нем небесная вода, — назидательным тоном заметила маркиза.

Вдова Скаррона не любила иезуитов, которые мешали ее браку с его величеством и которые, пользуясь своей растяжимой моралью, заявили, что в данном случае для сожительства с королем не нужно никакого таинства. И потому она охотно причинила неприятности благочестивым отцам, если могла где-нибудь тихонько их задеть. Теперь она молчала, и ее темные миндалевидные глаза с тихо-грустным выражением были устремлены на супруга, пока она со скромным вниманием выслушивала его рассказ.

Король скрестил ноги и, рассматривая игру бриллианта на пряжке одного из своих башмаков, небрежно сказал:

— Этот Фагон! Он становится невыносимым! Бог знает, что он себе позволяет!

Фагон был престарелый лейб-медик короля и пользовался покровительством маркизы. Оба весь день проводили в его обществе и на случай, если король умрет раньше них, уже выбрали себе убежище. Она — Сен-Сир, он — Ботанический сад. Здесь они решили замкнуться и похоронить себя после смерти своего повелителя.

— Фагон чрезвычайно привязан к вам, — сказала маркиза.

— Не спорю, однако, он все-таки слишком много себе позволяет, — ответил король и слегка комически наморщил лоб.

— Что же случилось?

Король стал рассказывать. Рассказ его был недолог. Сегодня на аудиенции он спросил своего нового духовника, находится ли Телье в родстве с семьей канцлера де-Телье. Смиренный отец поторопился ответить отрицательно и откровенно признался, что он сын крестьянина из нижней Нормандии. Фагон стоял недалеко у окна, оперши подбородок на свою бамбуковую трость. Оттуда, за согнутой спиной иезуита, он вполголоса, но достаточно явственно прошептал: «Гадкий!»

— Я погрозил Фагону пальцем, — сказал король.

Маркиза удивилась. — За такой честный ответ Фагон не стал бы бранить патера. Очевидно, у него были другие причины, — благо-разумно заметила она.

— Хотя бы и так, сударыня, но все-таки это было непозволительно, чтобы не сказать больше. Добрый отец Лашез, который

уже окончательно оглох, ничего, правда, не слышал, но я уловил вполне отчетливо слог за слогом: «Скверный», — прошептал Фагон патеру. И тот даже вздрогнул.

Из этого варианта маркиза с улыбкой заключила, что Фагон употребил выражение более сильное. Король тоже слегка улыбался. Он с ранних лет принял за правило, которое соблюдал до конца своей жизни, будучи, впрочем, склонен к этому и по натуре, — никогда, даже в рассказе, не употреблять грубых, бранных, вообще, недостойных короля выражений.

В высокой комнате стало темно. Когда лакей поставил на стол два уютных подсвечника и удалился, пятась назад, то вдруг оказалось, что тут есть еще кто-то: тихо вошедший человечек с очень странной внешностью, уродливый и в то же время внушающий почтение. Это был маленький старик, с горбатым, искривленным телом. Высохшими руками и подбородком он опирался на длинную бамбуковую трость с золотым набалдашником. Бледным лицом с голубыми глазами он напоминал призрак. Это был Фагон.

— Государь, я попросту назвал его мерзавцем и негодяем, и это чистейшая правда, — сказал он слабым, дрожащим от волнения голосом. Фагон почтительно поклонился королю и отвесил галантный поклон маркизе. — Государь, если я так обошелся в вашем присутствии с духовным лицом, то либо я сохранил юношескую вспыльчивость по отношению к подлости, либо почтенный возраст позволяет мне говорить правду. Вы думаете, что меня только возмутило лманье патера, когда этот грубый и неуклюжий увалень со своей волчьей мордой вертелся и извивался перед вами, государь, и на ваш милостивый вопрос о его родне не находил достаточно слов, чтобы в чванном самоуничижении подчеркнуть свое ничтожество? — «Что вы, ваше величество? — перерывал Фагон патера: — Я в родне с таким знатным господином? Куда мне! Я сын совершенно простого человека, мужика из нижней Нормандии. Совсем простого мужика!..» — Уже эти недостойные слова о собственном отце, это льстивое, притворное, насквозь лживое смирение, эта глубокая фальшь — всего этого было вполне достаточно, чтобы назвать его негодяем. Но госпожа маркиза

права. Тут было еще нечто другое, отвратительное и дьявольское, за что я отомстил. К сожалению, только словами. Я мстил за злодеяние, за преступление, которое вследствие неожиданной встречи с этим коварным волком снова с такой яркостью встало у меня перед глазами, что скудный остаток моей крови закипел. Государь, этот злодей убил благородного мальчика!

— Оставь, Фагон, — сказал король, — что за сказка!

— Ну, скажем, он вогнал его в гроб, — иронически смягчил медик свое обвинение.

— Какого мальчика? — деловито спросил Людовик, любивший быстро добираться до сути дела.

— Это был молодой Буфлер, сын маршала от первого брака, — с грустью ответил Фагон.

— Жюльен Буфлер? Но ведь он умер, если не ошибаюсь, — стал припоминать король, которого память редко обманывала — в 17... в иезуитской коллегии от воспаления мозга, которое могло быть вызвано у бедного мальчика переутомлением, а так как отец Телье в те годы мог быть там руководителем занятий, то, конечно, если выразаться образно, — пошутил король, — то можно сказать, что он вогнал в гроб неспособного, но усердного в науках мальчика. Мальчик переутомился, как мне рассказывал сам маршал, его отец.

Людовик пожал плечами. И это все? Он ожидал чего-нибудь более интересного.

— Неспособного мальчика... — задумчиво повторил врач.

— Да, Фагон, — заметил король. — Чрезвычайно неспособного и притом робкого и нерешительного, хуже девочки. Это было однажды на приеме в замке Марли, когда маршал представил мне своего старшего сына, которому я предоставил право занять в будущем пост маршала. Я видел, как изящный, стройный юноша, на губах которого уже появился первый пушок, был взволнован и хотел меня сердечно поблагодарить. Но он стал так заикаться и неловко краснеть, что я, желая его успокоить или, по крайней мере, оставить в покое, отвернулся со словами: «Ну, хорошо», и сделал это раньше, чем хотел бы из внимания к отцу.

— Я тоже припоминаю этот вечер, — добавила маркиза. — Покой-

ная мать мальчика была моей приятельницей, и я подозвала его после этой неудачи к себе. Он держал себя скромно и грустно, но был любезен, выражал благодарность и внешне, по крайней мере, не показывал, что его глубоко задела эта неудача. Потом он даже приободрился и стал говорить о банальных повседневных вещах, очень подкупающим тоном, и — ему завидовали, что он находится около меня. Этот прием в Марли был плохим днем для мальчика. При дворе все, кто не носит имя Людовика, имеют прозвища (чуткая маркиза знала, что прямая противоположность ей, добродетельная, но ужасная немка, мать герцога Орлеанского, наградила ее самым ужасным прозвищем). — И вот скромному мальчику дали одно из тех опасных прозвищ, которые могут отравить жизнь и которые я строжайше запрещала моим девочкам в Сен-Сире. Прозвище это переходило из уст в уста. Оно срывалось даже с невинных и цветущих девичьих губ, которые несколько лет спустя не отказали бы красивому юноше в поцелуе.

— Какое же это прозвище? — с любопытством спросил Фагон.

— Bel idiot, — и вздрогнувшая пара высокомерных бровей открыла мне, кто его выдумал.

— Лозен? — попытался отгадать король.

— Сен-Симон, — поправила маркиза. — Он ведь при нашем дворе является тем, кто все подслушивает и высматривает, кто за всеми нами наблюдает, — король омрачился, — и его умелая рука по ночам взаперти набрасывает на бумагу продиктованные страстью карикатуры. Государь, этот благородный герцог не побрезгал заклеить жестоким словом невиннейшего мальчика только потому, что я, которую он ненавидит, не подумав ничего дурного, проявила легкую благосклонность к ребенку и сказала ему несколько ласковых слов.

Так болтала змеиным язычком кроткая женщина и раздражала короля, сохраняя невиннейшее выражение на лице и мелодичность голоса.

— Идиот-красавчик, — медленно повторил Фагон. — Не дурно сказано. Но если бы герцог, у которого, кроме плохих, есть еще кое-какие и хорошие качества, знал мальчика так, как я его знал, и каким он навсегда остался в моей памяти, то, ели- нусь

честью, желчный Сен-Симон почувствовал бы раскаяние. А если бы он, подобно мне, присутствовал при кончине этого ребенка, когда тот в горячем бреду рвался в неприятельский огонь с именем своего короля на устах, то я думаю, что тайный судья нашего времени — если только легенда о нем верна, потому что никто не видал его за письменным столом — пришел бы в изумление от мальчика и пролил бы слезу над его могилой.

— Пожалуйста, Фагон, не говори больше о Сен-Симоне, — сказал король, сдвигая брови. — Пусть он себе записывает все, что считает правдой. Не стану же я рыться в письменных столах. Великая история тоже ведет свои записи и даст мне должную оценку в пределах моей эпохи и соответственно моим собственным качествам. Ни слова о нем больше. Но расскажи все, что ты знаешь о молодом Буфлере. Быть может, он, действительно, был хорошим мальчиком. Садись и рассказывай! — И король мило-стиво указал ему на стул, а сам откинулся в своем кресле.

— Рассказывай обстоятельно и спокойно, Фагон, — попросила маркиза, взглянув на изящные стрелки своих стенных часов, двигавшиеся удивительно быстро.

— Слушаю, государь, — сказал Фагон, — но обращаюсь со всеподданнейшей просьбой: сегодня, дурно обошедшись с отцом Телье в вашем присутствии, я позволил себе недопустимую вольность, а по опыту я знаю, что если уже попаду на этот путь, то легко могу повторить подобное преступление в тот же день. Когда г-жа де-Саблиер разыскала доброго, а может и не доброго, Лафонтена и вырыла это «древо басен», как она его называла, из плохой почвы, где он пустил корни, и пересадила его снова в хорошее общество, то баснописец согласился вернуться в среду приличных людей только с условием, что ему разрешат каждый вечер, по крайней мере, три вольности, то, что он называл вольностями. Подобного же разрешения, хотя и не совсем в том же самом смысле, прошу и я. Если желаете, чтобы я рассказал свою историю, то разрешите мне три вольности.

— Разрешаю, — сказал король.

Три собеседника сдвинулись ближе, врач с внушительным лицом, король с олимпийской головой, украшенной кудрями, и жена его

с тонким профилем, высоким лбом, очаровательными линиями носа и рта, и слегка намечающимся двойным подбородком.

— В те дни, когда ваше величество еще имели своего величайшего поэта, — начал лейб-медик, — но когда в его большую грудь уже вцепилась смерть, он забавлялся тем, что пародировал ее на сцене. Тогда здесь, в Версале, была поставлена перед вашим величеством пьеса: «Мнимый больной», и хотя вообще час, достойно проведенный в обществе Гомера и Вергилия, и плеск волн античной поэзии под небом, усеянном звездами, я предпочитаю современности, при помощи ярких ламп и искаженных лиц перенесенной на сцену, все же я должен был присутствовать на представлении, где осмеивалось мое сословие, а быть может, кто знает, и я сам с моим костылем.

Он поднял свою бамбуковую трость, на которую продолжал опираться даже сидя.

— Впрочем, этого не было. Но если бы Мольер увековечил меня в одной из своих комедий, я не стал бы сердиться на него, потому что он сумел выпутить и олицетворить в комической фигуре даже свои собственные страдания. Нет ничего выше этих последних пьес Мольера. Это царственная комедия, которая высмеивает не только нелепое, но с жестоким наслаждением издевается даже над самым человеческим, так что оно корчит уродливую гримасу. Что, например, может быть более простительного, чем когда отец чересчур высокого мнения о своем ребенке, слишком гордится его преимуществами и несколько слеп к слабостям своей собственной плоти и крови? Конечно, это забавно и вызывает насмешки, и вот, в «Мнимом больном» вздорный Диаффарюс хвалит своего еще более вздорного сына Фому, круглого дурака. Но его величество помнит эту сцену.

— Сделай мне удовольствие, Фагон, продекламируй ее, — сказал король, который воздерживался от общения с комической музой, с тех пор, как семейные утраты и тяжкие государственные неудачи омрачили его жизнь. Но у него невольно вздрагивали губы от смеха при воспоминании о милом человечке, которого он когда-то любил видеть около себя, забавляясь созданными им фигурами.

— Не потому,—начал Фагон,—который, как неожиданно оказалось, знал наизусть роль доктора Диафуарюса,—не потому, что я отец, говорю я это, а потому что у меня действительно есть основания быть довольным моим сыном. Все, кто его знают, говорят о нем, как о юноше без всякой фальши. Он никогда не обладал особенно деятельным воображением и тем огнем, который свойственен другим. Будучи маленьким ребенком, он никогда не отличался, так называемой, смысленностью и шаловливостью. Всегда был кроток, миролюбив и молчалив. Он не произносил ни слова и не принимал участия в так называемых мальчишеских играх. С трудом его научили читать, и в девять лет он еще не знал азбуки. Но я сказал себе: поздно распускающиеся деревья дают самые лучшие плоды; резец оставляет в мраморе более прочный след, чем в песке... и так далее.

Медленно сочившаяся насмешка превращалась на сцене в форменное издевательство, благодаря невыразимо нелепому лицу того, кому доставались эти комплименты. Зрители хохотали до упаду. Среди них я увидел белокурую женщину трогательной красоты. Я обратил внимание, как медленно менялось выражение в простых чертах этого лица. Сначала на них была написана радость, что заслуженно хвалят ребенка, который учится, хотя и с трудом, но прилежно, и это выражение оставалось несмотря на то, что юноша на сцене производил невыгодное впечатление. Но потом оно сменилось выражением грустного разочарования, так как зрительница, еще не вполне понимая, успела уже почувствовать, что поэт, в простых словах которого сначала не чувствовалось насмешки, в сущности, свирепо вышучивал отцовское самоослепление. Правда, Мольер, великий насмешник, изобразил все так правдиво и естественно, что нельзя было на него сердиться. Но по нежной щеке огорченной женщины скатилась, долго и с трудом сдерживаемая, глубоко-грустная слеза. Я понял, что она была матерью неспособного сына. Это с математической достоверностью вытекало из всего, что я видел и наблюдал.

То была первая жена маршала Буфлера.

— Если бы ты даже не назвал ее, Фагон, я по описанию твоему узнала бы мою милую блондинку,—вдохнула маркиза.—Она

была чудом невинности и чистосердечия. Без злобы и фальши. Она даже не знала, что такое хитрость и ложь.

Дружба, связывавшая обеих женщин и оставившая в маркизе такое трогательное воспоминание, была искренней и благотельной для обеих сторон. В долгие, тяжелые годы, когда г-жа де-Ментенон делала свою карьеру, когда эта тихая, честолюбивая женщина с неослабевающей гибкостью и бесконечным терпением, всегда веселая, всегда готовая к услугам, завоевывала себе короли и притом величайшего короля своей эпохи, она заметила своими умными глазами среди прочих придворных дам, относившихся к ней враждебно и недоброжелательно, благородную чистосердечную женщину и привязала ее к себе несколькими добрыми словами и предупредительно оказанной услугой. Они стали выручать друг друга, помогая одна своим происхождением, другая своим умом.

— Супруга маршала обладала добродетелью и осанкой,—похвалял король, и в памяти его встал образ женщины, с красивой фигурой, миловидным лицом и пепельными курчавыми волосами.

— Супруга маршала была глупа,—коротко добавил Фагон.—Но если бы я, калека, любил какую-нибудь женщину, кроме моей добродетельницы,—он почтительно поклонился в сторону маркизы,—и согласился бы пожертвовать моей жизнью для женщины, то я бы это сделал для первой жены герцога Буфлера.

Вскоре я ближе познакомился с нею, к сожалению, в качестве врача, так как здоровье ее было неустойчиво, и вся ее милость внезапно погасла, как потухшая свеча. За несколько дней до своей кончины она пригласила меня к себе и совершенно просто сказала, что скоро умрет. Она чутьем понимала свое состояние, в котором не могла разобраться моя наука. Она сказала, что покоряется судьбе, но ее мучит только одна забота: о ее мальчике. Он хороший ребенок, но совершенно не одарен,—так же, как я сама,—с грустью, но ничуть не стесняясь, жаловалась она. Мне на долю выпала легкая жизнь, мне оставалось только повиноваться маршалу, который любит все решать сам и потому не позволил бы мне распоряжаться самостоятельно—даже если бы я была умной женщиной. Он предоставлял мне только простые заботы о домашнем хозяйстве.

Ведь ты знаешь его, Фагон. Он педантичен и любит сам всем управлять. Когда я молчала в обществе или говорила только о самых простых вещах, чтобы не сделать какой-нибудь неловкости или не обнаружить невежества, то он был вполне доволен, потому что остроумная или блестящая женщина причинила бы ему только беспокойство. А потому мне жилось превосходно. Но как будет с ребенком? Жюльен, как сын своего отца, должен занять определенное положение в свете. Но сможет ли он это? Учение дается ему с чрезвычайным трудом. Правда, в прилежании у него нет недостатка, он старательный мальчик... Маршал снова женится и другая жена, более умная, родит ему более способных сыновей. Я совсем не хочу, чтобы Жюльен стал чем-нибудь выдающимся, да это и невозможно. Мне бы не хотелось только, чтобы он терпел слишком большие унижения, если будет отставать от своих братьев. Вот это я поручаю тебе, Фагон. Следи также за тем, чтобы и физически его не переутомили. Не спускай с него глаз, прошу тебя, потому что маршал за этим не уследит. Ты ведь его знаешь: у него в голове война, границы, крепости... Даже за обедом он занят своими делами. Этот необходимый королю и Франции человек то вдруг требует, чтобы ему принесли карту, или сам бежит за ней, то сердится по поводу замеченной им утром небрежности кого-нибудь из его подчиненных, которым ничего нельзя доверить, так как добросовестное исполнение обязанностей становится все реже и реже. А если при всем этом случайно разобьется чашка или блюдо, то легко раздражающийся маршал даже начинает браниться. Обыкновенно он сидит за столом молча, наморщив лоб и не обращая внимания на ребенка, который не спускает с него глаз. Он не справляется о его успехах, он уверен, что всякий Буфлер и без того исполняет свой долг. Жюльен будет напрягать свои силы до крайних пределов... Фагон, следи за тем, чтобы с ним ничего не случилось. Прими участие в этом ребенке и позаботься о нем, пока он не вырастет. Не стесняйся вмешиваться в его дела. Маршал считается с тобой, и твои советы не пропадут даром. Он называет тебя самым честным человеком во Франции, а потому обещай мне, что заменишь меня у мальчика. Ты, я знаю, сдержишь свое слово и сделаешь больше, чем я прошу.

Я пообещал супруге маршала, и она умерла с облегченной душой.

У постели, на которой она лежала, я наблюдал мальчика, вверенного моему попечению. Он обливался слезами, он порывисто дышал, но не бросился с отчаянием к покойнице, не дотронулся до ее бездыханного тела, а опустился перед нею на колени, взял ее руку и поцеловал, как делал это обычно. Скорбь его была глубока, но целомудренна и сдержанна. Из этого я заключил, что у него мужская натура и рано приобретенная привычка к самообладанию. Я не ошибся. Вообще же Жюльен был в то время хорошеньким мальчиком лет тринадцати, с выразительными глазами своей матери, симпатичными чертами лица и маленьким лбом под шапкой спутанных, белокурых, курчавых волос. Сложен он был безукоризненно и отличался ловкостью во всех физических упражнениях.

Маршал похоронил подругу своей молодости и через год снова обвенчался, с младшей дочерью маршала Грамона, которую мы все знаем, как женщину живую, весьма неглупую, с оливковым цветом лица и поражающей худобой. После своей женитьбы он, по собственному побуждению, стал советоваться со мной, в какую школу отправить Жюльена: ибо оставаться теперь в доме отца ему было невозможно. Я переговорил со священником, который был у них домашним учителем и до сих пор занимался воспитанием и обучением мальчика. Он показал мне его тетрадки, которые свидетельствовали о трогательном прилежании и настойчивом терпении, но в то же время о чрезвычайно посредственных способностях, полном отсутствии сообразительности, диалектической ловкости и остроумия. То, что называют в широком смысле слова остроумием, всякое страстное, пылкое или насмешливое освещение речи, всякая игра ума и воображения были ему чужды. Он располагал только самыми элементарными понятиями, самыми скудными словами. Лишь изредка какое-нибудь выражение могло понравиться своей чистотой или заставляло улыбнуться своей наивностью. Как это ни странно и ни печально, домашний священник говорил о своем ученике, сам того не ведая, словами Мольера: «Этот мальчик без всякой фальши, он всему верит, он лишен огня и воображения,

кроток, миролюбив, молчалив и...», прибавлял от себя, «обладает прекрасным сердцем».

Большого выбора у нас не было, маршал и я не нашли для мальчика лучшей школы, чем иезуитская коллегия. А если уже так, то, конечно, отпадали основания отказаться от школы парижской, ибо зачем же разлучать Жюльена со сверстниками его круга? Следует отдать должное отцам иезуитам: они не педанты, умеют приятно преподавать и ласково обращаются с учениками. Школа иясениетской окраски для нас не годилась. Маршал не одобрял ее, как хороший подданный, зная, что ваше величество не любит этой секты, и не желая легкомысленно лишиться милости вашего величества. Я по той же причине—Фагон улыбнулся—и еще потому, что считал суровую строгость и мрачные основы этого учения неподходящими для мальчика, который и так уже был чрезмерно угнетен своей бездарностью. Наоборот, более радостное земное существование и легкую доступность неба у иезуитов я считал полезными или, по крайней мере, совершенно безвредными, ибо я знал, что основной закон, заложенный в душе этого ребенка, есть закон чести.

При этом я, конечно, исходил из предположения, что благочестивые отцы никогда не испытают обиды со стороны маршала. Для подобных опасений не было никакого основания, ибо маршал не интересовался церковными спорами и, как человек военный, относился даже с некоторой симпатией к дисциплине, которая так строго проводится в этом ордене.

Но—как мог обиженный природой мальчик идти в уровень со своим классом? Здесь маршал и я рассчитывали на содействие совершенно различных условий. Маршал возлагал свои надежды на чувство долга и самолюбие у ребенка. Он сам хотя и обладал средними дарованиями, достиг значительных успехов в своей области. Но это удалось ему не благодаря гениальным задаткам, а вследствие его моральных качеств. И вот, не зная или не желая знать, что у Жюльена не было даже той средней одаренности, которую сам он сумел использовать при помощи железного прилежания, он полагал, что для человека с волей нет ничего невозможного и что можно подчинить себе даже природу. Не даром

его кавалеристы утверждали, что он считает нарушением субординации, если на параде у кого-нибудь на лбу появятся капли пота. И это на том основании, что сам он никогда не потеет.

Я, с моей стороны, строил свои расчеты на общем человеколюбии иезуитов, на их привычке считаться со свойствами и положением человека, чем славятся эти отцы. Я побеседовал с некоторыми из них и обратил их внимание на особенности мальчика. Желая еще более настойчиво рекомендовать его их попечению, я указал на положение, которое занимает его отец, но тут же убедился, что этому они не придают никакого значения. Маршал интересуется только военными делами, при этом он добродетелен, не любит интриг, и честь следует за ним по пятам, словно тень. А потому отцам в отношении его не на что было надеяться и нечего было опасаться. При таких условиях я считал нужным снабдить Жюльена более веской рекомендацией и дал благочестивым отцам одно указание...

Здесь рассказчик остановился.

— Ты что-то затуманиваешь, Фагон? спросил король.

— Я к этому еще вернусь,—пробормотал Фагон смущенно.—И тогда тебе, государь, придется простить мне одну вольность. Ну, словом, мое средство подействовало. Отцы старались друг перед другом облегчить ребенку прохождение науки. Он чувствовал себя окруженным теплой атмосферой, его оцепенение проходило, скудные его дарования развивались, мужество его росло, и ему жилось хорошо. Но все это внезапно и резко изменилось.

Приблизительно через полгода после вступления Жюльена в коллегия иезуитов, произошла неприятная история в Орлеане, где отцы имели недвижимость и школу, при чем желали расширить ту и другую.

Четверо братьев из мелко-дворянской семьи владели там имением, которое граничило с недвижимостью иезуитов и на котором они вели общее хозяйство. Все четверо служили в вашей армии, государь, и, как обычно бывает, растратили на свое военное снаряжение, а еще больше в компании богатых товарищей, все небольшие наличные средства и заложили свои земли. Случилось так, что орлеанские иезуиты, посредством скупки всех закладных,

оказались единственными кредиторами четырех дворян и по собственному почину предложили им еще сверх того кругленькую сумму, сроком сначала на три года, после чего, в случае невозобновления договора, надлежало уплатить через год. При этом отцы иезуиты дали дворянам торжественное устное обязательство оставить всю сумму на имении в виде закладной. Они ссылались на то, что только по формальным правилам своего орденового хозяйства не могут выдавать деньги сроком дольше, чем на три года.

Но случилось так, что иезуиты этой общины неожиданно в полном составе были посланы на край света, чуть ли не в Японию, а те, которые заступили их место, разумеется, ничего не знали об устном обещании своих предшественников. Прошло три года. Новые отцы потребовали долг, через год дворяне не могли уплатить, и против них был возбужден процесс.

Благочестивая община уже завладела их землями, но тут поднялся шум. Храбрые братья стали стучаться во все двери, в том числе и к маршалу Буфлеру, который их знал и ценил, как хороших солдат. Он расследовал сделку со свойственной ему серьезностью и основательностью. Решающим моментом было утверждение братьев, что они получили от благочестивых отцов не только устные заверения, но также и целый ряд писем соответственного содержания, вследствие чего они считали себя вполне застрахованными. Но эти письма каким-то непонятным образом исчезли. Правда, сохранились бумаги, сложенные в виде писем, со сломанными, обветрившимися печатами, которые были поразительно похожи на письма отцов. Но на этих бумагах ничего не было написано.

Однажды, зайдя в кабинет маршала, я увидел, как он с обычной для него старательностью ворочал во все стороны эти белые бумажные листки и рассматривал их в лупу спереди и сзади. Я предложил ему доверить мне на час эти листки. Он дал свое согласие, сопровождая его серьезным взглядом.

Государь, вы подарили науке и мне ботанический сад, который делает вам честь. Там среди зелени построили вы мне тихое обиталище на старость лет. Недалеко от этого дома я построил просторную химическую кухню, которую вы мне однажды обещали посетить. Там я подверг эти бумажки действию соответственных,

ученым отцам может быть еще неизвестных, средств. И вот, выпветшие чернила снова появились на свет Божий и обнаружили проделку отцов-иезуитов.

Маршал поспешил с уличающими бумагами прямо к вашему величеству.

Король Людовик медленно потирал лоб.

— У вас он застал отца Лашеза, который был чрезвычайно смущен проступком своих провинциальных братьев по ордену, но тут же указал вашему величеству, сколь вопиюще несправедливо было бы заставить страдать за легкомыслие немногих лиц или одного человека такое многочисленное, благотворное и высоко-нравственное общество. Тем более, что этот единственный виновник, бывший настоятель той общины, как было известно отцу Лашезу из достоверных источников, недавно мученически окончил свою жизнь в Японии, среди язычников, где он был посажен на кол.

Выгоднее всего такой оборот дела был для четырех дворян. Половину долга им простили смущенные отцы, другая половина была погашена из средств великодушной особы.

Король, который был, очевидно, этой особой, сохранял невозмутимый вид.

— Отец Лашез выражал маршалу потом особую благодарность за то, что тот выяснил истину в таком трудном деле и уберег его орден от несправедливого завладения чужим имуществом. А затем он попросил его, как дворянин дворянина, сохранить прежнюю благосклонность к отцам и не выдавать их тайны, что, впрочем, у такого человека, как маршал Буфлер, разумелось само собою.

Маршал, польщенный, пообещал, но почему-то и слышать не хотел о том, чтобы выдать или уничтожить уличающие документы. Отец Лашез сначала прибегал к тонким намекам, потом надоедал настойчивыми определенными требованиями, но ничто не помогало. Не то, чтобы маршал имел какое-нибудь намерение воспользоваться этими опасными письмами против благочестивых отцов, но он их уже присоединил к своим бумагам, на раскладывание и регистрирование которых у него уходит третья часть его времени.

В этом «архиве», как он его называет, остается зарытым все,

что туда как-нибудь попало. Таким образом, из за любви к порядку и педантических привычек маршала над орденом висела постоянная угроза, которой последний не прощал ее неосторожному виновнику. Маршал об этом не имел никакого представления и полагал, что у него самые лучшие отношения с отцами, которых он поощрял.

Я был другого мнения и не скупился на убеждения. Я настойчиво требовал, чтобы он немедленно взял мальчика от иезуитов, ибо затаенная ненависть и скрытая злоба, — чувства, которые обманутая алчность и обнаруженная подлость всегда испытывают против тех, кто их разоблачает, — должны были распространиться по всему ордену, искать себе жертвы и легко могли найти ее в лице невинного мальчика. Маршал с изумлением взглянул на меня, словно я сошел с ума или рассказываю какие-то басни. Откровенно говоря: либо маршал — недалекий человек, либо он хотел величественно сдержать свое слово, хотя бы пожертвовав своим ребенком.

«Послушайте, Фагон, — сказал он. — Какое отношение имеет мой Жюльен к этой истории, случившейся в провинции? Где тут хоть какая-нибудь связь? Впрочем, если отцы будут несколько построже следить за ним, это не повредит. Вы сильно его избаловали. Взять теперь мальчика от иезуитов будет неблагородно. Начнутся разговоры, станут доискиваться причин, может быть, выкопают всю нечистую историю, и я окажусь в положении человека, нарушившего свое слово». Так маршал видел только ореол своей чести, не думая о ребенке, которого он, при жизни, быть может, ни разу не удостоил внимательного взгляда. Мне хотелось отколотить его этим костылем за его благородство.

Случилось то, что должно было случиться. Незаметно, не сразу, не совершая, собственно говоря, никакой несправедливости, отцы-профессора стали прижимать мальчика, в котором ненавидели сына человека, оскорбившего орден. Не все они знали эту грязную историю, и лучшим из них она меньше всего была известна, но все знали одно: маршал Буфлер оскорбил нас, нанес нам вред — и все его ненавидели.

Тонкая отравка мести запомнила залы коллегии. По отношению

к Жюльену исчезла не только всякая предупредительность, но даже простое внимание, которого требовала справедливость. Ребенок страдал. Каждый день и каждый час он чувствовал, что его унижают. Не открытым порицанием и уж, конечно, не бранными словами, которых нет в обиходе у отцов иезуитов. Они делали свое дело тонко и серьезно: просто перестали дружески поддерживать скудную белокурую головку, и нищий духом юноша, получив отказ в милостыне, стыдился своей наготы.

Подталкиваемый честолюбием, которое подсказывало ему отчаяние, ребенок стал насильственно сокращать свой сон, терзать свой мозг и губить свое здоровье. Мне не хочется говорить об этом, это меня слишком возмущает...

Фагон сделал паузу и вздохнул.

Король воспользовался перерывом и спокойно заметил: — Фагон, мне представляется сомнительным, чтобы все это соответствовало действительности. Молчаливый заговор ученых и разумных людей против ребенка, злобная ненависть целого общества против такого, в сущности, безопасного человека, каким является маршал, который к тому же рыцарски обошелся с обществом. Тебе мерещатся призраки, Фагон. Ты являешься здесь стороной, и кто знает, может быть, у тебя, кроме унаследованного предрассудка против ордена, имеется к нему еще личная вражда.

— Кто знает... — пробормотал Фагон.

Он побледнел, насколько еще мог бледнеть, и глаза его пылали. Маркиза испугалась и тихонько толкнула своего протеже в локоть, но он не почувствовал прикосновения предостерегающей руки. Г-жа де-Ментенон знала, что резкий старик, когда он бывает раздражен, совершенно выходит из себя и говорит невероятные вещи даже самому королю, который, правда, прощал долголетнему и глупокому знатоку физических свойств своей особы то, чего никогда не простил бы кому-нибудь другому.

Фагон дрожал, он бормотал бессвязные фразы, и слова его стремительно обгоняли одно другое, как воины, бегущие за оружием.

— Ты не веришь, государь, ты, знаток сердец человеческих, не веришь, что отцы иезуиты, в ненависти своей, готовы уничто-

жить всякого, кто сознательно или бессознательно оскорбил их. Ты не веришь, что для этих отцов не существует ни истины, ни лжи, ни добра, ни зла, ничего, кроме их ордена. — Фагон злобно рассмеялся: — Ты не хочешь этому верить, государь.

Скажи же мне, король, так хорошо знающий действительность, — продолжал бушевать Фагон, уклоняясь от темы, — раз уже зашла речь о достоверности: ты, может быть, не веришь, что в твоём королевстве при обращении протестантов применяется сила?

— Вопрос этот, — ответил король, очень серьезно, — будет первой из дозволенных тебе сегодня трех вольностей. Я отвечу тебе на него. Нет, Фагон, за исключением ничтожного числа случаев, при обращении протестантов не применяется насилие, ибо я раз навсегда категорически воспретил это, и мои приказы исполняются. Никакого принуждения совести нет. Истинная религия в настоящее время одерживает во Франции победы над сотнями тысяч людей силою внутреннего убеждения.

— Благодаря проповедям отца Бурдалу? — резко и насмешливо спросил Фагон. Затем он умолк. С выражением ужаса в глазах взирал он на это крайнее ослепление, эту непреодолимую стену предрассудков, это полное отрицание истины. С чувством затаенного страха смотрел он некоторое время на короля и его жену.

— Государь, — сказал Фагон, — не подумай, что я являюсь здесь заинтересованной стороной и что во мне говорит кровь моих протестантских предков. Я порвал с почтенною церковью. Почему? Потому что, за исключением Бога, с которым я не расстаюсь и которого прошу не покинуть меня на старости лет, я о всех религиях и вероисповеданиях держусь того мнения, которое высказано в стихе Лукреция...

Ни король, ни г-жа Ментенон не знали этого стиха, но они догадывались, что там были высказаны не особенно благочестивые мысли.

— Знаете вы, государь, отчего умер мой отец? — тихо спросил Фагон. — Это осталось тайной, но вам я ее доверю. Он был кротким человеком и скудно, но честно кормил себя, жену и детей, — из которых я калека, был шестым, — тем, что продавал в Оксере свои лекарственные снадобья. В Оксере здоровый климат и масса аптек.

Местные жители, ревностные католики, любили моего отца, желали ему всяческого блага и жаждали вернуть его в лоно церкви, но не насильно, ибо, ведь, как вы сказали, государь, нельзя насиловать совесть. А потому они, стоворились ничего не покупать в кальвинистской аптеке. Отец мой лишился хлеба, и мы голодали. Отцы иезуиты проявляли при этом, как и всегда, наибольшее старание. Тогда у него начался внутренний разлад. Он отрекся от кальвинизма, но так как резкие догматы учения Кальвина не легко выходят из головы, в которой они засели с детства, то бедняга скоро стал считать себя Иудой, предавшим своего Господа, и покончил с собой, по его примеру.

— Фагон, — с достоинством сказал король, — ты бранил бедного патера Телье за безтактную речь о его отце, а теперь ты сам говоришь так же жестоко и цинично о своём собственном отце. Не следует срывать покрывала с печальных явлений.

— Государь, — возразил врач, — вы правы, и в вопросах приличия вы для меня, как для всякого француза, являетесь законом. Но в этом мире лжи можно поддаться настроению и со злости, нечаянно, сорвать покрывало с кровавого события, хотя бы даже с самого мучительного...

Но, государь, я слишком рано воспользовался первой своей вольностью, и, право, у меня есть охота сейчас же воспользоваться и второй.

По изменившимся чертам врача маркиза поняла, что гнев его отошел и что после такой вспышки в этот вечер уже не придется опасаться повторения.

— Государь, — почти легкомысленно сказал Фагон, — знали ли вы когда-нибудь вашего подданного, художника Мутона, рисующего зверей? Вы отрицательно киваете головой, так разрешите же мне представить вам этого артиста, который не годился в придворные, но которого нельзя выкинуть из моей истории. Правда, я его представляю не собственной персоной, с дырявой шляпой, обломанной трубкой в зубах — я и сейчас слышу запах его скверного табака, — в одной жилетке и в чулках, опустившихся за отсутствием подвязок. Это и невозможно, ибо он лежит в могиле. Государь, вы не любите голландских мастеров, не любите

их кермесс, изображенных на полотнах, не любите и их самих с их необузданностью. Так знайте же, ваше величество, у вас был художник из Пикардии, который, по правдивости своей кисти и непринужденности своих манер, был больше голландцем, чем сами голландцы.

Этот Мутон, государь, жил среди нас, рисовал своих пасущихся коров и овец, окутанных облаком пыли, не имея никакого представления о всем великом и возвышенном, что создано твоим веком. Он не знал твоих поэтов, не знал даже по имени твоих епископов и проповедников, оставался в стороне от всего. О твоих государственных деятелях Кольбере, Лионне и других — Мутон не имел ни малейшего представления. Из твоих полководцев — Конде с птичьим лицом, Тюренна, Люксанбур и внука прекрасной Габриели — Мутон знал только последнего, потому что в замке Ано он размалевал по его заказу залу невероятными наглыми картинами, изображающими охоту на оленей. Вандом любил Мутона, а тот, когда хотел похвалить своего благодетеля-герцога, называл его — разрешите произнести в вашем присутствии это слово — скотиной. Знал ли Мутон того, кто является солнцем нашего времени, знал ли он о твоем существовании? Трудно даже поверить, но быть может, он не знал даже твоего имени, того имени, которое заполняет весь мир и всю историю, хотя изредка ему попадались в руки золотые с твоим изображением. Но Мутон не умел читать, так же, как не умел его любимец, другой Мутон.

Этот второй Мутон, умный пудель, с большой головой и чрезвычайно сообразительными глазами, над которыми пучками свисали со лба черные косматые волосы, был, несомненно, в пределах своей природы, самым одаренным из троих моих гостей. Дело в том, что Жюльен Буфлер, о котором я рассказываю, Мутон-человек и пудель Мутон часто с удовольствием просиживали у меня по целым часам.

Вы знаете, государь, что отцы иезуиты не скупаются на капикулы, потому что учеников их, которые принадлежат к знатым и даже высокопоставленным кругам, часто приглашают на охоты, представления и другие забавы к себе домой или в гости. Правда, не всех. Поэтому я иногда приглашал Жюльена, которого отец

его, маршал, по правилу, редко звал к себе домой. Я зазывал его к себе в ваш ботанический сад, где меня часто навещал Мутон, который среди растений или зверей чувствовал себя как дома. Песколькими решительными чертами набрасывал он на бумаге какую-нибудь ученую сову или забавную обезьяну, а иногда, если была охота и хорошее настроение, изрисовывал мне целую комнату своими испуганными лошадьми или коровами у водопоя. Я дал Мутону ключ от мансарды и от ближайшей калитки в заборе, чтобы предоставить бродяге угод, где он мог бы пристроить свой мольберт и папки. Он, бывало, появлялся у меня и исчезал, когда ему вздумается. Однажды, в один из прохладных и бодрящих дождливых летних дней, тех дней, когда так незаметно, но быстро возрастают природа и дух, я сидел в своей библиотеке, смотрел поверх очков и раскрытого предо мною фолианта через высокое окно на расположенную напротив мансарды пристройку, где находилось гнездо Мутова. Там я увидел белокурую голову мальчика, в радостном напряжении наклонившуюся над мольбертом, а за нею кивала неуклюжая голова Мутона, и волосатая рука художника направляла тонкую руку юноши. Не было никакого сомнения, — то был урок живописи. Пудель Мутон сидел рядом на высоком стуле, покрытом красной подушкой и сочувственно смотрел умными глазами, как бы вполне одобряя эту прекрасную забаву. Я положил закладку в книгу и отправился в мансарду.

Из за моих войлочных туфель веселые рисовальщики не слышали, как я вошел, и только пудель Мутон заметил меня, но, не сходя с подушки, ограничил свое приветствие усиленным вилянием хвоста. Я тихо опустился в кресло, чтобы послушать самую странную беседу, которая когда либо велась в вашем ботаническом саду. Но сначала я из моего угла взглянул на картину, стоявшую на мольберте и распространявшую запах щедро налипанных свежих масляных красок. Что изображала эта картина? Ничего: вечернее настроение, тихую речку, отражавшую клочья розовых облаков, и мост, обросший мохом. В реке стояли две коровы, одна пила, а другая пребывала в созерцательном настроении, и вода стекала у нее с морды. Разумеется, главными своими достоинствами картина была обязана Мутону. Но мальчик уже обнару-

живал умение владеть кистью,—это могло быть результатом только уроков, взятых у Мутон без моего ведома. Велики или малы были усвоенные им познания, но уже одна иллюзия успеха, участие в работе гения, в счастливом, свободном от мук созидании, в смелом и произвольном творчестве,—то, о чем раньше этот мальчик, лишенный фантазии, не имел никакого представления и что ему казалось чудом,—все это, после стольких шелчков самолюбия, приводило его в блаженное состояние. Кровь играла на его целомудренных щеках, и старание окрыляло его руку. Нельзя было себе представить ничего более трогательного, и я испытывал истинную отеческую радость.

Тем временем Мутон объяснял мальчику широкие формы и неуклюжие движения пасущейся коровы и закончил свои объяснения, заявив, что ее превосходит в совершенстве только фигура быка. Это—высшее, что создал Творец. Собственно говоря, он сказал «природа», а не «Творец», ибо о последнем он не имел никакого представления, так как был лишен воспитания и вырос вне катехизиса.

Небольшой радости уже было достаточно, чтобы врожденная веселость забила ключем в мальчике. Почтительный отзыв Мутон о рогатом скоте показался ему смешным, и Жюльен невинно рассказывал:

— Сегодня утром отец Амиель говорил нам на уроке, что древние египтяне воздавали божеские почести быку. По моему, это смешно.

— Чорт подери,—с увлечением сказал художник,—они были правы. Умные люди эти скоты. Неправда ли, Мутон? Что? Нет, ты мне скажи, Жюльен, разве бычачья голова по своей мощи и грозному величию не производит впечатления более божественного,—если уже употреблять это глупое слово,—чем треугольник, или голубь, или пошлое человеческое лицо? Не правда ли, Мутон? Ты это и сам сознаешь, Жюльен. Если я говорю, пошлое человеческое лицо, то я, конечно, не имею в виду носа отца Амиеля. К нему я испытываю полное уважение.—И Мутон, нарисовав, впрочем, без всякой насмешки, одним дерзким движением кисти, на еловой доске мольберта нос, но такой чудовищный и огромный, что он невольно вызывал смех.

— Это показывает,—продолжал он совершенно серьезно,—что природа не стоит на месте. Ей доставило бы удовольствие сделать иногда что-нибудь новое. Но уже поздно. Сил на это не хватает.

— Отец Амиель вряд ли будет благодарен природе за свой нос. Он делает его смешным и заставляет терпеть всякие неприятности от моих товарищей,—робко заметил мальчик.

— Они еще мальчишки,—великодушно заметил Мутон,—им еще недоступно величественное. Да, кстати, скажи, Жюльен, почему это, когда я недавно навестил тебя в школе, чтобы передать рисунки, я нашел тебя в обществе малышей, все только мальчиков лет 13—14-ти. Разве это дело для тебя, когда у тебя уже растет пушок на губах и имеется возлюбленная?

Этот неожиданный вопрос вызвал на лице юноши борьбу двух чувств, стыдливо скрываемого счастья и глубокого горя, при чем преобладало последнее. Жюльен вздохнул.

— Я отстал,—пробормотал он,—невольно употребив выражение, которое имело двоякий смысл.

— Глупости,—выбрался Мутон.—В чем отстал? Разве ты для твоих лет не обладаешь хорошим ростом, стройностью, красотой? Если тебе не по душе науки, это свидетельствует только о твоём здравом смысле. Клянусь честью, будь у меня борода или даже хоть пушок на губах, я не стал бы сидеть с мальчишками, а просто взял бы и убежал.

— Но, Мутон,—сказал юноша,—мой отец, маршал, потребовал, чтобы я просидел еще год с малышами. Он просил, чтобы я сделал это для него.

— Он произнес эти слова с нежным выражением покорности и почтительной любви. Я был тронут этим, хотя вместе с тем сердился на маршала, злоупотребляющего обожанием своего ребенка, и, кроме того, был чрезвычайно недоволен еще тем, что Жюльен, такой молчаливый со мною и со всеми другими, оказывал доверие Мутону и раскрывал все свои тайны этому полуживотному. Я был неправ: ведь и мы, взрослые, рассказываем верному животному, которое кладет нам свои лапы на колени, про наше горе, и вполне естественно, что все обиженные природой

ищут себе общества среди низших, а не среди равных себе, со стороны которых они чувствуют пренебрежение и сострадание.

— Знаешь что, — продолжал Мутон, помолчав немного, при чем другой Мутон наострил уши. — Ты уже теперь не плохо рисуешь скотину и каждый день делаешь успехи. Я возьму тебя с собой на юг в качестве подмастерья. У меня есть заказ в замке Гриньян. Эта самая, как ее — эта толстая веселая баба, — да, Севинье, посылает меня к своему зятю, который где-то там губернатором. Отправляйся со мной, будешь кормиться сливками, сколько влезет, жить, как птица небесная, не заглядывать в книги и тетрадки и оставишь своего маршала в покое. Твоя холодная голубоглазая знатная подруга тоже тут останется, или ты думаешь, шельмец, я не видел третьего дня, когда наш старикашка-лекарь был в Версале, ты стоял у обезьян, вместе с этой старушенцией и высокой голубоглазой куклой? Мы уж ее там заменим чем-нибудь коричневым — загорелым.

Последние слова, которые звучали еще более цинично, возмутили меня, хотя я знал, что этому мальчику они не могли причинить вреда. Я сильно кашлянул. Жюльен почтительно поднялся, чтобы поклониться мне, а Мутон, нисколько не обнаруживая смущения, пробормотал в бороду:

— А, этот!

Мутон был совершенно неблагодарный человек.

Пока Мутон продолжал весело малевать, я взял мальчика с собою в сад и спросил, действительно ли этот циник навел на него в коллегии, что мне, по вполне понятным причинам, было неприятно. Жюльен подтвердил и признался, что ему досталось от товарищей за то, что он при них во дворе пожал руку Мутону, у которого из дырявых рукавов высывались локти, а из сапог выглядывали пальцы.

— Но я все-таки сделал это и проводил его до улицы, — сказал Жюльен, — потому что я должен быть ему благодарен за уроки и за веселые часы, которые с ним проводил. Я очень люблю Мутона, несмотря на его нечистоплотность.

Так говорил мальчик, не придавая этому никакого значения, и я вспомнил сцену, которую наблюдал недавно с балкона коллегии,

выходящего на двор, когда меня позвали туда к больному ученику. Я долго не мог оторваться от этой сцены. Внизу происходил урок фехтования, и преподаватель, старый сержант со шрамами на лице, много лет служивший под командою маршала, обращался с сыном своего полковника, — который только что еще сидел на школьной скамейке рядом с детьми, — с такой чрезвычайной почтительностью, словно он ожидал от него приказаний, а не собирался приказывать ему.

Жюльен дрался на рапирах превосходно, можно сказать — благородно дрался. В долгие часы зубрения мальчик привык механически вертеть кистью руки, благодаря чему она стала чрезвычайно гибкой. К тому же у него был меткий глаз и уверенный удар. Поэтому он стал первоклассным фехтовальщиком. Верхом он тоже ездил очень хорошо. Мальчик, которого всюду унижали, рисковал соблазниться возможностью дать почувствовать товарищам свое единственное преимущество, чтобы таким образом приобрести престиж. Но он пренебрегал такими средствами. С одинаково рыцарской вежливостью обращался он во время этих упражнений с ловкими и неловкими фехтовальщиками. С первыми никогда не вступал в азартное соревнование, а над вторыми никогда не издевался и порою даже великодушно давал себя уколоть рапирой, чтобы ободрить противника.

Таким образом, он незаметно и деликатно установил на уроках фехтования то равенство, которого сам он, к своему крайнему пригорю, был лишен на уроках. Среди товарищей он не пользовался уважением, завоеванным при помощи кулака, но за то к нему проявляли почтительность, связанную с робостью и вызываемую его необъяснимой добротой, при чем, правда, сюда еще присоединялось сострадание по поводу его слабых успехов во всем остальном, чувство вообще редко доступное молодежи. Несчастия, которые многих ожесточают, только воспитали и облагородили его душу.

Прогуливаясь с Жюльеном по вашему саду, государь, я подошел к клеткам, где за решетками сидят дикие звери. Только что туда загнали волка, который, сверкая глазами, порывисто и неуключе метался по своей тюрьме. Я указал на него мальчику, но

тот, бросив беглый взгляд на беспокойное животное, вздрогнул и отвернулся. Плоский череп, лживые глаза, отвратительная морда и коварно сжатые зубы могли испугать человека. Но мальчик, побывший не раз на охоте, был не из пугливых.

— Что с тобой, Жюльен? — с улыбкой спросил я. — Он смущенно ответил: — «Это животное напоминает мне кого-то...» — Но прервал свою речь, так как на недалеком расстоянии от себя мы увидели двух знатных дам, привлечших наше внимание: чрезвычайно подвижную старушку и с ней молодую девушку. Старушка была графиня Мимэр, вы помните ее, государь, хотя она уже несколько десятков лет избегает появляться при дворе, не по нерадению, ибо она бесконечно обожает вас, а потому что, как она выражается, не хочет своими морщинами оскорблять ваше художественное чувство. Уродливая и остроумная, как я, всегда с костью, эта оригинальная и хорошая женщина внушала мне симпатию.

— Здравствуй, Фагон, — приветствовала она меня, — пришла посмотреть на твои травы и попросить у тебя несколько кустов ревеня для моего сада в Нейли. Ты, ведь, знаешь, я тоже немного занимаюсь врачеванием. И она взяла меня под руку. Поздоровайтесь, дети, что вы притворяетесь, будто никогда не видели друг друга.

Робкий Жюльен без смущения приветствовал девушку, которая подала ему кончики пальцев. Меня это удивило и порадовало. «Мирабелла Мирамион, — назвала мне ее графиня, — не правда ли, великодушное имя, Фагон?»

Я посмотрел на хорошенькую девушку и сразу вспомнил о той голубоглазой возлюбленной, которою Мутон поддразнивал мальчика. Действительно, у нее были большие голубые умоляющие глаза, спокойные нежные краски на лице и еще не вполне развившаяся фигура, ни о чем не говорившая, кроме как о нежной душе.

Детским, серебристо-звонким голосом, который проникал в самую душу, она следующими словами приветствовала меня, когда графиня сказала ей, что я лейб-медик короля.

— О, первый из врачей и естествоиспытателей, кланяюсь вам

в этом всемирно-известном саду, который в знак милости могущественнейшего повелителя, именем коего называется наше столетие, вы получили в его многолюдной и замечательной столице.

Я был так огорошен этой широковещательной, устаревшей риторикой, исходившей из маленьких, свежих, как весна, уст, что позволил вмешаться старушке, которая добродушно ворчливо начала бранить девушку.

— Да оставь, Белочка. Фагон готов подарить тебе конец твоей речи. Тут мы среди друзей, лия мое, ибо Фагон принадлежит к их числу и не станет издеваться. Но, ведь, сколько раз я тебе говорила за эти три недели, что ты находишься у меня, чтобы ты оставила эту проклятую провинциальную манеру выражаться пышными фразами. Так не говорят. Здесь перед тобой не первый из врачей, а просто г. Фагон, ботанический сад — просто ботанический сад, или сад с лечебными травами, или королевский сад. Париж — просто Париж, а не столица, а король довольствуется тем, что его называют королем. Запомни это. — Рот девушки болезненно искривился, и маленькая слеза скатилась по ее цветущей щеке.

Но тут, к моему изумлению, Жюльен в крайнем возбуждении обратился к старухе:

— Простите, графиня, — сказал он смело и резко, — риторика обязательный предмет и очень трудный. Я изумлен, как пышно выражается m-elle Мирамион, и если бы ее слышал отец Амиель...

— Отец Амиель, — и графиня так расхохоталась, что у меня заныла барабанная перепонка. — У отца Амиеля нос, но такой нос, — всему миру нос! Ты представь себе, Фагон, нос, перед которым пасует сам аббат Жене. Спросишь, зачем я была в коллегии? Я увозила оттуда моего племянника — ты ведь знаешь, Фагон, у меня нашее дети двух скончавшихся сестер, так вот, я приехала за племянником Гонтраном — бедным мальчиком. И пока нужно было поджидать возвращения отца Телье, начальника коллежа, меня провели в класс риторики к отцу Амиелю. О, Боже мой, Боже мой, — графиня держалась за свой колыхавшийся живот, — вот натерпелась я, сдерживая хотот. Сначала он изображал кончающую с собою римскую женщину. Патер заколол себя линейкой, потом

он сложил рот сердечком и шепнул: «Нет, это не больно». Но это еще были пустяки по сравнению со сценой, изображавшей Клеопатру, умирающую от укуса змеи. Отец приставил линейку к левой груди и закатил глазки. Это надо было видеть, Фагон... Ой! — внезапно закричала она так пронзительно, что я вздрогнул. — Да, ведь, это отец Телье, — и она указала на волка, который находился от нас в двадцати шагах. — Право, это отец Телье, как живой. Уйдем от противных зверей, Фагон, к твоим благоухающим травам. Дай мне руку, Жюльен.

— Простите, графиня, — спросил он, — почему вы назвали Гонтрана бедным мальчиком? Ведь он теперь в армии и, может быть, уже удостоился чести носить знамя короля.

— Ах! — застонала графиня, с внезапно изменившимся лицом, и слезы горя заменили слезы, выступившие раньше от хохота.

— Почему я назвала Гонтрана бедным мальчиком? Потому, что нет его больше в живых, Жюльен. Сдунуло его. За этим я и пришла в сад. Я рассчитывала тебя найти здесь и сказать, что Гонтран пал в бою. И ты подумай только: на следующий же день после его приезда в армию. Ему сейчас же дали назначение, и он повел патруль с такой отвагой и так бестолково, что его разорвало ядро, совсем как недавно маршала Тюренна. Ты только подумай, Фагон: мальчику не минуло еще и 16 лет, но его тянуло из коллежа, где он учился хорошо и быстро. Он во сне и на яву мечтал о ружье. А при этом он был так близорук, Фагон, что ты не можешь себе даже представить. Так близорук, что на двадцать шагов впереди пред ним все сливалось в тумане. Разумеется я и все благоразумные люди советовали ему не идти на военную службу. Но это не помогало, потому что у него на редкость упрямая голова. Я, как мать, ссорилась с мальчиком, но в один прекрасный день он сбежал от меня и помчался к твоему отцу, Жюльен, который в это время как раз сидел в коляску, чтобы отправиться к своей армии, которой он командовал на голландской границе. Он спросил мальчика — как он мне сам об этом теперь написал, — есть ли у него отец? А когда мальчик сказал, что нет, то маршал разрешил ему поехать с его свитой. Ну, а теперь смелый мальчишка гниет там, — она указала рукою на

север, — в какой-нибудь бельгийской деревушке. За то скудные доли в наследстве его пяти сестер несколько увеличились.

По лицу Жюльена я видел, какие глубокие и разнородные чувства волновали его в связи со смертью товарища. Маршал взял его с собой на войну, а собственного сына заставлял сидеть на противной школьной скамье. Но мальчик так слепо верил в справедливость отца, даже когда не понимал ее, что это облако быстро сошло с его молодого лица и сменилось определенным выражением радости.

— Ты улыбаешься, Жюльен! — с ужасом воскликнула старуха.

— Я полагаю, — задумчиво сказал он, как бы смакуя каждое слово, — что смерть за короля, есть, во всяком случае, счастье.

Это рыцарское изречение не свидетельствовало о жизнерадостности, а неестественно блаженный тон, которым мальчик произнес свои слова, произвел тяжелое впечатление на добрую графиню. Со вздохом, слегка подавленным, она показала, что понимает страдания мальчика, у которого так мучительно сложилась жизнь.

— Пойди с Мирабеллой, Жюльен, — сказала она, — отправьтесь вперед, туда к пальмам, не слишком близко, потому что мне нужно поговорить с Фагоном, и не слишком далеко, чтобы я могла вас видеть.

— Как стройно они идут, — прошептала старуха, вслед уходящим. — Адам и Ева. Не смейся, Фагон. Хотя девушка в пудре и фижмах, они всетаки шествуют, точно в рай. К тому же они невинны, потому что у обоих молодые годы оказались полны страданий, что позволяет им испытывать чувство чистой любви без ее терний. Меня даже не оскорбляет, что девушка немного старше и выше юноши, хотя обыкновенно мне это не нравится. Если они не созданы друг для друга, то кто же?

С этой девушкой вышла очень смешная история, Фагон. Я видела, как ты был ошеломлен, когда милое дитя обратилось к тебе с такой безвкусной речью. А между тем, этот горб вырос у нее совершенно естественно. Моя сестра виконтесса, помани Господи ее душу, была «жеманницей», которая опоздала родиться на 50 лет. Она воспитывала свою девочку в Дижоне, где муж ее был предсе-

дателем парламента, а она сама управляла «поэтическим садом», где в ходу было красноречие в стиле покойной девицы Скюдери. Она сумела основательно испортить вкус бедному послушному ребенку. Держу пари,—она указала костылем на парочку, которая сужда по их нежно, но скромно склонившимся друг к другу фигурам, переживала блаженный миг,—держу пари, что она сейчас совершенно непринужденно беседует с мальчиком, потому что у нее простая душа и целомудренная натура. Воздух, который она выдыхает, чище того, который она вдыхает. Но если она отправляется со мною в большое общество и оказывается за столом рядом с каким-нибудь крупным зверем, вроде архиепископа или герцога, тогда ее охватывает смертельный страх, что она покажется пустой и ничтожной, и вот, из страха она закутывает себя во всякое фразистое тряпье, и, таким образом, эта милая девушка становится в нашей среде, где все говорят ясно и коротко, как раз именно тем, чем она боится показаться—комической фигурой. Прямо—беда, и придется не мало мне потрудиться, прежде чем я внушу ей правильные понятия. А этот глупец Жюльен еще поддерживает ее! Ох!—вздыхнула графиня,—ей трудно было ходить, опираясь на костыль, и она грузно опустилась на каменную скамейку в беседке, украшенной миртами и лаврами, где стоит ваш бюст, государь.

— Кстати, Фагон, о юноше,—снова начала она,—ты должен немедленно убрать его со школьной скамьи. Это было возмутительно, понимаешь, возмутительно, когда я застала его там среди мальчиков. Педант маршал будет его держать у иезуитов, пока он не заплесневеет! Только, чтобы он окончил курс! Ты подумай, Фагон, у иезуитов! Я осторожно завела об этом разговор с отцом Амием. Сделала комплимент его мимике. Он тщеславный осел, но добрый человек. Он пожалел Жюльена и заметил, хотя очень осторожно, но все же достаточно ясно, что мальчику плохо приходится у отцов иезуитов. Они, как он сказал, конечно, прекраснейшие люди, но несколько самолюбивы, и их нельзя дразнить, а маршал наступил им на ногу. Новый начальник, по словам Амиеля, не любит шуток, когда дело касается чести ордена, и мальчику—по его словам—приходится отвечать за грехи отца. Потом он сам

испугался своей откровенности, стал озираться вокруг и приложил палец ко рту.

Я забрала с собой мальчиков: Гонтрана, нашего Жюльена, у которого была с ним какая-то общая тайна, и еще третьего приятеля—Виктора Аржансона. Этого уже для моего собственного развлечения, потому что он—сплошной задор и смех.

В этот вечер он особенно неистовствовал. Вместе с Гонтраном они совсем затравили Мирабеллу, которую я еще днем выбранила за невероятно длинную фразу. «Прекрасно сказано, мадемуазель Мираболланта, издевались они, но всетаки еще недостаточно красиво! Еще одной нотой выше!» И так без конца. Жюльен защищал девушку по мере сил, но этим вызывал только еще больше смеха. Вдруг обиженная залилась слезами. Тогда я прогнала мальчишек в большой зал и начала с ними играть в мяч, а чрез некоторое время, когда я пошла искать Жюльена и Мирабеллу, я нашла их в саду, где они сидели на укромной скамеечке: Амур и Психея. Они покраснели при моем появлении, но не очень.

Так смотри же, Фагон, я считаю Жюльена теперь своим приемным, и если ты его не освободишь от отцов иезуитов и не создашь ему сносных условий жизни, то, клянусь честью! я отправлюсь на этих костылях в Версаль и, несмотря на мои морщины, доберусь со своим ходатайством до него!—и она указала, государь, на твой бюст, украшенный лавровым венком.

Старуха говорила мне еще много всякой всячины, а я тем временем принял решение, как только распрощаюсь с ней, основательно побеседовать с мальчиком.

Он вскоре появился вместе с девушкой, и оба они тихо сияли. Коляска графини была подана, Жюльен проводил дам до ворот, а я уселся на своей любимой скамейке перед оранжереей и наслаждался ее ароматом. Мутон, дымя отчаянным табаком, прошел мимо меня, не кланяясь и заложив руки в карманы. Он обычно заканчивал свои вечера в каком-нибудь кабаке. Зато пудель Мутон усиленным вилянием хвоста выразил мне свое почтение. Я уверен, что умное животное понимало, что я с радостью готов был спасти его хозяина от гибели, ибо человек-Мутон пил горь-

кую, о чем я забыл или постеснялся сообщить вашему величеству.

Мальчик вернулся, мечтательно настроенный и счастливый.

— Покази-ка твои рисунки, — сказал я. — Ведь, наверное, все лежит в комнате у Мутона. Он согласился и принес мне целую пачку рисунков. Я стал их рассматривать. Странное зрелище представляло это сочетание двух неодинаковых рук. Дерзкие наброски Мутона, повторенные скромною рукою юноши и слегка облагороженные им! Долго рассматривал я синий лист, на котором Жюльен с невероятной тщательностью воспроизвел несколько пчел, нарисованных Мутонем, при помощи лупы, в различных позах. Видно было, что мальчик полюбил этих маленьких насекомых. Кто бы сказал, что изображение пчелы погубит его!

На дне пачки лежал еще какой-то лоскут, на котором Мутон намалевал рисунок, привлечший мое любопытство. «Это не мое, — сказал Жюльен: — Это случайно попало». Я рассматривал рисунок, изображавший причудливую пародию на сцену из Овидия, ту, где Пентей мчится, преследуемый Менадами, а жестокий Вакх, желая погубить бегущего, воздвигает перед ним отвесную гору. По всей вероятности, Мутон случайно присутствовал при том, когда Жюльен, иногда приготавливавший свои уроки у него в комнате, с трудом переводил Овидия, и отсюда он заимствовал сюжет для своего рисунка. Стройный юноша, несомненно, Жюльен, формы которого глаз художника Мутона знал лучше, чем он сам, бежал, повернув голову, с выражением смертельного ужаса, по направлению к преследовавшим его призракам. То были не вакханки, а женщины неопределенного возраста, какие-то воплощения страха и мучительных мыслей. У одного из этих чудовищ была длинная пезуитская шляпа на бритой голове, а в руках — фолиант. И тут же эта отвесная скала, дикая, неприступная, которая, казалось, выросла у вас на глазах, подобно мрачному року!

Я взглянул на мальчика. Жюльен смотрел на рисунок без отвращения и, повидимому, не понимая, какое значение может он иметь. Пожалуй, и Мутон не сознавал, какое ужасное предсказание бессознательно набросал он на бумаге в виде гениального вымысла. Я невольно запрятал этот рисунок между другими, прежде чем вложить их все в пачку.

— Жюльен, — начал я дружеским тоном, — я обижен, что ты предпочел мне Мутону и сделал его доверенным своих тайн, между тем как по отношению ко мне ты замыкаешься в непонятное молчание, хотя и знаешь, что я хорошо отношусь к тебе. Неужели ты боишься рассказать мне о твоём несчастии только потому, что я в состоянии ясно определить его размеры и правильно его оценить. Неужели вместо этого ты предпочитаешь расходовать свои силы на безнадёжные и мрачные размышления? Ведь это свидетельствует о недостатке мужества.

У Жюльена болезненно исказилось лицо, но еще раз луч испытанного сегодня блаженства озарил его. — Господин Фагон, — сказал он, слегка улыбаясь, — в сущности, я рассказал мое горе только пуделю-Мутону.

Такого изящного замечания я никак не ожидал от него. На моем лице выразилось изумление, но мальчик этого не понял, и ему показалось, что он неудачно выразился. — Спрашивайте, господин Фагон, — заметил он: — Я расскажу вам всю правду.

— Тебе тяжело живется?

— Да, господин Фагон.

— Тебя считают ограниченным, и это правда, но только не в том смысле, как думают окружающие. — Жестокое слово было сказано.

Мальчик опустил белокурую голову на руки и тихо заплакал. Я заметил это только, когда увидел, что слезы текут у него между пальцами. Но все-таки плотина была прорвана.

— Я расскажу вам свое горе, господин Фагон, — всхлипнул он, поднимая лицо.

— Сделай это, дитя мое, и будь уверен, что теперь, когда мы стали друзьями, я буду защищать тебя, как самого себя. Никто больше не посмеет тебя обидеть. Ты снова будешь радоваться солнцу и свету и делать свое дело без страха.

Мальчик поверил мне. В глазах его засветилась надежда, и он стал рассказывать о своем горе, как о чем-то, уже отошедшем в прошлое.

— У меня был один очень плохой день. Впрочем, другие были не многим лучше. Это было осенью, когда я отправился с Гон-

траном к его дяде, магистру ордена, в Компьень. Мы хотели там поупражняться в стрельбе. Это было для нас новое развлечение, и в то же время испытание нашего зрения.

У нас была легкая парная коляска. Мы ехали среди облаков пыли, и Гонтран излагал предо мною свои планы на будущее. Он допускал только военную карьеру. Ничто другое его не привлекало. Магистр принял нас радушно, но Гонтрану не сиделось, пока мы не отправились на стрельбище. Там он ни разу не попал в цель, потому что страшно близорук. Он кусал себе губы, ужасно волновался, но от этого рука его становилась все менее твердой, между тем как я попадал в черный кружок, потому что ясно видел и спокойно целился. Магистра зачем-то позвали, и Гонтран послал лакея за вином. Он опрокинул несколько стаканов, и рука у него стала дрожать. С выпученными глазами и искаженным лицом бросил он свой пистолет на траву, потом снова поднял его, зарядил свой и мой и отправился со мной в гущу парка. Там на полянке он взял один пистолет себе, а другой предложил мне.—Я хочу покончить с собою!—вскричал он в отчаянии.—Я слеп, а слепые не годятся для военной службы. Но если я не гожусь, то не хочу жить! Ты должен сопровождать меня! Ты тоже не годишься для жизни, хотя и великолепно стреляешь. Но ты самый большой дурак на свете, всеобщее посмешище!—А что скажет Бог?—спросил я.—Хорош этот Бог!—презрительно рассмеялся он, погрозив кулаком небу:—Меня он наделил охотой к военной службе и слепотой, тебя наградил телом и не дал ума!—Мы стали бороться. Я обезоружил его, и он бросился в кусты.

С тех пор я стал несчастным человеком, ибо Гонтран высказал то, что я знал, но скрывал от самого себя, пока это было возможно. Мне стало постоянно казаться, что сзади меня кто-то проносит слово «дурак». На улице, в школе. Уши мои изошрились, улавливая это жестокое слово. Возможно, что мои товарищи, на которых вообще у меня нет основания жаловаться, называют меня так только для краткости, когда думают, что я их не слышу. Даже женщина, продающая булки, Лизетта с хитрым, морщинистым лицом, которая сбывает свой товар у нашей коллегии, старается надуть меня, и часто чрезвычайно грубо. Она позволяет себе это

потому, что слышит, как меня называют дураком. А между тем, на стене в коллегии висит распятие Спасителя, который пришел к нам проповедывать справедливость по отношению ко всем людям и милосердие к слабым. Он умолк и, повидимому, призадумался.

Потом он продолжал.—Я не хочу себя изображать лучше, чем я есть на самом деле, господин Фагон. У меня тоже бывают дурные мысли, но я никогда не позволил бы себе в какой-нибудь игре несправедливо распределить свет и тень. Как же может Бог привязать гири к ногам человеку, бегущему с другими на переконку, и сказать ему:—«Вот там цель. Беги с ними вместе!» Часто, господин Фагон, я перед сном страстно умолял Господа Бога, чтобы то, что я с трудом только что выучил, укрепилось и выросло ночью в моей голове. Другим это дается от природы, я же просыпался и ничего не помнил. И солнце пугало меня.

Может быть,—робко прошептал он,—я не прав по отношению к Господу Богу. Может быть, в доброте своей он охотно помог бы мне, но он не всегда в силах это сделать. Возможно это, господин Фагон? Когда мне приходилось очень плохо, меня во сне посещала мать и говорила:—«Крепись, Жюльен! тебе еще будет хорошо!»

Эти невероятно наивные мысли и детские противоречия вызвали на моем лице улыбку, должно быть, похожую на гримасу. Мальчик испугался за себя и за меня. Повидимому, уверенность покинула его во время рассказа. Как бы чувствуя, что он слишком долго говорил, он резко и не без некоторой горечи заметил:

—Теперь всякий знает, что я глуп, даже сам король. А от него мне очень хотелось это скрыть.—Очевидно, Жюльен намекал на прием в замке Марли.—Один только мой отец не хочет этому поверить.

—Сын мой,—сказала я и положил руку на его стройное плечо.—Я не буду с тобой философствовать, но если ты согласишься довериться мне, то я пронесу тебя чрез житейские волны в тихую гавань, таким, как ты есть. Правда, ты, несмотря на свое знатное имя, не будешь командовать ни армией, ни флотом, но за то ты не повредишь королю и отечеству легкомысленно проигранным сражением. Имя твое не будет стоять в анналах нашей истории

подобно имени твоего отца, но оно будет внесено в книгу праведников. Ты ведь знаешь слова Евангелия: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное».

Теперь слушай! Во первых, ты отправишься в армию и будешь бороться в наших рядах за короля и за Францию, которая находится в тяжелом положении. Под градом пуль ты узнаешь, суждено ли тебе жить. О том, чтобы ты скорее попал в армию, я уже позабочусь. Там ты останешься или вернешься с самоуверенностью отважного человека. Мужчина должен обладать самоуверенностью! Никто не посмеет насмехаться над тобою в глаза. Затем ты станешь простым слугой у своего короля и будешь добросовестнейшим образом исполнять свой долг, так как это тебе свойственно. Ты честен и предан, а такие люди нужны его величеству. Среди его окружающих их немного. Конюшня, охота, сторожевая служба, что-нибудь найдется, что ты можешь хорошо выполнять. Твое происхождение будет выделять тебя среди других, независимо от твоих заслуг. Пусть это сделает тебя скромным. Его величество, после того как он устает на совещаниях, любит иногда свободно побеседовать с молчаливым и безусловно преданным слугой. Ты слишком прост, чтобы вмешиваться в интриги, но зато и тебя не погубят интриги. Как принято в этом свете, за твоей спиной будут издеваться и насмехаться, но ты не оборачивайся. Будь добр и справедлив со своими слугами и не заканчивай дня, не сделав доброго дела. От остального же—откажись!

Мальчик смотрел на меня верующими глазами. — Это слова Евангелия, — сказал он.

— Разве не приходится всем отказываться от чего-нибудь, — помутил я, — даже твоей благодетельнице г-же де-Ментенон, даже королю приходится отказываться от какой-нибудь драгоценности или провинции. Разве мне, Фагону, не пришлось — по своему, конечно, — тоже помириться со многими, быть может, еще с горькими лишениями, чем тебе? Я рос сиротой, в нищете, калекой. Как раз в твои годы тело мое с каждым днем становилось уродливей. Но я выбрал себе строгую музу — науку. Неужели ты думаешь, что у меня не было сердца и чувств? Было нежное сердечко, Жюльен! — и пришлось раз навсегда отказаться от самого заманчивого

в нашей жизни, от любви, от того, что твоей стройной фигуре и пустой белокурой голове предлагают на каждом шагу!

Фагон с комическим пафосом излагал то, что, может быть, причинило ему серьезные страдания в молодости. Это рассмешило короля и польстило маркизе.

— Я проводил Жюльена до ворот и подразнил его Мирабеллой. — Вы с ней поспешили, — сказал я. — Так случилось, — ответил он, не смущаясь. — Ее мучили, она стала плакать, и это придало мне смелости. К тому же она похожа на мою мать.

Напевая единственную знакомую мне арию из какой-то забытой оперы, которую я слышал в молодости, я вернулся на свою скамейку перед оранжереей. — Ему надо немедленно отправиться в армию, — сказал я себе. Я почти готов был предложить ему тут же оседлать какую-нибудь из моих лошадей и мчаться прямо к границе. Но такое смелое своеволие было не к лицу мальчику. К тому же было известно, что маршал старался только обезопасить границу и привести в порядок крепости во Фландрии, а затем собирался перед решительным сражением вернуться еще в Версаль и получить от тебя, государь, последние указания. Здесь я и собирался поговорить с ним.

Когда я еще раз открыл оставшуюся на скамейке папку с рисунками и стал их прибирать, оказалось, что Пентей, с ужасной скалистой стеной, лежал наверху, а между тем, я готов был поклясться, что засунул его в середину!..

Вскоре после этого случилось, что пудель Мутон, разыскивая в сутолоке улицы Сент-Онорэ своего хозяина, попал под телегу. Он покоится в твоём саду, государь, где Мутон-человек зарыл его под деревом, на коре которого перочинным ножом вырезал: «Два Мутона». И действительно, вскоре он лежал рядом со своим пуделем. Ему давно было пора. Пьянство распатало его здоровье, и он уже слегка свихнулся. Я иногда наблюдал за ним из окна библиотеки и видел, как он сидел в своей комнате перед мольбертом и не только громко беседовал с духом своего пуделя, но так же зевал, как собака, и по собачьи быстрыми движениями рта ловил мух. Совсем, как его покойный приятель. Его одолела водянка, он быстро угасал, и когда однажды я подошел к его постели с лож-

кой лекарства, он повернулся ко мне, своему благодетелю, спиной, пробормотал неприличное слово, уперся лицом в стену и скончался.

Тем временем маршал вернулся с фронта в Версаль. Так как он не собирался долго здесь оставаться, то я заторопился. Я решил прийти к нему вместе с Жюльеном и сказать ему всю правду.

Я поехал к иезуитам. У главных ворот стояла коляска маршала, запряженная четырьмя горячими лошадьми, которых слуги едва могли сдержать. Она ожидала Жюльена, чтобы быстро доставить его в Версаль. Калитка иезуитского здания открылась, и оттуда вышел Жюльен. Но в каком состоянии! Голова у него была опущена, спина согнута, вся фигура как-то сдавлена, походка неуверенная, потухшие глаза, между тем как у Виктора Аржансона, который вел своего приятеля, глаза сверкали, точно факелы. Ошеломленные слуги, одетые в богатые ливреи, поторопились осторожно усадить своего молодого господина в коляску. Я выскочил из своей коляски, полагая, что мальчик заболел какой-нибудь коварной болезнью.

— Боже мой, что с тобой, Жюльен?—воскликнул я. Никакого ответа. Мальчик смотрел на меня бессмысленным взглядом, повидимому, он меня не узнавал. Я понял, что теперь этот и без того молчаливый юноша ничего не скажет, а так как конюший торопил меня:—«Влезайте сударь, или сойдите!» потому что нетерпеливые кони становились на дыбы, то я отпустил мальчика, решив поехать сейчас же вслед за ним в Версаль. Перед домом иезуитов уже собралась толпа. Я желал избежать ее любопытства и, увидав Виктора, который, страстно жестикулируя, кричал вслед своему быстро уезжавшему товарищу:—«Крепись, Жюльен! я отомщу за тебя!», я втокнул мальчика в мою коляску и уселся вместе с ним.—«Куда прикажете, сударь?»—спросил меня кучер. Но прежде чем я успел ответить, находчивый мальчик крикнул:—«В монастырь, в предместье Сент-Антуана!»

В этом монастыре, как вам известно, государь, ваш идеальный министр полиции устроил себе тихий уголок, где ему не мешают и где он в тиши может заботиться об общественной безопасности Парижа.

— Виктор,—спросил я сквозь шум колес,—что такое? что случилось?

— Ужасная несправедливость,—вскричал мальчик,—отец Телье, этот волк, наказал Жюльена плетью, между тем, он не виноват! Я зачинщик! Я это сделал! Но я добьюсь справедливости для Жюльена, я вызову патера на дуэль!

Эта нелепость, в связи с признанием Виктора, что он виновник несчастья, так меня взволновала, что я, не долго думая, наградил его увесистой пощечиной.

— Очень хорошо!—сказал он:—Кучер, ты ползешь, как черепаха!—Он сунул ему наполненный деньгами кошелек.—Скорей! гони, бей кнутом! Г. Фагон, будьте уверены, что отец мой добьется справедливости для Жюльена! О, он знает иезуитов, этих негодяев, этих мошенников, знает их грязные дела! А они его боятся, как дьявола!—Я считал ненужным расспрашивать подробнее возбужденного мальчика, так как он должен был во всем признаться отцу, а между тем быстрые кони уже отбивали копытами камни мостовой предместья, так что только искры летели. Мы приехали, и были немедленно впущены.

Аржансон пересматривал пачку бумаг.—Мы врываемся к вам, Аржансон!—извинился я.

— Нет, нет, Фагон,—ответил он, пожимая мне руку, и подвинул стул.—Но что с мальчиком? Он пылет, как пещка.

— Отец... Молчи! Не мешай говорить господину Фагону.

— Аржансон,—начал я, произошел несчастный случай, может быть даже большое несчастье. Жюльен Буфлер,—при этом я впросительно взглянул на министра.

— Я знаю этого бедного мальчика,—сказал он,—он был побит иезуитами и отправился в Версаль в таком состоянии, которое, если только я не ошибся, является началом опасной болезни. Виктор знает, как было дело.

— Расскажи!—приказал отец.—Ясно, спокойно, обстоятельно. Каждая мелочь важна. И не ври!

— Врать?—воскликнул возмущенно мальчик:—Стану я врать, когда тут только правда поможет делу! Эти мерзавцы иезуиты...

— Только факты,—приказал министр, с бесстрастной миной.

Виктор овладел собою и стал рассказывать с поразительной ясностью.

— Это было перед уроком риторики у отца Амиеля. Мы шушукались, какую бы штуку проделать на этот раз с носатым.— Нужно что-нибудь новое!—кричали со всех сторон.—Что-нибудь такое, чего еще не было! Какое-нибудь изобретение!—Тут нам пришло в голову...

— Пришло мне в голову,—прибавил отец.

— Да, мне пришло в голову попросить Жюльена, который так хорошо рисует, нарисовать нам что-нибудь мелом на доске. Он сидел на своей скамейке, уткнувшись в книгу, и зубрил урок. Ведь он заучивает с таким трудом. Я подошел к нему, обнял его и стал ласкаться.—Нарисуй нам что-нибудь!—упрашивал я.—Ну, нарисуй носорога!—Но он покачал головой.—«Я вижу, вы хотите этим только подразнить бедного патера. Этого я не стану делать. Это жестоко. Я не стану вам рисовать нос!»

— Ну, так нарисуй клюв, нарисуй сову. Ты так смешно рисуешь сов.

— И клюва не стану рисовать, Виктор.

Тогда я немного подумал, и мне пришла в голову одна штука. Министр сдвинул свои черные, как смоль, брови. Виктор с мужеством отчаяния продолжал.

— Нарисуй нам пчелку, Жюльен,—сказал я,—ты ведь это так мило рисуешь!

— Пожалуйста,—с готовностью ответил он. И тщательно нарисовал на доске хорошенькую пчелку.

— И напиши что-нибудь!

— Если хочешь,—сказал он,—и написал мелом: «abeille» (пчела).

— Ах, у тебя нет никакого воображения, Жюльен! это так сухо!

— Что же мне написать, Виктор?

— Ну, напиши, по крайней мере *bête à miel* (медовый зверек).

Министр сразу понял глупую игру слов: *Bête à miel* и *bête Amiel* (глупый Амиель). — Вот тебе за это!—с возмущением вос-

кликнул он и дал изобретателю каламбура пощечину, по сравнению с которой моя была лаской.

— Очень хорошо,—сказал мальчик, хотя у него из уха показалась кровь.

— Ну, дальше! и покороче,—приказал отец.—А потом убирайся с глаз моих!

— В этот момент вошел отец Амиель, походил взад и вперед, обнюхал доску, понял, что на ней написано, но сделал вид, что не понимает. Тогда с парт ему стали кричать: «*bête Amiel!*» «Глупый Амиель!» Сначала в одиночку, потом несколько человек сразу, и наконец, весь класс: «*bête Amiel!*»

Вдруг, о ужас, дверь открывается и врывается свирепый волк, отец Телье. Он шпионил в коридоре и теперь высунул свою дьявольскую морду.

— Кто это нарисовал?

— Я,—твердо ответил Жюльен. Он сидел закрывши уши, продолжая твердить урок, и не понимал ничего, что происходит вокруг. Он ведь, вообще, туго понимает.

— Кто это написал?

— Я,—сказал Жюльен.

Волк бросился к нему, вытащил его, прижал к себе, схватил ремень и...—мальчик не мог продолжать.

— И ты молчал, жалкий трус?—загремел министр.—Я презираю тебя! Ты негодяй!

— Я вопил, точно меня зарезали,—воскликнул мальчик.—Кричал, что это я сделал! Я! Отец Амиель тоже уцепился за волка, уверяя, что Жюльен не виноват. Волк это, несомненно, слышал! Но он меня не тронул, потому что я твой сын, а иезуиты боятся тебя и уважают. Маршала же они ненавидят и не боятся. Поэтому Жюльену пришлось отвечать. Но я пырну Волка своим ножом в ребра, если он...—и мальчик засунул руку в карман.

Строгий отец схватил его за шиворот, потащил к двери, открыл ее и, выбросив его вон, запер дверь на задвижку. В следующий же миг снаружи послышались стук кулаком, и мальчик кричал:—Я тоже отправлюсь к отцу Телье! Я выступлю в качестве свидетеля и скажу ему, что он чудовище!

— В сущности говоря, Фагон, — хладнокровно обратился ко мне министр, не отвечая на стук, — мальчик прав. Следует нам обоим немедленно отправиться к патеру, выложить ему настоящую правду и заставить его пойти вместе с нами к Жюльену сегодня же, немедленно, и в нашем присутствии попросить у него прощенье. — Он взглянул на стенные часы. — Теперь половина двенадцатого. Отец Телье твердо держится своих крестьянских привычек. Он обедает ровно в полдень — черным хлебом и сыром. Мы заста- нем его.

Аржансон увлек меня с собою. Мы сели в коляску и поехали.

— Я знаю этого мальчика, — повторил министр, — но только одно мне непонятно в истории с ним, это то, что первоначально отцы иезуиты баловали его и держали, точно в пуху. Его товарищи, в том числе мой шельмец, часто говорили об этом. Я понимаю, что отцы — как это им свойственно — ненавидят ребенка с тех пор, как маршал имел несчастье разоблачить их. Но почему в то время, когда маршал был для них безразличен, они считали для себя выгодным оказывать мальчику покровительство в размерах, выходящих за пределы того, что полагается слабым ученикам, — вот этого я не понимаю.

— Гм... — пробормотал я.

— А как раз это мне нужно знать, Фагон.

— Ну, хорошо, Аржансон, — начал я свою исповедь; — Она предназначается и тебе, государь, потому что тебя я больше всего здесь оскорбил. — Так как я хотел во что бы то ни стало уютно устроить Жюльена у отцов-иезуитов и не знал, какой бы внушительной рекомендацией снабдить его, то однажды, в случайном разговоре, я рассказал отцам Рапену и Бугуру, которых встретил в одном дамском обществе, что ты, государь, был расположен к матери Жюльена. Это чистейшая правда, и больше я не сказал ни слова, Аржансон, клянусь честью! — Аржансон криво усмехнулся. Ты, государь, делаешь мрачное, немилостивое лицо, но разве я виноват, если отцы иезуиты в своем воображении переделывают самое чистое в двусмысленное?

Когда потом, — продолжал я, — они стали ненавидеть маршала и заниматься его персоной, они произвели своими средствами рас-

следование и не узнали ничего другого, кроме того, что мать Жюльена была одним из чистейших созданий на земле, пока не обратилась в ангела, который с улыбкой смотрит на нас теперь. К сожалению, отцы убедились в своей ошибке именно тогда, когда эта ошибка больше всего нужна была мальчику. Аржансон кивнул головой...

— Фагон, — сказал король почти строгим тоном. — Это была третья и самая большая вольность с твоей стороны. Если ты так легкомысленно играл моим именем, и репутацией женщины, которую ты обожал, то тебе следовало, по крайней мере, скрыть от меня это святотатство, даже если бы твоя история стала вследствие этого не вполне понятной. Скажи мне, Фагон, разве ты в данном случае не следовал столь порицаемому правилу, что цель оправдывает средства? Что же, и ты записался в орден?

— Все мы этим грешим, ваше величество, — улыбнулся Фагон и продолжал.

По пути мы встретили отца Амиеля, который бродил совершенно несчастным и, увидев мою коляску, стал делать такие отчаянные жесты, что я велел остановиться.

Стоя на подножке, он пустил в ход свою глупую мимику и моментально был окружен толпой безумно хохотавших уличных ребятшек. Я велел ему сесть в коляску.

— Хвала Богородице, что я встретил вас, господин Фагон. — С Жюльеном, которому вы покровительствуете, приключилось несчастье, но он не виновен, как маленький разбившийся Астианакс! — декламировал носатый патер. — О, если бы вы, господин Фагон, видели, как взглянул мальчик на своего палача. Сколько в этом взгляде было ужаса и смертельного испуга! — Отец Амиель перевел дух. — Если я полечу через моря, меня будет преследовать этот взгляд, если я замкнусь в темной башне — он проникнет сквозь стены, если я залезу...

— А вы не залезайте, профессор, — прервал его министр. — Теперь надо сказать отцу Телье правду в глаза! Мы едем к нему, и вы поезжайте с нами. Хватит в вас смелости?

— Конечно, конечно, — уверял отец Амиель, но сильно побледнел, при этом и сутана на нем затряслась. Отца Телье боялся

даже в его собственном ордене, как человека грубого и очень склонного к насилиям.

Когда мы остановились у дома настоятеля и дали выйти вперед отцу Амиелю, Виктор соскочил с запяток, где он стоя ехал все время рядом с лакеем. — Я пойду с вами, — настойчиво заявил он. — Аржансон нахмурился, но позволил и, в сущности, был доволен, что у него оказался еще один свидетель.

Отец Телье не отказался принять нас. Аржансон приказал патеру и мальчику остаться в передней комнате. Они повиновались, первый с чувством облегчения, второй — нехотя. Отец ректор жил в маленькой, можно сказать, даже бедной комнате, подобно тому, как он носил обтрепанную сутану, днем и ночью одну и ту же. Он принял нас, низко кланяясь и лживо улыбаясь своим грубым и свирепым лицом.

— Чем могу служить, господа? — спросил он, с приторной улыбкой.

— Ваше преподобие, — ответил Аржансон, отказавшись от стула, мокрого пылью и со сломанной спинкой: — Дело идет о жизни и смерти человека. Надо поторопиться спасти его. Сегодня по ошибке в коллеже был подвергнут телесному наказанию молодой Буфлер. По ошибке. Продувной озорник заставил глуповатого мальчика нарисовать и написать на классной доске нечто такое, вследствие чего получилась глупая шутка над отцом Амиелем, при чем, однако, Жюльен Буфлер не имел ни малейшего представления о том, что его заставили сделать. Не трудно будет доказать, что он был единственным в своем классе, осуждавшим такие затеи и по возможности предупреждавшим их. Если бы он сам выдумал эту штуку, то, конечно, он заслужил бы наказание, но в действительности получилась страшная несправедливость, которую нужно искупить как можно скорее, если только ее можно вполне искупить. К этому еще присоединяется другое, весьма тягостное обстоятельство. Ошибочно подвергшийся наказанию является ребенком по уму, но обладает душою взрослого мужчины. Хотели наказать мальчика и оскорбили дворянина.

— Что вы, что вы, — сделал изумленную физиономию патер. — Что вы говорите, ваше превосходительство! Как можно так запу-

тать простое дело! Я проходил по коридору. Это моя обязанность. Слышу шум в классе риторики. Отец Амиель, как ученый, является украшением ордена, но он не умеет внушить к себе почтения. Наши отцы не любят прибегать к телесным наказаниям, но так не могло продолжаться дальше. Нужно было дать внушительный урок. Я вхожу. На доске написана дерзость. Расследую дело. Буфлер сознается. Остальное понятно само собою.

Вы говорите, он мало одарен? ограничен? Наоборот, он хитер, этот тихоня. В тихом омуте черти водятся. Чего ему действительно не хватает, так это — искренности. Он притворщик и подлиза. Больно ему было? Ах, нежное создание! Дворянчик? Очень жаль. Для нас, иезуитов, все одинаковы. К тому же сам маршал просил не баловать его сына. Я был старше его, когда меня в семинарии наказывали в последний раз и больше, чем всегда. Сорок розог, без одной, как апостолу Павлу, который, ведь тоже был дворянином. Разве я тогда погиб от этого? Я потер, с позволения сказать, то место и чувствовал себя лучше, чем когда бы то ни было. А я был невиновен. Между тем, в невинности этого преступного юноши меня никто не убедит!

— Может быть, всетаки это удастся, ваше преподобие! — сказал Аржансон и позвал обоих ожидавших нас наших спутников.

— Виктор, — козлиным голосом заблеял иезуит, обращаясь к вошедшему мальчику. — Ты ведь этого не сделал! За тебя я ручаюсь. Ты примерное дитя. Глупо бы тебе было признаваться, когда тебя никто не обвиняет!

Виктор, подошедший с упрямым видом, смело взглянул чудовищу в лицо, но ошенил. Сердце у него застучало при виде искаженных черт этого зверя и его сверкающих волчьих глаз.

Он сказал коротко: — Я подговорил Жюльена, который ничего не понимал. Я кричал вам это над самым ухом, но вы не хотели слышать, потому что вы злодей!

— Довольно! — сказал Аржансон и указал ему на дверь.

Он ушел не без удовольствия, потому что начал уже бояться.

— Отец Амиель, — обратился теперь министр к священнику. — Скажите, положи руку на сердце, мог Жюльен придумать такую игру слов?

Патер молчал в нерешительности и трусливо поглядывал на ректора.

— Смелее, патер, — шепнул я ему. — Ведь вы честный человек.

— Никак не мог, ваше превосходительство, если только Ахилл не был трусом, а Терсит героем! — торжественно заявил отец Амиель, подбодряя себя своей риторикой: — Жюльен невинен, как Спаситель!

Землистое лицо ректора исказилось от злобы. Он привык встречать слепое повиновение в коллегии и не выносил ни малейшего противоречия. — Вы позволяете себе критиковать, брат? — вскипел он. — Так критикуйте сначала свою идиотскую мимику, которая делает вас посмешищем даже у дураков! Я справедливо поступил с ним!

Такой отзыв о его мимических талантах вывел патера из себя и заставил на минуту забыть всякий страх.

— Справедливо? — вскипел он. — Боже милосердный! сколько раз я просил вас считаться с плохими способностями мальчика и не губить его! А вы мне отвечали: «Так пускай себе пропадает!» Разве вы это не говорили?

— *Mentiris impudenter* (Бесстыдно лжешь)! — завопил Волк.

— *Mentiris impudentissime, pater reverende* (Ты лжешь еще бесстыднее, почтенный патер)! — старался перекричать его носатый, дрожа всем телом.

— Вон с глаз моих! — крикнул ректор, указывая пальцем на дверь, и маленький патер поспешил убраться.

Когда мы остались снова вдвоем, министр сказал:

— Ваше преподобие, вас упрекнули в том, что вы ненавидите мальчика. Это тяжкое обвинение! Вы можете его опровергнуть тем, что отправитесь с нами и попросите прощения у Жюльена. Никто при этом не будет присутствовать, кроме нас обоих. — Он указал на меня. — Этого достаточно. Этот господин — лейб-медик короля и весьма озабочен здоровьем мальчика. Вы поблуднели? Так подумайте же. Тот, чье имя вы носите, повелевает не давать зайти солнцу в гнев, а тем более следует спешить исправить несправедливость!

Признать и искупить несправедливость! Иезуит скрежетал зубами от злости.

— Что общего у меня с Назарейнином? — богохульно сказал он, выпрямляясь от оскорбления, нанесенного его гордости. Казалось, что эта уродливая фигура вырастает до потолка, как демон.

— Я принадлежу церкви! Нет, моему ордену! Какое мне дело до мальчика? Не его я ненавижу, а его отца, который оклеветал нас! Да, оклеветал! подло оклеветал!

— Не маршал, — сказал я, смущенно. — Оклеветала отцов моя лаборатория.

— Подлог! подлог! — неистовствовал ректор. — Эти росписки никогда не были написаны. Дьявольский обманщик подsunул их! — и он бросил мне убийственный взгляд.

Признаться, я был смущен такой мощной силой, способной уничтожать факты, превращать истину в ложь и ложь в истину.

Отец Телье потер свой медный лоб, потом лицо его приняло другое выражение. Он поклонился министру, не то льстиво, не то насмешливо, и сказал:

— Ваше превосходительство, я к вашим услугам. Но вы понимаете, я не могу так унижить Орден, чтобы просить прощения у мальчика.

Аржансон не менее ловко переменял тон. Он стал подле Телье с незаметной презрительной улыбкой в уголках рта. Патер наклонил к нему свое ухо.

— Вы уверены, — прошептал министр, — что вы наказали сына маршала, а не благороднейший отпрыск Франции?

Патер вздрогнул:

— Ничего подобного, — прошептал он в ответ. — Вы меня дурачите, Аржансон.

— У меня нет уверенности, в таких случаях ее не бывает, но уже одна возможность этого сделала бы... Вы понимаете, о чем я говорю... невозможным ваше назначение...

Мне казалось, государь, что я видел, как высокомерие и честолюбие боролись на мрачном лице вашего духовника. Но я не мог угадать, что победит.

— Я думаю пойти с вами, господа! — сказал отец Телье.

— Пойдемте, патер! — убеждал его министр и протянул ему руку.

— Но мне надо надеть другую сутану. Вы видите, эта в заплатках, а в Версале я могу встретиться с его величеством. — Он открыл дверь в соседнюю комнату.

Аржансон взглянул ему через плечо и увидел низенькую каморку с голой скамьей и ветхим шкафом.

— Вы разрешите, господа, — застенчиво шептал иезуит. — Я никогда еще не переодевался перед мирянами.

Аржансон взял его за сутану. — А вы сдержите свое слово?

Отец Телье протянул три грязных пальца к чему-то священному, что виднелось во мраке в углу, и исчез, закрыв за собою дверь, так что осталась только маленькая скважина, которую Аржансон не дал закрыть, просунув туда носок сапога.

Мы слышали, как отворяется и закрывается шкаф. Прошло две минуты. Аржансон открыл дверь. Отца Телье уже не было. Не поверил он обещанию Аржансона и воспользовался случаем, чтобы убежать от нас? Или поверил этому, но один демон его Ордена восторжествовал над другим демоном, т. е. гордость восторжествовала над честолюбием? Кто разберется в потемках этой мрачной души?

— Клятвопреступник! — выбранился министр, открыл шкаф, увидел за ним лестницу, и бросился по ней вниз. Я споткнулся и полетел вниз за ним, с моим костылем. Внизу мы увидели послушника с аристократической внешностью и изящными манерами, который с чрезвычайным изумлением выслушал наш вопрос о патере и скромно ответил, что, насколько ему известно, тот четверть часа тому назад уехал по делам в Руан.

Аржансон отказался от всякого преследования. — Легче вытащить дьявола из его берлоги, чем доставить это чудовище в Версаль!.. К тому же, где мы найдем его, когда у иезуитов имеется сотня укромных местечек? — Я поеду. Перемените лошадей, Фагон, и поспешите в Версаль. Расскажите все его величеству. Он подаст руку Жюльену и скажет ему: «Король тебя уважает. С тобой поступили несправедливо!» И наказание как рукой снимет. Я согласился с ним. Это было единственное, что могло помочь, но было уже поздно.

Фагон смотрел на короля из под своих седых косматых бровей и пытался определить, какое впечатление произвел на него только что нарисованный образ его духовника. Он не льстил себя надеждой, что Людовик откажется от его назначения. Но он всетаки хотел предостеречь короля от этого врага человечества, который своими дьявольскими крыльями должен был бросить тень на конец блестящего царствования. Но в чертах христианнейшего монарха Фагон не прочел ничего, кроме естественного сострадания к сыну женщины, которая как-то мельком понравилась повелителю, и кроме удовольствия от рассказа, все пути которого, точно в заколдованном саду, вели к одному центру, — всегда к королю.

— Продолжай, Фагон, — просил король. Тот послушался, слегка раздраженный.

— Так как лошади не могли быть поданы раньше, чем через четверть часа, то я зашел к цырюльнику, жившему против дома иезуитов, моему пациенту, и заказал себе теплую ванну, потому что я почувствовал себя плохо. Пока вода освежала меня, я жестоко упрекал себя, что не досмотрел за вверенным мне мальчиком и слишком затянул его освобождение. Вскоре мне помешал слишком громкий разговор, доносившийся через тонкую стенку. Две девушки из низшего городского сословия купались в соседней комнате. — «Я так несчастна, так несчастна!» — болтала одна и рассказывала какую-то глупую любовную историю. Через минуту обе уже хихикали. Пока я упрекал себя за небрежность и страдал от тяжелой ноши, лежавшей на моей совести, рядом со мною шалили и брызгались две легкомысленные нимфы.

В Версале...

Людовик обратился теперь к Дюбуа, камердинеру маркизы, который тихо вошел и прошептал: — Стол накрыт, ваше величество.

— Ты мешаешь, Дюбуа, — сказал ему король, и старый слуга попятился назад, с легким выражением изумления на выпколенном лице, ибо король был сама точность.

— В Версале, — повторил Фагон, — я нашел маршала за столом с некоторыми его товарищами. Тут был Виллар, хвастун с головы до ног, — говорят, герой, чего я не отрицаю, но бесстыдный попрошайка, как это тебе известно, государь. Тут был Виллеруа,

мастер проигрывать сражения, ничтожнейший из смертных, живущий крохами, падающими со стола твоей милости, неисправимо чванный и с величественными манерами. Тут был Грамон, с аристократической головой. Вчера, государь, он надул меня в твоём зале за твоим игорным столом, при помощи крапленых карт. Тут был Лозен, который под маской кротости таит раздражение и злость. Прости мне, я видел твоих придворных в искаженных чертах, потому что сердечный испуг мой бросал на них резкий свет. Графиня Мимер тоже была приглашена туда вместе с Мирабеллой, которая сидела рядом с Виллеруа; семидесятилетний хлыщ пугал и смущал бедную девочку своим кривлянием.

Жюльен был позван отцом к столу. Он был бледен, как смерть. Я видел, как его трясла лихорадка, и со священным ужасом взирал на эту жертву.

Разговор шел—может быть, существуют демоны, которые ускоряют события? стремительно поднимают того, кто идет вверх, и жестоко спихивают в пропасть поскользнувшегося?—разговор шел о дисциплинарных наказаниях в армии. Мнения разделились. Спорили, следует ли вообще подвергать телесному наказанию, а если следует, то какому именно, палкою, ремнем или саблей плашмя. Маршал, с обычным человеколюбием, высказался против всякого телесного наказания, кроме как за бесчестные поступки. А Грамон, шуллер Грамон, согласился с ним, ибо честь, по словам Буало, это остров с неприступными берегами, к которым нельзя пристать, если их однажды покинешь. Виллар вел себя, с позволения сказать, почти как шут, и рассказывал, что один из его гренадеров застрелился, должно быть, потому, что его несправедливо наказали. Тогда он, маршал Виллар, опубликовал в приказе: «У Лафлера была честь, хотя на свой манер». Разговор шел перекрестный. Мальчик следил за ним с безумными глазами. Слова: «розги», «честь», «честь», «удары», сыпались со всех сторон. Я шепнул маршалу на ухо: — «Жюльен болен, ему надо лечь в постель». — «Жюльен не должен баловаться»,—ответил он.—«Мальчик возьмет себя в руки. К тому же обед сейчас кончается».

В это время галантный Виллеруа обратился к своей робкой соседке.—«Сударыня,—сказал он важно в нос,—скажите ваше мне-

ние, и мы будем внимать ему, как оракулу». Мирабелла, уже сидевшая, как на углях, и испуганная ужасным видом Жюльена, разумеется, последовала своей привычке и ответила высокопарно:—«Ни один подланный самого гордого из королей не стерпит физического насилия. Кто так заклеимен, тот покончит с собой!» Виллеруа зааплодировал и поцеловал ноготок ее мизинца. Я поднялся, взял Жюльена и утащил его. Наш уход остался почти незамеченным. Маршал, вероятно, извинился за нас перед гостями.

Пока я раздевал мальчика—сам он уже не мог это сделать—он сказал мне:

— Господин Фагон, у меня странное состояние. У меня все путается в голове. Я вижу перед собой какие-то фигуры. Должно быть, я болен. Если я умру—при этом он улыбнулся—вы знаете, господин Фагон, что случилось сегодня у иезуитов? Так никогда не рассказывайте об этом отцу, никогда, никогда. Это убило бы его!—Я обещал ему и сдержал свое слово, хотя это мне было не легко. Еще и посейчас маршал ничего об этом не знает.

Уже лежа на постели, Жюльен протянул мне горячую руку.

— Благодарю вас, господин Фагон... за все... Я не такой неблагодарный, как Мутон.

Было уже лишним беспокоить ваше величество. Через четверть часа Жюльен начал бредить. Решение его судьбы зависело только от природы. Жар был очень силен, пульс бился стремительно. Я велел поставить в той же комнате походную постель и оставался на своем посту. Маршал распорядился, чтобы в соседнюю комнату перенесли его бумаги и карты. Каждый час он отходил от рабочего стола, чтобы взглянуть на мальчика, который его не узнавал. Я злобно смотрел на него.—Что ты имеешь против меня, Фагон?—спросил он. Мне не хотелось ему отвечать.

Мальчик сильно бредил, но перед его пылающим взором вставали только приятные ему образы уже ушедших из жизни людей. Появился Мутон, прыгнул на постель Мутон-пудель, а на третий день Жюльен видел около себя свою мать.

Три посетителя навестили его. Виктор потихоньку постучался

у дверей, и когда я его впустил, так отчаянно разрыдался, что я должен был его увести. Потом постучала пальчиком Мирабелла. Она подошла к постели Жюльена, который лежал в беспокойном полусне, и взглянула на него. Она не плакала, а только горячо поцеловала его в высохшие уста. Жюльен не заметил ни друга, ни возлюбленной. Неожиданно появился также отец Амиель, которого я тоже принял. Так как больной недоумевающими глазами смотрел на него, то он стал забавно прыгать перед кроватью, восклицая:

— Ты не узнаешь меня, Жюльен. Не узнаешь, мальчик, своего отца Амиеля, маленького Амиеля, носатого Амиеля? Скажи мне хоть одно слово, что ты меня любишь.

Мальчик остался равнодушным. Если существуют Елисейские поля, то я надеюсь встретить там отца Амиеля без длинной шляпы, с правильным носом. Там он будет прохаживаться под руку с Жюльеном по небесным садам.

На четвертый день, вечером, пульс стал биться бешено, каждую минуту мне было ожидать кровоизлияния в мозг. Я прошел к маршалу.

— Как дела?

— Плохо.

— Выживет Жюльен?

— Нет. Мозг его истощен, мальчик переутомился.

— Это ушвяляет меня,—сказал маршал,—этого я не знал.

И я действительно думаю, что он не знал. Но терпение мое иссякло. Я сказал ему всю правду без всякой пощады, упрекал его в невнимании к мальчику и в том, что он способствовал его смерти. О Голгофе у иезуитов я умолчал. Маршал слушал меня молча, слегка склонив—как всегда—голову к правому плечу. Ресницы его дрожали, и я увидел слезы на его глазах. Наконец, он признался, что он был неправ. Но он оправился с самообладанием воина и вошел в комнату больного.

Отец сел около сына, которого теперь мучили ужасные видения.

— Я, по крайней мере, облегчу ему смерть, поскольку это от меня зависит,—пробормотал маршал.—Жюльен,—сказал он, своим решительным тоном. Мальчик узнал его.

— Жюльен, ты должен принести мне жертву и прервать твои школьные занятия. Мы вместе отправимся в армию. Король потерпел потери на границе, и теперь даже самые молодые должны исполнить свой долг!—Эти слова еще усилили у умирающего охоту отправиться в путь... Покупка лошадей, отъезд... прибытие в лагерь... появление на фронте... глаза у него сверкали, но в груди уже слышалось хрипение.

— Агония!—шепнул я маршалу.

— Там английское знамя, возьми его,—приказал отец. Умирающий мальчик схватил рукой по воздуху, крикнул: «Vive le roi!» и упал на постель, словно сраженный пулей.

Фагон окончил свой рассказ и встал. Маркиза была тронута.

— Бедный ребенок!—вздыхнул король и тоже поднялся.

— Почему бедный?—с жизнерадостной улыбкой спросил Фагон.—Ведь он умер, как герой.

Перев. с немецкого

В. Я. Жуковецкий

ЖЕНИТЬБА МОНАХА

(1884 г.)

Это было в Вероне. Перед широким огнем, пылавшим в просторном очаге, разместилась в самых удобных положениях, какие только допускались приличием, придворная молодежь мужского и женского пола вокруг столь же молодого государя и двух цветущих женщин. Слева от очага сидела эта царственная группа, к которой примыкали все остальные, образуя четверть круга и, по придворному обычаю, оставляя всю другую сторону очага свободною. Государем был тот самый Скалигер, которого прозвали Кан-Гранде. Из двух женщин, между которыми он сидел, одна, ближайшая к очагу, но несколько отодвинувшаяся от огня в полумрак, была, вероятно, его законная жена, а другая, вся залитая светом,—родственница или подруга. Рассказывались истории, сопровождавшиеся выразительными взглядами и негромким смехом.

Но вот, в этот чувственно-шадовливый кружок вступил человек с важной осанкой, величественными чертами лица и в длинной одежде, словно явившийся из иного мира.

— Государь, я пришел погреться у твоего очага,—сказал этот странный человек наполовину торжественно, наполовину небрежно и не счел нужным добавлять, что ленивая прислуга, несмотря на морозный ноябрьский вечер, позабыла или не захотела развести огонь в находившейся наверху комнате гостя.

— Садись подле меня, мой Данте,—отвечал Кан-Гранде,—но если ты хочешь погреться в нашем обществе, то не гляди, пожалуйста, по своей привычке, молча на огонь! Здесь идут рассказы, и рука, которая сегодня выковывала терцины,—поднимаясь в свою астрологическую камеру, я слышал в твоей комнате глухой напев мерно читаемых стихов,—эта тяжелая рука сегодня не должна

отказываться взять в свои пальцы, не ломая, игрушку забавной повестушки. Отпусти же богинь—он, конечно, разумел муз—и удовольствуйся этими смертными красавицами.—Скалигер легким движением руки указал своему гостю на двух женщин, из которых старшая, повидимому, безучастно продолжала сидеть в тени и не думала отодвигаться, между тем как меньшая, оживившись, с готовностью очистила флорентинцу место возле себя. Но он не последовал приглашению хозяина, а горделиво выбрал себе последнее место в конце круга. Ему или не понравилось это двоеженство князя,—хотя оно и было, может быть, только причудой одного вечера,—или же ему был противен придворный шут, который, протянув ноги, сидел на полу около кресла Кан-Гранде на соскользнувшем с него плаще.

Этот шут, старый, беззубый человек с выпученными глазами и вялым лицом болтуна и лакомки,—кроме Данте, единственный пожилой человек в этом кругу,—звался Гоччола, то-есть Капелька, потому что имел привычку долизывать последние клейкие капли из выпитых кубков, и ненавидел чужеземца с детскою злобою, видя в Данте соперника в благоволении своего не особенно разборчивого господина. Он скорчил гримасу и имел дерзость, насмешливо оскалив зубы, указать своей красивой соседке слева на тень, отброшенную профилем поэта на ярко освещенный потолок высокой залы. Тень Данте была похожа на исполинскую женщину с длинным крючковатым носом и отвислою губою,—на какую-нибудь царку или подобное существо. Живая девушка по-детски рассмеялась. Ее сосед, юноша с умными глазами, по имени Асканио, помог ей заглушить этот смех, обратившись к Данте с тою полною достоинства почтительностью, какая всегда нравилась тому в собеседнике.

— Не погнушайся, Гомер и Вергилий Италии,—попросил он,—вмешаться в нашу безобидную игру. Снизойди до нас и расскажи, учитель, вместо того, чтобы петь.

— А какая у вас тема?—спросил Данте не так неприветливо, как раньше, хотя все еще достаточно угрюмо.

— Внезапная перемена призвания,—коротко ответил юноша,—с хорошим, или плохим, или смешным концом.

Данте задумался. Его грустные глаза скользили по обществу, состав которого нельзя сказать, чтобы ему не понравился, так как среди многих плоских лбов он нашел и несколько значительных лиц. — Говорил ли кто-нибудь из вас о монахе, сбросившем рясу? — спросил он уже смягченным тоном.

— Конечно, Данте, — отвечал, выговаривая итальянские слова слегка на немецкий лад, один воин с прямодушным выражением лица, по имени Джермано, в легкой кольчуге и с длинными, отвисшими усами. — Я сам рассказывал о молодом Мануччо, который перескочил через стены своего монастыря, чтобы сделаться воином.

— Он поступил правильно, — сказал Данте: — он ошибся в своем призвании.

— А я, учитель, — бойко заболтала одна развязная полная падуанка, по имени Изотта, — я рассказывала про Елену Маненте, как она, только что дав отрезать свой первый локон освященными ножницами, сейчас же поторопилась прикрыть остальные волосы обеими руками и проглотила свои монашеские обеты, потому что увидела в церкви, среди народа, своего друга, который попал в рабство к морским разбойникам в Африке и чудесно оттуда избавился, — увидела, как он свои разбитые цепи... — Она хотела сказать: — вешал на стену, — но ее болтовня была прервана словами Данте:

— Она поступила хорошо, — сказал он, — потому что она действовала согласно своей влюбчивой природе. Но здесь речь идет не о том, а о случае совсем иного рода, именно — когда монах не по собственному побуждению, не ради пробудившейся в нем жажды мирского или силы на мирское, не потому, что он ошибался в своем существе, а в угоду другому, под давлением чужой воли, хотя, может быть, и из священного чувства благоговения, изменяет самому себе еще больше, чем церкви, нарушает обеты, самому себе данные, и сбрасывает рясу, которая вполне к нему подходила и вовсе его не тяготила. Рассказывалось ли об этом? Нет? Ну, так я расскажу. Но скажи мне, благодетель и покровитель мой, чем кончается подобное дело? — Он обратился прямо к Кан-Гранде.

— Конечно, плохо, — отвечал тот, не задумываясь. — Кто прыгает с свободного разбега, — прыгает хорошо, а кого толкают, тот прыгает плохо.

— Ты говоришь истину, господин, — подтвердил Данте, — и то же самое, насколько я понимаю, полагает и апостол, когда говорит: грех есть то, что исходит не из веры, то-есть, не из убеждения и правды природы нашей.

— Да нужно ли вообще, чтобы были монахи? — хихикнул из полумрака сдержанный голос, словно хотевший сказать: всякое избавление от состояния противоестественного есть благодеяние.

Дерзкое и еретическое замечание не вызвало никакого неудовольствия: при этом дворе допускались самые смелые речи о церковных делах, над которыми даже подсмеивались, между тем как одно вольное или хотя бы только неосторожное слово о властителе, его личности или его политике могло повести к гибели.

Взор Данте стал искать говорившего и открыл его в лице знатного молодого священника, пальцы которого играли драгоценным крестом, висевшим поверх его духовного облачения.

— Пожалуй, и нет, — раздумчиво отвечал флорентинец. — Пускай монахи вымрут, когда вырастет поколение, которое сумеет соединить две величайшие силы человеческой души, повидимому, друг друга исключаящие, — справедливость и милосердие. До этой же далекой великой поры пусть государство ведаёт одну из них, а церковь другую. А так как дело милосердия требует совершенно самоотверженной души, то три монашеские обета этим и оправдываются; ибо, как показывает опыт, легче отказаться от желаний совсем, чем наполовину.

— Да разве дурных монахов не больше, чем хороших? — опять спросил сомневающийся церковник.

— Нет, — уверенно сказал Данте, — если принять в расчет человеческую слабость. Иначе было бы и больше неправедных судей, чем праведных, больше трусливых воинов, чем храбрых, больше дурных людей, чем хороших.

— А разве это не так и есть? — прошептал тот, стоя в полумраке.

— Нет,—решил Данте, и небесное просветление озарило строгие черты его лица.—Разве наша философия не спрашивает и не исследует, как зло вошло в мир? Если бы злые были в большинстве, то мы спрашивали бы: как же добро вошло в мир?

Эти горделивые и темные изречения внушили обществу почтение, но вместе с тем вызвали и опасение, что флорентинец может, вместо рассказа, углубиться в свою схоластику.

Кан-Гранде увидел, как его молодая подруга скрыла красивый зевот. Поэтому он заговорил и спросил:—Расскажешь ли ты нам, мой Данте, подлинную историю, по документам? Или предание из уст народа? Или изобретение твоего венчанного чела?

— Я вывожу свой рассказ из одной надгробной надписи,—ответил Данте, медленно отчеканивая слова.

— Из надгробной надписи?

— Из надгробной надписи, которую я прочел несколько лет тому назад у францисканцев в Падуе. Камень, на котором она начертана, лежал в углу монастырского сада и хотя был скрыт под кустом диких роз, однако доступен послушникам: они подползали к нему на четвереньках, не жалея о том, что шипы царапали им щеки. Я приказал настоятелю—я хочу сказать: попросил его—перенести этот камень в библиотеку и сдать его на хранение одному старцу.

— Что же было сказано на камне?—небрежно спросила супруга государя.

— Надпись,—ответил Данте,—была латинская и гласила: *Nic jacet monachus Astorre cum uxore Antiope. Sepeliebat Azzolinus.*

— А что это означает?—с любопытством спросила другая.

Кан-Гранде быстро перевел:—Здесь почит монах Асторре с своею супругою Антипою. Обоих похоронил Эццелино.

— Отвратительный тиран!—воскликнула чувствительная женщина.—Конечно, он велел обоих закопать живыми за то, что они любили друг друга, и надругался над своею жертвою даже в могиле, назвав ее женою монаха. Бесчеловечный!

— Едва ли,—сказал Данте.—В моем уме это представляется иначе, да и по истории невероятно: ведь Эццелино скорее стал бы карать за послушание церкви, чем за нарушение духовных обе-

тов. Я понимаю *sepeliebat* в дружественном смысле: он дал им обоим погребение.

— Верно!—радостно воскликнул Кан-Гранде:—Ты думаешь, как я, флорентинец! Эццелино был властителем от природы и, как все такие, несколько суров и насильствен. Девять десятых его злодеяний присочинены попами и толпой, склонной к побасенкам.

— Если бы так было!—вздыхнул Данте.—Впрочем, каким он выступает в моей повести, он еще не то чудовище, какое, правдиво или ложно, рисуется нам летописью; его жестокость только еще начинает обрисовываться, так сказать, одною чертою около рта...

— Властная фигура!—пылко дополнил Кан-Гранде это изображение,—с непокорными черными волосами над лбом, как ты рисуешь его обитателем ада в двенадцатой песне. Откуда ты взял эту черноволосую голову?

— Это—твоя,—смело ответил Данте,—и Кан-Гранде почувствовал себя польщенным.

— Да и остальных лиц рассказа,—продолжал он с улыбкой угрозы,—я возьму—вы позволите?—обратился он к сидевшим вокруг,—из вашей же среды и дам им ваши имена; вашу душу я оставляю неприкосновенною, так как в ней читать я не могу.

— Мое лицо я предоставляю тебе,—величественно сказала государыня, равнодушие которой начинало исчезать.

Шопот высшего возбуждения пронесся среди слушателей, и со всех сторон послышалось:

— Рассказывай, Данте! Рассказывай твою историю!

— Вот она,—сказал он и начал рассказывать:

— Там, где течение Brentы стройною излучиною приближается к городу Падуе, однакоже, не касаясь его, в один ясный летний день по быстрой, но спокойной воде скользила, под тихие звуки флейты, лодка, украшенная венками и переполненная по праздничному наряженными людьми. Это был свадебный поезд Умберто Вичедомини и Дианы Пипцагвэрра. Падуанец привез свою невесту из одного монастыря, находившегося на верхнем течении реки, куда, по давнему городскому обычаю, знатные девушки удалялись

перед свадьбой для благочестивых молитв. Она сидела посреди лодки на пурпуровой подушке, между своим женихом и тремя цветущими мальчиками, его сыновьями от первого брака. За пять лет перед тем, когда в Падуе свирепствовала моровая язва, Умберто Вичедомини похоронил жену, подругу своей юности, и хотя был еще в полной поре мужества, лишь с трудом и неохотно, уступая ежедневным настояниям дряхлого и больного отца, решился на этот второй брак.

Лодка плыла с убранными веслами, предоставленная на волю течения. Гребцы в полголоса подпевали нежной музыке. Вдруг и музыка, и пение умолкли. Взоры всех обратились к правому берегу, где высокий всадник, укрощая своего жеребца, сделал широкий приветственный жест по направлению к лодке. Робкий говор пробежал по рядам сидевших в ней. Гребцы сорвали с головы красные шапки, и все праздничное общество поднялось в страхе и почтительности, не исключая жениха, Дианы и мальчиков. Знаки верноподданических чувств, приветственные жесты рук, наполовину согнутые колени обратились к берегу с такою быстротою и неумеренностью движений, что лодка потеряла равновесие, наклонилась вправо и вдруг перевернулась. Крик ужаса, крутящийся водоворот, пустота посреди потока, наполнявшаяся то выплывающими, то снова тонущими людьми и плавающими венками с потерпевшей крушение лодки. Помощь была недалеко: немного ниже по течению находилась небольшая заводь, около которой поселились рыбаки и лодочники, и где в этот день ожидали также лошади и носилки, которые должны были доставить в Падую все общество, теперь погибшее в волнах.

Две первых лодки устремились на помощь с противоположных берегов. В одной из них, рядом со старым перевозчиком с всклокоченною бородою, стоял Эццелино, падуанский тиран, невольный виновник злоключения; в другой, плывшей с левого берега, — молодой монах и его лодочник, перевозивший запыленного пилигрима через реку как раз в ту минуту, когда произошло несчастье. Обе лодки встретились. Между ними в реке плавало что-то похожее на пышные белокурые волосы. Монах, встав на колени, решительно схватился за них далеко вытянутою рукою в то время,

как его лодочник всеми силами налег на другой край лодки. Схватив густую прядь волос, монах вытащил голову, глаза которой были закрыты, и затем, с помощью подоспевшего Эццелино, из воды подняли тело женщины, отягощенное промокшим платьем. Тиран перескочил из своей лодки в другую и теперь смотрел на бездыханную голову, носившую на себе отпечаток упорства и несчастья, с своего рода удовольствием, вызванным не то величественными чертами ее лица, не то — спокойствием смерти.

— Знаешь ты ее, Асторре? — спросил он монаха. Тот отрицательно покачал головою, а он продолжал: — смотри, это — жена твоего брата.

Монах бросил робкий взгляд сожаления на бледное лицо, на котором, между тем, медленно раскрылись дремавшие глаза.

— Отвези ее на берег! — приказал Эццелино. — Но монах передал ее своему лодочнику:

— Я буду искать брата, — воскликнул он, — пока не найду его!

— Я помогу тебе, монах, — сказал тиран, — но сомневаюсь, чтобы мы спасли его: я видел, как он обнял своих мальчиков и, обхваченный троими, тяжело пошел ко дну.

Тем временем Брента покрылась лодками. Стали искать палками, баграми, крючками, сетями, и в быстрой смене движений среди ищущих и поднимаемых ими тяжелых тел то и дело мелькала фигура повелителя.

— Слушай, монах, — сказал он, наконец, — здесь тебе больше нечего делать. Умберто и его мальчики слишком уж долго лежат на дне, — их не вернуть к жизни. Их унесло течением. Оно выкинет их на берег, когда они ему наскучат. А видишь ли ты там палатки? — На берегу Бренты, для приема ожидавшихся со свадебным поездом, было разбито несколько палаток; теперь туда сносили мертвых или мнимо-умерших, которых с плачем окружали уже успевшие прибыть из Падуи родственники и слуги. — Там, монах, делай свое дело, — дело милосердия! Утешай живых! Погребай мертвых!

Монах сошел на берег и потерял правителя из виду. Тут навстречу к нему вышла из толпы Диана, невеста и вдова его брата, безутешная, но вполне овладевшая собою. С тяжелых волос еще

текла вода, но уже на другое платье: одна сострадательная женщина из народа отдала ей в палатке собственную одежду, получив ее драгоценный свадебный наряд.—Благочестивый брат,—обратилась она к Асторре,—меня покинули; предназначенные для меня носилки в суматохе вернулись в город с кем-то другим, живым или мертвым. Проводи меня в дом моего свекра, твоего отца.

Молодая вдова ошиблась: не в смятении и суматохе, а из трусости и суеверия слуги старого Вичедомини оставили ее без помощи; они боялись принести гневливому старику вдову и вместе с нею—весть о гибели его дома.

Монах, увидев, что много таких же, как он, было занято делом милосердия и в палатках, и под открытым небом, согласился на просьбу.

— Пойдем,—сказал он и двинулся с молодою женщиною по дороге в город, башни и купола которого вырастали перед ним на голубом небе. Дорога была покрыта сотнями спешивших на берег или возвращавшихся с берега. Оба шли молча посередине дороги, часто разлучаясь, но всегда снова сходясь, и уже достигли предместья, где жили ремесленники. Здесь повсюду—несчастье на Бренте поставило на ноги все население—стояли громко болтавшие или перешептывавшиеся кучки, которые с участливым любопытством стали рассматривать случайную пару, лишившуюся брата и жениха.

Монах и Диана были фигуры, известные в Падуге всякому ребенку. Асторре хотя и не слыл святым, но, всетаки, считался образцовым монахом. Его можно было назвать падуанским городским монахом, которого народ почитал и которым гордился. И справедливо: потому что он мужественно, даже радостно отказался от преимуществ своего высокого дворянства и от несметного богатства своего дома и во время заразы или других общественных бедствий, не торгуясь, жертвовал своею жизнью ради самого ничтожного бедняка или нищенки. При этом он с своими темнокаштановыми курчавыми волосами, горячими глазами и благородной осанкой был привлекательным мужчиной, что народ любит в своих святых.

Диана была в своем роде не менее известна уже по своей

могучей внешности, которую народ уважает больше нежной красоты. Ее мать была немка,—даже, как уверяли некоторые, из Штауфенов,—хотя лишь, по крови, а не по закону. Германия и Италия, как добрые сестры, вместе создали эту крупную фигуру.

Насколько сурова и строга была Диана в обращении с равными, настолько же она была приветлива с маленькими людьми, заставляла их рассказывать про свои дела, давала короткие и ясные советы и целовала самых оборванных детишек. Она дарила и тратилась не задумываясь,—вероятно, потому, что ее отец, старший Пиццагварра,—бывший после Вичедомини самым богатым человеком в Падуге,—вместе с тем был самым грязным скупцом, и Диана стыдилась отцовского порока.

Расположенный к ней народ, в своих кабачках и на сходбищах, ежемесячно выдавал Диану замуж за того или другого знатного падуанца, но действительность не считалась с этими добрыми пожеланиями. Брак затруднялся тремя препятствиями: гордыми и часто мрачными бровями Дианы, зажатою рукою ее отца и слепую приверженностью ее брата Джермано к тирану, при возможном падении которого верный слуга должен был погибнуть и увлечь за собою свой род.

Наконец, с нею обручился—как стало известно в городе, без любви,—Умберто Вичедомини, лежавший теперь на дне Бренты.

Впрочем, они были так погружены в свою понятную скорбь, что или вовсе не замечали болтовни, следовавшей за ними по пятам, или мало о ней беспокоились. Поводом к ней служило не то, что монах и женщина шли рядом друг с другом. Это представлялось естественным, так как монах должен был ее утешать, и оба шли одной дорогой,—к старому Вичедомини, как ближайшие и естественные вестники случившегося.

Женщины горевали о Диане, что ей пришлось выйти за человека, который взял ее только как замену дорогой покойницы, и вместе с тем жалели ее за то, что она лишилась этого мужа еще до брака.

Мужчины, напротив, с важными движениями и хитрейшим выражением лица обсуждали жгучий вопрос, возникший вследствие гибели утонувших в Бренте четверых продолжателей знатней-

шего падуанского рода. Богатства Вичедомини вошли в пословицу. Глава семьи, человек настолько же энергичный, как и хитрый, сумевший оставаться в ладу и с пятикратно отлученным от церкви падуанским тираном, и с проклявшей его церковью, в течение всей своей жизни никогда не занимался какими-нибудь общественными делами, посвящая все свое цепкое бытие и поразительную силу воли одной единственной цели—богатству и процветанию своего рода. Теперь этот род был уничтожен. Его старший сын и внуки лежали на дне Бренты. Второй и третий сыновья в том же злополучном году исчезли с лица земли, один—за два, другой—за три месяца перед тем. Старшего тиран оставил убитым в одном из своих диких сражений. Другой, из которого свободный от предрассудков отец сделал крупного купца в венецианском стиле, где-то на востоке, на берегу моря, истек кровью на кресте, к которому его пригвоздили морские разбойники, не дождавшись запоздалого выкупа. Четвертым оставался монах Асторре. Что отец попытается, напрягая свои последние силы, оторвать его от монашеских обетов,—в этом быстро соображавшие падуанцы ни минуты не сомневались. Но удастся ли ему это и согласится ли монах?—вот о чем спорили теперь взволнованная улица.

И она зашумела, наконец, так громко и сильно, что даже опечаленный монах не мог уже оставаться в сомнении насчет того, кто здесь разумеется под словами: *egli* (он) и *ella* (она), которые раздавались из собравшихся кучек. Поэтому он, больше ради своей спутницы, чем ради себя, свернул в поросший травой, затененный переулок, хорошо знакомый его сандалиям, так как он шел вдоль старой каменной ограды его монастыря. Здесь было прохладно до дрожи, но страшная весть, наполнившая всю Падуу, проникла даже и в это темное место. Из отворенных окон монастырской трапезной, вдвинутой в толстую стену, из-за запоздалого обеда стола (катастрофа на Бренте перепутала в Падуе все время и все часы) раздавались такие крикливые и бранчивые голоса братии, изобиловавшие—*inibus* и—*atibus* (разговор шел по-латыни, или спорили цитатами из декреталий), что монах без труда угадал, что и здесь дело идет все о том же или о подобном же вопросе, что и на улице. И если он даже не отдавал

себе отчета, о чем именно, то все-таки знал, о ком идет речь. Но чего он не заметил,—это были...

Среди своей речи Данте стал искать между слушателями знатного церковника, но тот спрятался за своего соседа.

—...это были два пылающих впалых глаза, которые пристально смотрели на него и на женщину рядом с ним сквозь отверстие в стене. Эти глаза принадлежали одному жалкому созданию, погибшему монаху, по имени Серапиону, который изнывал в монастыре и телом, и душою. Своим торопливым воображением он сразу понял, что его собрат Асторре больше не будет изнурять себя постом по уставу святого Франциска, и стал бешено завидовать доставшимся тому, по прихоти смерти, мирским благам и радостям. Он зорко смотрел на возвращавшегося монаха, чтобы разглядеть выражение его лица и прочесть в нем, что Асторре решил про себя. Его взоры пожирали женщину и следили за нею по пятам.

Асторре со своею невесткою направился к небольшой площади, образуемой четырьмя городскими замками, и вместе с нею вошел в глубокие ворота важнейшего из них. На дворе он увидел двоих, отдыхавших на каменной скамье: юного германца, от темени до пят закованного в латы, и старого сарацина. Германец, растянувшись, положил свою сонную рыжеватую курчавую голову на колени сидевшего неверного, который, также задремав, отечески наклонял над ним свою белоснежную бороду. Эта пара принадлежала к личной страже Эццелино, которая, в подражание страже его тестя, императора Фридриха, состояла из равного числа германцев и сарацин. Тиран был во дворце. Он, вероятно, считал своим долгом посетить старого Вичедомини. В самом деле, Асторре и Диана еще на витой лестнице слышали разговор, который Эццелино вел в коротких и спокойных словах; старик же, повидимому, совсем выходивший из себя, напротив, говорил крикливым и бранчивым голосом. Монах и женщина остановились при входе в залу, среди бледной челяди. Слуги дрожали всем телом. Старик осыпал их сильнейшими проклятиями и затем прогнал прочь с сжатыми кулаками за то, что они принесли ему запоздалую весть с берега и едва решились, заикаясь, высказать ее. Сверх того, прислуга окаменела при страшных шагах тирана. Под страхом

смерти было запрещено докладывать о нем. Неудержимый, как дух, входил он в дома и покои.

— И ты сообщаешь об этом так спокойно, жестокий!—в отчаянии бушевал старик,—словно рассказываешь о потере коня или урожая! Ведь ты убил у меня четверых,—не кто иной, как ты! Зачем тебе понадобилось именно в этот час скакать по берегу? Зачем понадобилось тебе посылать приветствие на Бренту? Ты это сделал мне на зло! Слышишь ты?

— Судьба! — отвечал Эццелино.

— Судьба?—закричал Вичедомини.—Судьба, и звездочетство, и заклинания, и заговоры, и отрубленные головы, и женщины, бросающиеся со стен на мостовую, и сотни пронзенных стрелами юношей, падающих с коня в твоих проклятых губительных битвах,—вот твоё время и правление, Эццелино, отлученный ты и проклятый! Ты всех нас влечешь на свой кровавый путь, всякая жизнь и смерть становится около тебя насильственной и неестественной, и никто уже не умирает с христианским покаянием у себя в постели!

— Ты несправедлив ко мне,—возразил тот.—Мне лично, правда, до церкви дела нет. Я к ней равнодушен. Но тебе и тебе подобным я никогда не мешал вступать с нею в сношения. Ты это знаешь, так как иначе ты не осмеливался бы обмениваться письмами с святейшим престолом. Что ты там вертишь в руках и прячешь от меня папскую печать? Отпущение грехов? грамоту? Поддай сюда! В самом деле — грамота! Могу я прочесть ее? Ты позволяешь? Твой доброжелатель, святейший отец, пишет тебе, что если бы твой род истребился до твоего четвертого и последнего сына монаха, то этот *ipso facto* («тем самым») будет свободен от своих обетов, если по доброй воле и собственному решению вернется в мир. Хитрая лиса, — сколько унций золота стоил тебе этот пергамент?

— Ты насмехаешься надо мною?—взвыл старик.—Что же еще мне оставалось после смерти моего второго и третьего? Для кого я копил и собирал в житницу? Для червей? Для тебя? Ты хочешь меня ограбить? Нет? Так помоги же мне, кум! — Эццелино, еще не отлученный церковью, был крестным отцом третьего

мальчика Вичедомини, того самого, который пожертвовал за него собою на поле битвы.—Помоги мне убедить монаха, чтобы он вернулся в мир и взял себе жену,—повели ему это, ты, всемогущий, отдай мне его, вместо сына, которого ты у меня убил, принеси мне утешение, если ты меня любишь!

— Это меня не касается, — без малейшего волнения отвечал тиран. — Это пусть решает он сам. «Добровольно», — сказано в грамоте. Зачем же ему, если он хороший монах,—как я думаю,—менять свое звание? Чтобы не иссякла кровь Вичедомини? Но разве от этого зависит существование мира? Разве Вичедомини—такая необходимость?

— Ты—злодей, ты—убийца детей моих!—закричал в бешеном гнев тот:—Я вижу тебя насквозь! Ты хочешь стать моим наследником и на мои деньги вести свои сумасшедшие походы!—Тут он увидел свою сноху, которая прошла через толпу прислуги и переступила порог раньше медлившего монаха. Несмотря на свою слабость, он шатающимися шагами бросился к ней навстречу, схватил и рванул ее за руки, как будто хотел привлечь к ответу за постигшее обоих несчастье.—Где у тебя мой сын, Диана?—тяжело дыша, спросил он.

— Он лежит в Бренте,—печально ответила она, и ее голубые глаза омрачились.

— Где мои три внука?

— В Бренте,—повторила она.

— А себя ты принесла мне в подарок? Тебя я сохранию?—неприязненно засмеялся старик.

— Была бы на то воля Всемогущего,—медленно сказала она,—чтобы меня увлекли волны, а те стояли здесь, вместо меня.

Затем в ней вдруг вспыхнул гнев.—Если тебя оскорбляет мой вид, и я тебе лишняя, то погляди вот на этого: когда я уже умерла, он за волосы вырвал меня из могилы и возвратил к жизни.

Только тут старик увидел монаха, своего сына, и дух его собрался с силами так быстро, словно они были скорее закалены, чем ослаблены тяжким горем.

— В самом деле? Он вытащил тебя из Бренты? Гм! Замечательно! Пути Божии все же удивительны!

Он схватил монаха за руку и за плечо, как будто хотел всецело овладеть его телом и душою, и потащил его вместе с собою к своему креслу, на которое и упал, не выпуская сжатой руки его. Монах не сопротивлялся. Диана последовала за ним и встала на колени с другой стороны кресла, опустив руки и сложив их кисти, а голову положила на спинку кресла, так, что на виду оставался только узел ее светлых волос, как безжизненный предмет. Против этой группы сидел Эццелино, опираясь правой рукою на свернутую в свиток папскую грамоту, как на фельдмаршальский жезл.

— Сынок, сынок,—застонал старик с нежностью, представлявшей смесь искренности с хитростью,—мое последнее и единственное утешение! Ты, жезл и опора моей старости, не сломишься в этих дрожащих руках!.. Ты понимаешь,—продолжал он уже в более сухом, деловом тоне,—что при теперешнем положении дела тебе нельзя оставаться в монастыре. Ведь это же установлено каноническими правилами, не правда ли, сынок, что монах, у которого отец обеднеет или заболевает, получает от своего настоятеля отпуск, чтобы возделывать наследственную землю и питать виновника дней своих. Но ты мне еще гораздо больше необходим. Твои братья и племянники погибли, и теперь только ты несешь факел жизни нашего дома. Ты—огонек, мною зажженный, и мне нет никакой пользы от того, что он угаснет и обратится в дым в монастырской келье! Знай одно,—он прочитал в горячих темных глазах монаха искреннее сочувствие, а почтительное поведение сына, повидимому, обещало слепое послушание,—я болен больше, чем ты думаешь. Не правда ли, Иссахар?—обратился он, оглянувшись, к тощей фигуре, которая тихо вошла в боковую дверь сзади кресла старика, с пузырьком и ложкою в руках, и теперь утвердительно кивала своею бледною головою.—Я умираю, но скажу тебе, Асторре: если ты не исполнишь моего желания, то твой батюшка не войдет в чепи перевозчика мертвых и останется сидеть, скорчившись, на сумеречном берегу.

Монах нежно погладил лихорадочную руку старика, но твердо отвечал только двумя словами:—Мои обеты!

Эццелино развернул грамоту.

— Твои обеты?—ласково сказал старый Вичедомини.—Развязанные веревки! Подпиленные цепи! Сделай одно только движение,—и они упадут. Святая церковь, которой ты обязан почтением и послушанием, объявляет их недействительными и уничтоженными. Это написано вот здесь! — Его тощий палец указал на пергамент с папскою печатью.

Монах почтительно приблизился к властителю, взял грамоту и прочел, в то время, как четыре глаза наблюдали за ним. У него закружилась голова, и он отступил на шаг назад, словно стоял на высокой башне, с которой вдруг исчезли перила.

Эццелино помог пошатнувшемуся коротким вопросом: — Кому давал ты свои обеты, монах, — себе, или церкви?

— Конечно, обоим! — сердито воскликнул старик. — Это—проклятые тонкие извороты! Берегись этого человека, сынок! Он хочет довести нас, Вичедомини, до нищенской сумы!

Эццелино, не гневаясь, положил правую руку на бороду и поклонился:—Когда умрет Вичедомини, его наследником будет вот этот монах, его сын, и если его род прекратится вместе с ним, и если он расположен ко мне и к своему родному городу, то должен учредить больницу таких размеров и великолетия, что нам позавидовали бы сто городов (он разумел города Италии). А теперь, кум, когда я очистился от упрека в жадности, могу ли я предложить монаху еще два-три вопроса? Позволяешь?

Тут стариком овладел такой гнев, что он впал в судороги. Но он всетаки не выпускал руки монаха, за которую опять ухватился.

Иссахар осторожно поднес к бледным губам полную ложку сильно пахнувшей эссенции. Измученный старик с усилием отвернулся. — Оставь меня в покое! — простонал он: — ведь ты—врач также и правителя!—и закрыл глаза.

Еврей обратил свои блестящие черные и очень умные глаза к тирану, как бы прося прощения за это подозрение.

— Вернется ли он к сознанию? — спросил Эццелино.

— Я думаю, — ответил еврей. — Он еще жив и проснется снова, хоть я и боюсь, что не надолго. Он не увидит заката солнца.

Тиран воспользовался этой минутой, чтобы поговорить с монахом, хлопотавшим около бесчувственного отца.

— Ответь мне, монах, — сказал Эццелино, перебирая разжатыми пальцами правой руки свою волнистую бороду (его любимый жест). — Чего стоили тебе те три обета, которые десять с небольшим лет тому назад, — я думаю, тебе лет тридцать — (монах кивнул), — ты поклялся соблюдать?

Асторре поднял свои ясные глаза и, не задумываясь, отвечал: — Бедность и послушание — ничего. У меня нет стремления к богатству, а повинуюсь я легко. — Он умолк и покраснел.

Тирану понравилась эта мужественная чистота. — Что же, вот этот заставил или уговорил тебя принять это звание? — продолжал он, давая разговору несколько иное направление.

— Нет, — сказал монах. — Уже с давних пор, как повествует родословная, в нашем доме из троих или четверых последний поступает в духовное звание, — затем ли, чтобы мы, Вичедомини, имели за себя молитвенника, или затем, чтобы оградить наследие и могущество дома, — все равно; это — старинный и почтенный обычай. Я с юных лет знал свою судьбу, которая не была мне противна. Меня никто не принуждал.

— А третий? — продолжал Эццелино, возвращаясь к главному и разумея третий обет. Асторре понял его.

Снова, но на этот раз лишь немного покраснев, он отвечал:

— Мне было не легко, но я и это преодолел, как и другие монахи, когда они получают благое руководство; а я получал его. От святого Антония, — благоговейно добавил он.

— Этот почтенный святой, как вы знаете, господа, жил несколько лет у францисканцев в Падуе, — пояснил Данте.

— Как же нам не знать? — пошутил один из слушателей: — ведь мы почитаем реликвию, которая плавает в тамошнем монастырском пруде: я говорю о щуке, что некогда присутствовала на проповеди святого, обратилась, отказалась от мясной пищи, стала держаться доброго нрава, и еще сейчас, в глубокой старости, как строгий вегетарианец... — Он проглотил конец шутки, ибо Данте наморщил лоб.

— А что он тебе советовал? — спросил Эццелино.

— Разуметь мое звание, без задних мыслей, просто, — сказал монах, — как службу, требующую строгой исполнительности, хотя бы как военную службу: она, ведь, тоже требует послушных мускулов и лишений, которых добрый воин не должен даже и ощущать, как таковые; в поте лица моего возделывать землю, умеренно есть, умеренно поститься, не исповедывать ни девиц, ни молодых женщин, ходить пред лицом Божиим и молиться Матери Его не горячее, чем предписывается требником.

Тиран усмехнулся. Затем он, как бы увещевая или благословляя, протянул к монаху правую руку и сказал: — Счастливцев! У тебя есть звезда! Твое сегодня легко возникает из твоего вчера и незаметно становится твоим завтра. Ты — нечто, и немалое, ибо ты исполняешь дело милосердия, которое я уважаю, хотя занимаюсь другим. Если б ты вступил в мир, следующий своим собственным законам, учиться которым тебе уже поздно, то ясная твоя звезда обратилась бы в смешной блуждающий огонек и после нескольких нелепых прыжков с треском разлетелась бы под насмешкою сил небесных!

— Еще одно, — и это я говорю тебе, как тот, кто я на самом деле, — как властелин Падуи. Твое поведение было для моего народа поучением, примером самоотвержения. Беднейший утешался тобою, когда видел, что ты делишь с ним скудную пищу и тяжелую ежедневную работу. Если ты сбросишь рясу, женишься, как знатный, на знатной, станешь полными руками черпать из богатства твоего дома, то ты совершишь похищение у народа, который овладел тобою, как равным себе, — ты создашь мне недовольных и неумеренных, и если из этого возгорится гнев, непослушание, возмущение, — меня это не удивит. Все в мире между собою связано!

Я и Падуя не можем обойтись без тебя. Твой прекрасный рыцарственный лик бросается в глаза толпе; при этом у тебя больше мужества, или, по крайней мере, благородного мужества, чем у твоих собратий из крестьян. Когда народ, взбесившись, захочет убить вот этого (он указал на Иссахара) за то, что он ему помогает, — что едва и не случилось с евреем во время последней чумы, — кто защитит его, как это сделал ты, от безумной толпы, пока не явлюсь я и не велю ей остановиться?

— Иссахар, помоги мне убедить монаха, — обратился Эццелино к врачу с жестокою улыбкой. — Уже только ради тебя он не должен снимать облачения!

— Господин мой, — тихо проговорил тот, — под твоим скипетром та неразумная выходка, которую ты столь справедливо и кроваво покарал, едва ли повторится; а по-моему — моя вера славит продолжение рода, как величайшее благословение Божие — светлейший — (так, а уже не «почтеннейшим» стал он называть монаха) — не должен оставаться безбрачным.

Эццелино улыбнулся тонкой речи еврея. — А куда направляются твои мысли, монах? — спросил он.

— Они стоят и не меняются. Да, я хотел бы, — Бог да простит мне прегрешение! — чтобы отец уже не пробуждался, дабы мне не пришлось быть к нему жестоким! Если бы он уже получил напутствие!... — Он горячо поцеловал в щеку лежавшего в обмороке отца, и от этого тот пришел в сознание.

Вновь оживший старик испустил глубокий вздох, поднял утомленные веки, и из-под серых кустов своих нависших бровей устремил на монаха умоляющий взор. — Ну как? — спросил он: — Что ты предназначил мне, дорогой? Небо или ад?

— Отец, — сказал Асторре взволнованным голосом, — твой срок истек! Твой час настал! Отрешишь от мирских вещей и забот! Помысли о душе! Посмотри, — вот твои священники — он разумел священников приходской церкви — собрались здесь рядом и ожидают с пресвятыми напутственными дарами.

Это так и было. Дверь соседнего покоя тихо отворилась, и оттуда блеснул слабый, чуть видный при дневном освещении, свет свечей; глухо звучало пение хора, и слышался тихий звон колокольчика.

Тут старик, чувствуя, что его колена уже погружаются в холодную воду Леты, ухватился за монаха, как некогда святой Петр на Генисаретском озере. — Ты сделаешь это ради меня! — пробормотал он.

— Если бы я мог! Если бы я смел! — вздохнул монах. — Ради всего святого, отец, помысли о вечности! Оставь земное! Твой час настал!

Это скрытое сопротивление загло последние остатки жизни Вичедомини пылающим огнем. — Непокорный! Неблагодарный! — гневался он.

Асторре подал знак священникам.

— Ради всех дьяволов, — бесновался старик, — оставьте меня в покое с своими коленопреклонениями и помазаниями! Мне нечего проигрывать, — я уже осужден и останусь таким даже посреди небесного сонма, если мой сын своевольно отвергнет меня и уничтожит семя моей жизни!

Монах, пришедший в ужас и глубочайше потрясенный этим свирепым богохульством, видел, что его отец безвозвратно обречен на вечную гибель. Так думал он, и был в этом убежден так же твердо, как был бы и я на его месте. В мрачном отчаянии он бросился перед умирающим на колени и со слезами стал молить его: — Господин мой! Заклинаю вас, пожалейте себя и меня!

— Дай хитрецу итти своей дорогой! — шепнул тиран. Монах этого не слышал.

Он снова подал знак удивленным священникам, и они уже готовы были начать предсмертные молитвы.

Тут старик съехался, как упрямый ребенок, потрясая своею седою головою.

— Дай хитрецу итти, куда хочет! — громче сказал Эццелино.

— Отец! Отец! — зарыдал монах, и его душа вся тонула в жалости.

— Светлейший господин и брат во Христе, — неуверенным голосом спросил один из священников: — находитесь ли вы в готовности принять своего Творца и Спасителя? — Старик молчал.

— Твердо ли вы стоите в вере в святую Троицу? Отвечайте мне, господин! — во второй раз спросил священник — и побледнел, как подотто, потому что умирающий громким голосом воскликнул: — Отрицаюсь от нее и поношу ее! Да будет она...

— Остановитесь! — вскричал монах и вскочил на ноги. — Я исполню вашу волю! Делайте со мной, что хотите! Только не низвергайте себя в вечное пламя!

Старик вздохнул как бы после тяжелого усилия; он с облег-

чением, — я чуть не сказал: с удовольствием, — посмотрел вокруг себя. На ощупь ухватился он рукою за белокурые волосы Дианы, поднял вставшую с колен женщину, взял ее за руку, — она не противилась, — раскрыл сжатую руку монаха и соединил обе эти руки.

— Законно! Перед святым причастием! — радостно воскликнул он и благословил чету. Монах не возражал, а Диана закрыла глаза.

— Теперь скорее, достопочтенные отцы! — заторопился старик: — я думаю, что надо спешить, и нахожусь в христианской готовности.

Монах и его невеста хотели отойти за священников. — Оставайтесь! — пробормотал умирающий, — оставайтесь тут, чтобы я мог видеть вас своими обрадованными глазами, пока они не потухнут. — Асторре и Диана, едва успевшие отступить на несколько шагов, должны были остановиться, взявшись за руки, перед угасавшим взором упорного старика.

Он пробормотал короткую исповедь, принял напутственное причастие и скончался в то время, когда ему помазывали ступни ног, и священник возглашал перед его уже не слышавшими ушами величественные слова: — Отыди с миром, христианская душа! — На мертвом лице застыло ясное выражение торжествующей хитрости.

Между тем как все вокруг стояли на коленях, тиран наблюдал за священным обрядом сидя, со спокойным вниманием, словно присматриваясь к чужому обычаю, или как ученый, разглядывающий на каком-нибудь саркофаге изображение жертвоприношения древнего народа. Он приблизился к покойнику и закрыл ему глаза.

Затем он обратился к Диане. — Благородная дама, — сказал он, — я думаю, нам следует идти домой. Родители ваши, хотя и осведомленные о вашем спасении, наверное, желают вас видеть. При этом вы одеты в нищенское платье, которое вам не пристало.

— Благодарю вас, государь; я иду за вами, — сказала Диана, но оставила свою руку в руке монаха, на которого до сих пор не решалась взглянуть. Теперь она посмотрела своему супругу прямо в лицо и сказала глубоким, но благозвучным голосом, при чем ее щеки покрылись темным румянцем:

— Мой господин и повелитель, мы не должны были дать погибнуть душе отца. Поэтому я стала вашею. Сохраните мне более верности, чем монастырю. Ваш брат не любил меня. Простите меня, что я так говорю: я говорю просто правду. Вы будете обладать во мне доброю и покорною женою. Но у меня есть два свойства, которые вы должны щадить. Я вспыльчива, когда затрагивают мое право или честь, и требовательна в том, что мне нельзя ничего обещать, не сдерживая обещания. Я еще в детстве с трудом это выносила или вовсе не терпела этого. У меня мало желаний, и я не требую ничего выше повседневного; только там, где мне что-нибудь показано и обещано, я требую исполнения, иначе я теряю веру и оскорбляюсь несправедливостью больше, чем другие женщины. Но смею ли я говорить это вам, мой господин и повелитель, которого я едва знаю? Я умолкаю. Будьте здоровы, супруг мой, и дайте мне девять дней, чтобы оплакать вашего брата. — Тут она медленно освободила свою руку из его руки и удалилась вместе с тираном.

Тем временем духовенство подняло и унесло тело, чтобы положить его на одр в домашней часовне и там отпеть.

Асторре остался один, в своей уже не нужной монашеской одежде, покрывавшей его полную раскаяния грудь. Толпа слуг, прислушавшаяся к странному происшествию и достаточно его понявшая, с покорным видом и робкими движениями приблизилась к своему новому господину; она была поражена и запугана не столько переменою хозяина, сколько предполагаемым святотатственным нарушением обетов — тихо прочитанная папская грамота не дошла до их слуха — и возвращением в мир достопочтенного монаха. Последнему не удалось оплакивать своего отца. Теперь, когда он снова овладел своею волею, в него закралось опасение — и не только опасение — им овладела возмущавшая его уверенность, что умирающий обманул его доверие и злоупотребил его милосердием. Он увидел в отчаянии старика уловку хитрости, а в диком богохульстве — рассчитанную игру на пороге смерти. Неохотно, почти враждебно, обратились его мысли к доставшейся ему жене. Его искушала хитрая монашеская мысль, что он будет любить ее не от своего сердца, а только как заместитель покойного брата; но

его здравый смысл и прямодушные отвергли это постыдное соображение. Теперь, когда он стал считать эту женщину своею, он не мог отрешиться от некоторого удивления, что его жена обратилась к нему с такою отчетливой и сурово-правдивою речью и стала объясняться с ним с такою деловитостью, без прикрытия и тумана, являясь гораздо более грубою и действительною, чем нежные образы легенд. Он думал, что женщины вообще мягче.

Тут монах вдруг обратил внимание на свою рясу и на несоответствие своих чувств и мыслей с нею. Он устыдился ее, и она стала ему тягостна. — Подайте мне мирское платье, — приказал он. — Его окружили суетливые слуги, из среды которых он вскоре вышел в одежде своего утонувшего брата: он был с ним почти одного роста.

В ту же минуту шут его отца, по имени Гоччоло, бросился ему в ноги и стал кланяться — не для того, чтобы, подобно другим, выпросить себе позволение остаться на службе, а затем, чтобы его уволили и разрешили ему переменить звание, так как свет ему уже наскучил, волосы у него седеют, и ему не пристало бы переходить на тот свет в дурацком колпаке с погремушками. С этими плаксивыми словами он завладел брошенной рясою, к которой прислуга боялась прикоснуться. Но его пестрый мозг и тут выкинул коленце: он похотливо прибавил: — А мне всетаки хотелось бы еще раз поестъ амарелей прежде, чем сказать «прости» миру и его искушениям. Я думаю, до свадьбы уж недолго ждать. — Он стал облизывать углы рта своим поблекшим языком, потом преклонил перед монахом одно колено, потряс своими бубенчиками и убежал, потащив за собою рясу.

— Амарели или амары, — пояснил Данте, — так называется падуанское свадебное печенье по причине своего горько-миндального вкуса, а вместе с тем — и с приятным намеком на глагол первого спряжения. — Тут рассказчик сделал паузу и закрыл лоб и глаза рукою, обдумывая дальнейший ход своей повести.

Между тем, к Кан-Гранде мерными шагами, с церемониальными поклонами и пространными извинениями, что должен прервать беседу, приблизился дворецкий государя, эльзасец, по имени Буркардо, и стал просить о распоряжениях по какому-то домаш-

нему делу. Немцы были в ту пору не в редкость при гибеллинских дворах Италии: их даже выискивали и предпочитали туземцам за их честность и прирожденную понятливость в отношении разных церемоний и обычаев.

Данте, снова подняв голову, увидел эльзаса и услышал его ломаную итальянскую речь, в которой мягкие согласные упорно смешивались с твердыми, забавляя придворных, но чувствительно оскорбляя тонкий слух поэта. Потом его взор с видимым удовольствием остановился на двух юношах, — Асканио и воине в панцире. Наконец, он задумчиво перевел глаза на обеих женщин, — на госпожу Диану, которая теперь оживилась, так что ее мраморные щеки слегка покраснели, и на Антиопу, подругу Кан-Гранде, красивое и непринужденное существо. Затем он стал продолжать:

— Сзади городского замка Вичедомини находилось в старину (теперь, когда знаменитый род уже угас, вся эта местность совершенно изменилась) обширное пространство, вплоть до крепкой и широкой городской стены, — настолько обширное, что здесь были и пастбища для стад, и загородки для оленей и ланей, и наполненные рыбою пруды, тенистые рощицы и озаренные солнцем виноградные беседки. В одно сверкающее утро, семь дней спустя после похорон, в черной тени кедра, прислонившись спиною к стволу и протянув носки своих башмаков на жгучее солнце, сидел монах Асторре: это имя осталось за ним среди падуанцев на всю его короткую жизнь, хотя он и стал мирянином. Он сидел или лежал против фонтана, где из уст равнодушной маски бежала прохладная струя, — недалеко от каменной скамьи, которой он предпочел мягкое ложе упругого дерна.

В то время, как он думал или грезил, не знаю о чем, на площадке перед дворцом, залитой уже почти полуденным солнцем, соскочили с запыленных коней два молодых человека, один — в панцире, другой — одетый изысканно, хотя и по-дорожному. Асканио и Джермано — так звали этих всадников — были любимцами правителя и, вместе с тем, товарищами юных лет монаха, с которым они по-братски учились и забавлялись до его пятнадцатого года, когда он стал послушником. Эдцелино посылал их к своему тестю, императору Фридриху.

Данте умолок и склонился пред великою тенью.

— Оба возвращались к тирану с ответными поручениями и, сверх того, везли ему последнюю новость: изготовленный в императорской канцелярии список папыского послания к христианскому духовенству, где Святой отец перед всем светом обвинял высокоумного императора в самом крайнем безбожии.

Хотя и будучи носителями важных, быть может, требовавших спешности поручений и тяжелого обвинительного документа, оба они не могли, однако, проехать к городскому замку тирана мимо дома друга своей юности, не останавливаясь. На ближнем к Падуге постоялом дворе, где они, не слезая с седел, кормили и поили своих лошадей, они узнали от болтливого хозяина о большом несчастии в городе и о том, что еще больше смутило горожан, — о гибели свадебной лодки и о сброшенной монахом рясе, почти со всеми подробностями, кроме, однако, обручения Дианы и Асторре, которое еще не сделалось общеизвестным. Неразрывные узы связывают нас с товарищами наших детских игр! Пораженные странною судьбою Асторре, оба не могли успокоиться, пока собственными глазами не увидят его, вновь ими обретенного. В течение долгих лет они только случайно встречали монаха на улице, приветствуя его, хотя и дружеским, но углубленным искренней почтительностью и несколько перемонным поклоном.

Гоччола, которого они встретили на дворе дворца, где он, занятый булкою, сидел на стенке и болтал ногами, провел их в сад. Идя впереди молодых людей, шут рассказывал им не о трагической судьбе этого дома, а только о своих собственных делах, которые казались ему гораздо более важными. Он рассказывал, что он горячо стремится к блаженной кончине, и при этом проглотил остаток булки, не пережевывая ее своими шатающимися зубами, так что чуть не подавился. Над гримасами, которые он корчил, и над его томлением по келье Асканио разразился таким веселым хохотом, который мог бы разогнать облака на небе, если бы оно в этот день и без того, от собственной радости, не сияло сверкающими красками.

Асканио не отказал себе в удовольствии пошутить над дурачком, хотя бы для того, чтобы отделаться от тягостного спутника.

— Бедняга! — сказал он, — ты не попадешь в келью, потому что, между нами, под большим секретом, — мой дядя, тиран, уже бросил на тебя завистливый взор. Вот, я тебе расскажу: у него четверо шутов, — Стоик, Эпикурец, Платоник и Скептик, так он их называет. Эти четверо, когда мрачный государь вздумает пошутить, становятся, по его мановению, по четырем углам залы, где на потолке красуется звездное небо с изображениями планет. Дядя, в домашнем платье, выходит на середину залы, хлопает в ладоши, — и философы в припрыжку меняются углами. Третьего дня Стоик с воем и визгом испустил дух, потому что, ненасытный, поглотил сразу несколько фунтов макарон. Дядя мимоходом дал мне понять, что думает заменить его другим, и будет просить монаха, твоего нового господина, взамен налога на наследство, отдать ему тебя, о Гоччола! Так вот, какое дело. Эццелино гонится за тобой! Кто знает, может быть, он и теперь за тобой следит.

Это был намек на вездесущие тирана, державшее падуанцев в страхе и постоянном трепете. Гоччола испустил крик, словно рука могучего властелина уже упала ему на плечо, оглянулся и, хотя за ним и не было никого, кроме его короткой тени, убежал, стуча зубами, в какое-то укромное место.

— Я зачеркиваю шутов Эццелино, — прервал себя Данте с движением как бы пера в руке, точно он писал свою историю вместо того, чтобы ее рассказывать. — Это — черта неверная, или же Асканио солгал. Совершенно нелепо, чтобы такой серьезный и по природе своей благородный человек, как Эццелино, мог кормить дураков и забавляться их глупостью. — Это был прямой укол флорентинца своему гостеприимному другу, на плаще которого, ослабившись на поэта, сидел Гоччола.

Кан-Гранде не подал вида, что понял намек. Он внутренне пообещал себе при первом случае отплатить с процентами.

Довольный, почти веселый, Данте стал продолжать свой рассказ.

— Наконец, оба нашли расстриженного монаха, который, как я сказал, прислонился спиной к стволу пинии...

— К стволу кедра, Данте, — поправила ставшая теперь внимательно государыня.

— ... К стволу кедра, и грел на солнце ступни. Он не заметил подошедших к нему с обеих сторон, — так глубоко он был погружен в свои пустые или полные грезы. Шаловливый Асканио нагнулся, сорвал травку и пощекотал ею нос монаха, так что тот трижды сильно чихнул. Асторре дружески схватил за руки товарищей юности и притянул их на дерн, направо и налево от себя. — Ну, что вы об этом скажете? — спросил он скорее застенчивым, нежели вызывающим тоном.

— Прежде всего — искренняя похвала твоему настоятелю и твоему монастырю! — пошутил Асканио: — они сохранили тебя свежим, Ты на вид моложе нас обоих! Впрочем, узкое мирское платье и гладкий подбородок, может быть, и молодят тебя. Знаешь ли ты, что ты — красивый мужчина? Ты лежишь под своим исполинским кедром, словно первый человек, которого Бог, как утверждают ученые, сотворил тридцатилетним, — и я, — продолжал он с невинным видом, заметив, что монах покраснел при его шутке, — конечно, не стану порицать тебя за то, что ты освободился от рясы, ибо поддерживать свой род есть желание всего живущего.

— Это не было ни моим желанием, ни свободным решением, — искренно сознался монах. — Против желания я исполнил волю умирающего отца.

— В самом деле? — улыбнулся Асканио. — Не рассказывай же об этом никому, Асторре, кроме нас, любящих тебя. В глазах других эта твоя несамостоятельность сделала бы тебя смешным или даже заслуживающим презрения. Кстати, так как мы заговорили про смешное, прошу тебя, Асторре, развиваться из монаха в человека, не оскорбляя хорошего вкуса! Трудный переход должен быть выполнен заботливо и постепенно. Прими совет! Поезжай, например, на годик ко двору императора, откуда в Падую и обратно постоянно ездят гонцы. Попроси Эццелино послать тебя в Палермо! Там, вблизи совершеннейшего рыцаря и свободнейшего от предрассудков человека — я разумею нашего Фридриха II — ты узнаешь и женщин и отвыкнешь от монашеской манеры или боготворить их или не ставить ни во что. Дух государя дает окраску двору и городу. Жизнь, как она сложилась здесь, в Падуре, под властью моего дяди, тирана, — дикая, неумеренная и

склонная к насилию, даст тебе ложное представление о свете. Палермо, где под властью человечнейшего из всех государей забава и дело, добродетель и порок, верность и непостоянство, добрая вера и умное недоверие соединяются в должных соотношениях, даст понятие более правильное. Там ты прилично пробездельничаешь целый год с нашими приятельницами или неприятельницами, — монах наморщил лоб, — проделаешь какой-нибудь поход, однако, не подвергая себя необдуманно опасности, — подумай о своем назначении, — только для того, чтобы снова вспомнить, как обращаться с лошадью и мечем, — мальчиком ты это умел, — будешь везде внимательно смотреть своими живыми темными глазами, которые — клянусь факелом Авроры! — светятся и мечут искры с тех пор, как ты оставил монастырь, — и вернешься к нам мужем, владеющим собою и другими.

— Ему бы там, у императора, жениться на швабке, — добродушно посоветовал молодой человек в панцире: — они благочестивее и надежнее наших женщин.

— Да замолчишь ли ты? — Асканио погрозил ему пальцем. — Не надоедай мне этими белокурыми косами! — Но монах пожал руку Джермано, которую еще не выпускал из своей.

— По правде, Джермано! — стал допрашивать он: — что скажешь ты об этом?

— О чем? — сердито спросил тот.

— Да о моем новом звании?

— Асторре, друг мой, — отвечал тот несколько смущенный: — когда дело сделано, тогда уж не спрашивают советов и мнений. Отстаиваешь себя там, где стоишь. Но если ты решительно хочешь знать мое мнение, то вот, Асторре: нарушенная верность, измена слову, бегство от знамени и так далее, — всему этому в Германии дают грубые названия. Конечно, у тебя вышло совсем иначе, этого нельзя и сравнивать: всетаки, умирающий отец... Асторре, милый друг мой, ты поступил очень хорошо, но противоположное было бы еще лучше. Таково мое мнение, — прямодушно закончил он.

— Так, значит, если бы ты был здесь, ты отказал бы мне в руке твоей сестры, Джермано?

Тот словно упал с облаков.—В руке моей сестры? Дианы? Той, которая оплакивает твоего брата?

— Той самой. Она—моя нареченная.

— О, превосходно!—воскликнул светски умный Асканио.—Радуюсь!—прибавил Джермано.—Дай обнять тебя, шурин!—Не смотря на свою прямогу, он был тонок в отношениях к людям. Но он подавил вздох. Хотя он сердечно любил свою суровую сестру, однако, по своему естественному чувству, он дал бы монаху, сидевшему рядом с ним, другую жену.

Он покрутил ус, а Асканио повернул руль беседы.

— Собственно говоря, Асторре,—весело заболтал он,—нам надо бы начать с того, чтобы снова познакомиться друг с другом: ведь между нашим детством и сегодняшним днем лежит не меньше пятнадцати твоих созерцательных монастырских годов. Не то, чтобы мы за это время изменились в своей сущности,—кто ее переделает?—но мы выросли. Вот этот, например,—он указал на Джермано,—считается теперь прекрасным воином; но я виню его за то, что он стал полунемцем. Он...—Асканио сделал движение рукою, словно выпивает кубок,—и после этого становится задумчивым или сварливым. И он презирает нашу сладкую итальянскую речь.—Буду говорить с вами по-немецки!—хвастается он и начинает ворчать медвежьими звуками нечеловеческого языка. Тут его прислуга бледнеет, кредиторы разбегаются, а наши падуанки поворачивают к нему свои красивые спины. Поэтому он, может быть, остался таким же девственником, как и ты, Асторре,—и он ласково положил монаху руку на плечо.

Джермано искренно засмеялся и ответил, указывая на Асканио:—А вот этот нашел свое призвание, сделавшись совершенным придворным.

— Ты ошибаешься, Джермано,—возразил любимец Эццелино.—Мое призвание было в том, чтобы легко и весело наслаждаться жизнью!

И в доказательство этого, увидев, что дочка садовника на некотором расстоянии крадется мимо, косясь на своего нового господина, монаха, он ласково-повелительно подозвал ее. Красивое дитя несло на своей улыбающейся головке корзину, переполненную

виноградом и фигами, и поглядывало скорее плутовски, чем застенчиво. Асканио вскочил. Он обнял левой рукою стройный стан девушки, а правой взял себе из корзины кисть винограда. Вместе с тем его уста стали искать пухлых губок.

— Я жажду,—говорил он. Девушка застыдилась, но стояла тихо, так как не хотела разронять своих плодов. Монах с неудовольствием отвернулся от двух ветренников, и испуганная девушка убежала, заметив суровое монашеское движение, усыпая путь своего бегства падавшими плодами. Асканио, державший свою виноградную кисть в руке, поднял за беглянкою еще две другие и одну из них предложил Джермано, но тот с пренебрежением бросил в траву ягоды, не обращенные в вино. Другую путник протянул монаху. Тот также некоторое время не прикасался к ней, но потом, не думая, попробовал сперва одну сочную ягоду, а вскоре затем и другую, и третью.

— Придворный?—продолжал Асканио и, забавляясь жеманством тридцатилетнего монаха, снова бросился рядом с ним на траву.—Не верь этому, Асторре! Верь противному! Я—единственный, кто тихо, но вразумительно уговаривает моего дядю, чтобы он не был жесток, чтобы он оставался человеком.

— Он только справедлив и верен самому себе,—сказал Джермано.

— Какова его справедливость!—жалобно сказал Асканио,—и какова его логика! Падуя—имперское ленное владение. Эццелино—правитель. Кто ему не нравится, тот, значит, восстает против империи. Сделаться государственным изменником...—Он не мог договорить.—Ужасно!—пробормотал он.—Да и вообще, почему мы, итальянцы, не смеем жить своею собственною жизнью под нашим теплым небом? На что этот туманный призрак империи, который мешает нам дышать? Я говорю не о себе. Я прикован к дяде. Умри император—Бог да сохранит его!—вся Италия с проклятиями и злобою бросится на тирана Эццелино, а племянника убьют так, заодно.—Асканио поглядел на лучезарное небо над роскошною землею и вздохнул.

— Нас обоих,—хладнокровно добавил Джермано.—Но это еще не скоро. У нашего властелина есть ясное пророчество. Ученый

Гвидо Бонатти и Павел Багдадский, который своею длинною бородою метет пыль на улице, хотя обыкновенно они, как соперники, очень сильно расходятся друг с другом, единодушно истолковали ему новое странное созвездие: рано или поздно сын нашего полуострова завоюет его нераздельный венец с помощью германского императора, который, в свою очередь, по ту сторону гор соберет все немецкое в одну твердую имперскую державу. Фридрих ли — этот император? Эццелино ли — этот король? Это известно только Богу, ведающему время и час; но ради этого властитель поставил на карту свою славу и наши головы.

— Сплетенье разума и бреда! — сердито сказал Асканио, в то время как монах удивлялся могуществу звезд, обширному честолюбию властителей и всеувлекающему потоку мира. Его пугал и призрак начинавшейся жестокости Эццелино, в котором он протодушно видел воплощенную справедливость.

Асканио отвечал на его молчаливое сомнение, продолжая: — Пускай их обоих постигнет лютая смерть, — и хмурого Гвидо, и бородатого язычника. Они заставляют дядю следовать своим причудам и капризам, а тот думает, что делает необходимое. Поглядел бы ты на него, Джермано, как он за своим скудным столом окрашивает воду в прозрачном хрустальном кубке тремя или четырьмя каплями кроваво-красного сицилийского, которое он себе позволяет! Как его внимательный взор следит за этою кровью, которая медленно, маленьким облачком, расходится в чистой воде! Или — как он любит закрывать глаза мертвецам, так что стало уже делом вежливости приглашать правителя, словно на праздник, к смертному одру и предоставлять ему это печальное действие! О, Эццелино, государь мой, не делайся жестоким! — воскликнул юноша в порыве сильного чувства.

— Думаю, что не сделаюсь, племянник! — сказал кто-то сзади него. Это был Эццелино. Подойдя незаметно, он, хотя не подслушивал, но слышал последнее горестное восклицание Асканио.

Три молодых человека быстро встали и приветствовали властителя, который сел на скамью. Его лицо было спокойно, как маска фонтана.

— Вы, мои посланцы, — спросил он у Асканио и Джермано: —

как же это вы вздумали посетить вот этого — он слегка кивнул в сторону монаха — раньше, чем меня?

— Он — товарищ нашего детства и претерпел испытания, — извинялся племянник. Эццелино этим удовлетворился. Он принял письма, которые Асканио, преклонив колено, передал ему. Все он спрятал к себе за пазуху, кроме буллы: — Вот, посмотрим, — сказал он, — последнюю новость. Читай, Асканио! У тебя глаза моложе моих.

Асканио стал читать папское послание, а Эццелино правую рукою перебирал бороду и слушал с демоническим удовольствием.

В начале венчанный тройной тиарой автор давал высокоумному императору наименование апокалиптического зверя. — Я это знаю, это нелепость, — сказал тиран. — И меня тоже первосвященник в своих посланиях титуловал всячески, пока я не обратился к нему с увещанием — впредь поносить меня, носящего имя Эццелино Римлянина, на классическом языке. Как называет он меня на этот раз? Любопытно! Отыщи мне место, Асканио, — тут это, конечно, есть, — где он упрекает моего тестя в зловредном общении со мной. Подай-ка сюда! — Он взял послание и скоро нашел это место: папа обвинял императора в том, что он любит супруга своей дочери, — Эццелино да-Романо, величайшего преступника на обитаемой земле.

— Правильно! — похвалил Эццелино и вернул послание Асканио. — Ну, прочитай, племянник, про безбожные деяния императора, — усмехнулся он.

Асканио стал читать: Фридрих говорил, что наряду со многими ложными представлениями существует только два истинных бога: природа и разум. Тиран пожал плечами.

Асканио читал дальше: Фридрих говорил, что три обманщика, — Моисей, Магомет и — он запнулся — обмануди весь свет.

— Поверхностно, — с неодобрением отозвался Эццелино: — у них были свои звезды; но это изречение, было ли оно сказано или нет, врезывается в память и в глазах тиароносца стоит войска и флота. Дальше!

Тут дошла очередь до странного рассказа: будто бы Фридрих,

проезжая через волнуемое хлебное поле, шутил со своею свитою и с богохульным намеком на святое причастие произнес следующее трехстишие:

Сколько колосьев, столько богов;
К солнцу выходят они из гробов,
Главой помавая по воле ветров.

Эццелино задумался.—Странно!—прошептал он.—Моя память сохранила этот стишок. Это совершенно верно. Император сказал мне его весело улыбающимися устами, когда мы вместе проезжали мимо развалин храма Энны по тем покрытым колосьями полям, которыми богиня Церера благословила сицилийскую землю. Об этом я помню с тою же ясностью, какою блистал над островом тот летний день. Конечно, не я сообщил первосвященнику эту веселую шутку: я для этого слишком серьезен. Кто же это сделал? Будьте судьями, юноши! Мы ехали втроем, и третьим—а в этом я так же уверен, как и в этом лучезарном солнце,—оно как раз в это время пронизало зелень своим лучем,—был Пьетро де-Винча, неотлучный при императоре. Неужели благочестивый канцлер испугался за свою душу и облегчил себе совесть письмом в Рим? Что, сарацин едет сегодня? Да? Скорее, Асканио! Я продиктую тебе одну строчку.

Тот вынул табличку и палочку, стал на правое колено и начал писать, пользуясь левым, как опорю:

«Великий государь и возлюбленный тесть! Одно краткое слово. Стишок в булле—вы слишком умны, чтобы повторяться,—слышали только четыре уха: мой и вашего Пьетро, на хлебных полях Энны, год тому назад, когда вы призвали меня к своему двору, и я вместе с вами объезжал остров. Об этом не помнит ни один петух,—разве только евангельский, подтвердивший измену Петра. Если вы, государь, любите меня и себя, то испытайте своего канцлера строгим допросом.

— Кровавая игра слов! Этого я не напишу! Рука дрожит у меня! — воскликнул побледневший Асканио. — Я не повлеку канцлера на пытку! — и он бросил палочку.

— Дело службы, — сухо заметил Джермано, поднял палочку и

докончил письмо, которое затем положил к себе под панцырь.— Оно пойдет сегодня же,—сказал он.—Мне, по моей простоте, никогда не нравился этот капуанец: у него скрытный взгляд.

Асторре почувствовал дрожь, несмотря на полуденное солнце. В первый раз монах, покинувший мирную обитель, словно схватил руками скользкие извивы ехидны, недоверчивость или предательство света. Из его раздумья вызвало его строгое слово Эццелино, с которым тот обратился к нему, поднявшись со своей каменной скамьи:

— Скажи, монах, зачем ты хоронишь себя в своем доме? Ведь ты еще не выходил из него с тех пор, как надел мирское платье. Ты боишься общественного мнения? выступи против него, — оно отступит! Если же ты сделаешь движение к побегу, то оно уцепится за твои ноги, как воющая свора. Посетил ли ты свою невесту Диану? Неделя траура уже прошла. Я тебе советую: созови сегодня же своих родичей и сегодня же обвенчайся с Дианой.

— А затем скорее уезжайте в твой самый дальний замок! — закончил Асканио.

— Этого я не советую, — запретил тиран. — Никакой боязни! Никакого бегства! Сегодня ты обвенчаешься, а завтра отпразднуешь свадьбу маскарадом. Valetе! — Он ушел, дав знак Джермано следовать за ним.

— Можно мне перебить? — спросил Кан-Гранде, настолько вежливый, чтобы подождать естественной остановки рассказа.

— Ты—господин,—угрюмо ответил флорентинец.

— Считаешь ли ты бессмертного императора действительно способным сказать то слово о трех великих обманщиках?

— Non liquet (не ясно).

— Я подразумеваю: по твоему внутреннему чувству?

Данте отрицательно покачал головою.

— Однако, ты поместил его, как безбожника, в шестом кругу своего Ада. Как решился ты это сделать? Приведи оправдания.

— Светлейший, — отвечал флорентинец: — «Комедия» обращается к моему поколению. А оно—справедливо или несправедливо—читает на этом возвышенном челе самое страшное. богохульство. Может быть, будущие рассудят иначе.

— Мой Данте,—вторично спросил Кан-Гранде:—считаешь ли ты Пьетро де-Винеа невиновным в измене императору и империи?

— Non liquet.

— Я подразумеваю: по твоему глубокому чувству?

Данте сделал такое же отрицательное движение.

— А в своей «Комедии» ты заставляешь изменника уверять в своей невиновности!

— Государь,—оправдывался флорентинец:—стану ли я там, где нет ясных доказательств, обвинять в измене еще одного сына полуострова, когда среди нас уже и так много коварных и двусмысленных!

— Данте, мой Данте,—сказал государь:—ты не веришь в вину и обвиняешь! Ты веришь в вину—и оправдываешь!—Затем он, шутя, повел рассказ дальше:

— Монах и Асканио также оставили сад и пошли в залу.— Но Данте прервал его.

— Нет, они поднялись на башню, в ту самую комнату, где Асторре жил мальчиком, с неостриженными еще локонами: он избегал больших и роскошных покоев, к которым ему надо было еще привыкнуть, чтобы считать их своею собственностью, точно так же, как еще ни одним пальцем не коснулся доставшегося ему золотого сокровища. За обоими, по повелительному знаку Асканио, на должном расстоянии, последовал дворецкий Буркардо мерными шагами и с недовольным выражением лица.

Его тезка, дворецкий Кан-Гранде, окончив свои дела, вернулся в залу и стал с любопытством прислушиваться, так как заметил, что речь идет о хорошо известных лицах; но когда услышал свое собственное имя и неожиданно увидел себя во весь рост в зеркале рассказа, он нашел это злоупотребление своею почтенною особою дерзким и совершенно неуместным в устах принятого в дом ученого и терпимого беглеца, которому он, строго взвесив отношения и различия, отвел самую простую комнату в верхнем этаже княжеского дома. Что другие допускали с улыбкою, он принял за оскорбление. Он насупил брови и стал ворочать глазами. Флорентинец с серьезным лицом любовался негодованием педанта, не прерывая своего повествования.

— Достойный господин,—спросил Асканио у дворецкого (кажется, я говорил, что он был родом эльзасец,—как в Падуе совершаются бракосочетания? Асторре и я—неопытные дети в этой науке.

Дворецкий стал в позицию, пристально глядя на своего господина и не удостоивая взглядом Асканио, который, по его понятиям, ничего не мог ему приказывать.

— Distinguendum est,—торжественно сказал он:—следует различать сватовство, обручение и свадьбу.

— А где это написано?—пошутил Асканио.

— Ессе!—отвечал дворецкий, раскрывая большую книгу, с которою никогда не расставался.

— Здесь!—и, протянув палец левой руки, указал на заглавие, которое гласило: «*Падованские церемонии, по точным изысканиям на пользу и благо всем почтенным и пристойным собраниям меэсером Годоскалько Буркардо*». Он перелистывал книгу и стал читать:—Отдел первый: Сватовство. Параграф первый: Действительно желающий свататься приводит с собою друга одинакового с ним сословия, как законного свидетеля...

— Ради чрезмерных заслуг моего святого покровителя,—не терпеливо перебил Асканио,—оставь нас в покое относительно ante и post, сватовства и свадьбы, и подай нам среднее блюдо: как происходит в Падуе обручение?

— В Падуе,—закаркал раздраженный эльзасец, более обыкновенного обнаруживая свой варварский выговор в состоянии волнения,—на плягородное опручение приквашаются дфенадцать высоких родов—тут он на память пересчитал их—десятью днями вперед, не раньше, не позже,—тюрецкий жениха, в сопровождении шести слуг. В этом светлейшем собрании обмениваются кольцами. Пьют кибрское вино и кушают сватебное беченье амерелли...

— Дай нам Бог не переломать себе зубов!—засмеялся Асканио и, вырвав книгу у дворецкого, пробежал список имен, в котором шесть глав семейств—шесть из дфенадцати—и несколько молодых людей были зачеркнуты широкими чертами. Вероятно, они оказались, замешанными в какой-нибудь заговор против тирана и нашли в этом свою гибель.

— Слушай, старина!—приказал Асканио, действуя вместо монаха, который уселся в кресло и, погружившись в мысли, охотно допускал эту дружескую опеку.—Ты сделаешь свой обход с шестью туеядцами сейчас, теперь же, немедленно,—понимаешь? и пригласишь сегодня же на вечер.

— Десятью днями вперед,—величественно повторил Буркардо словно возвещая государственный закон.

— Сегодня, и на сей же день, упрямец!

— Невозможно,—спокойно сказал дворецкий.—Уж не желаете ли вы изменить течение созвездий и времен года?

— Так ты—бунтовать? У тебя чешется шея, старик?—погрозил Асканио с какою-то странною улыбкою.

Этого было достаточно. Буркардо понял. Эццелино повеле!—и упрямейший из педантов покорился безропотно: такова была железная рука тирана.

— Затем,—обеих госпож Каносса, Олимпию и Антиопу, ты приглашать не будешь.

— Отчего же?—вдруг спросил монах, точно его коснулся волшебный жезл. Воздух окрасился перед его взорами, и ему представилась картина, первые очертания которой приковали к себе всю его душу.

— Оттого, что графиня Олимпия—сумасшедшая, Асторре. Разве ты не знаешь историю этой бедной женщины? Впрочем, ты в эту пору был еще в пеленках, я хочу сказать,—в рясе. Это было три года тому назад, когда деревья стали желтеть.

—Летом, Асканио. Как раз подходит годовщина,—возразил монах.

— Ты прав,—так ты знаешь эту историю? Но как же ты мог?... В это время граф Каносса стал перешептываться с папским легатом; его подслушали, схватили и осудили. Графиня бросилась в ноги дяде, но он прикрылся молчанием. Потом она преступнейшим образом была обманута одним жадным придворным, который, ради выгоды, стал уверять ее, что граф будет помилован перед плахой. Это не исполнилось, и когда к графине принесли обезглавленное тело, она, внезапно перейдя от надежды к отчаянию, выбросилась к нему навстречу в окно, но, к удив-

влению, не пострадала, а только свихнула себе ногу. Но с этого дня ее ум был уже расстроен. Естественные настроения незаметно сменяются одно другим, как угасающий свет надвигающимися сумерками; но ее душевные порывы в бешеных скачках от света к мраку меняются в течение двенадцати часов двенадцать раз. Мучась постоянно тревогою, несчастная женщина спешит из своего опустелого городского дворца в деревню, а из нее—опять в город, вечно переменяя место. Сегодня она хочет выдать свою дочь за сына арендатора, потому что только в низкой доле можно найти защиту и покой, а завтра и самый высокородный жених,—который, впрочем, не решается выступить, опасаясь такой матери,—покажется ей недостаточно знатным...

Если бы Асканио во время своей речи бросил хоть беглый взгляд на монаха, он умолк бы с удивлением, так как лицо монаха засветилось состраданием и жалостью.

— Когда тиран,—продолжал невнимательный Асканио,—едет на охоту мимо дома Олимпии, она бросается к окну и ожидает, что он у ее порога сойдет с лошади и благосклонно и милостиво возвратит попавшую в немилость, но уже довольно пострадавшую, к своему двору, к чему он в действительности не имеет никакого желания. На другой день, или даже в тот же день, она начинает воображать, будто Эццелино, который вовсе о ней и не думает, преследует и гонит ее. Она считает себя разоренною, а свои имения, которые он оставил в неприкосновенности, взатыми в казну. Так она то горит, то мерзнет в перемежающейся лихорадке самых резких противоречий, и не только сама сумасшествует, но сводит с ума все, что соприкасается с водоворотом ее мыслей, и повсюду, где ей верят, приносит беду,—так как она сумасшедшая только на половину и иногда говорит метко и остроумно. Не может быть и речи о том, чтобы ее позвать в общество и на праздник. Удивительно, как еще ее дочь, Антиопа, которую она боготворит и замужество которой стоит в центре всех ее фантазий, могла сохранить свой рассудок на этой шаткой почве. Но у этой девушки, которая как раз теперь в полном расцвете юности и довольно красива, хорошая натура...—Так он продолжал говорить еще некоторое время.

Но Асторре погрузился в свою грезу. Я говорю так потому, что минувшее есть греза; а монах видел то, что он пережил три года тому назад: плаху, около нее—палача и самого себя на месте заболевшего собрата, как духовного утешителя, ожидающего приговоренного. Последний—граф Каносса—появился в оковах, но решительно не хотел поддаваться,—оттого ли, что мечтал, будто теперь, когда он стоит перед плахой, не замедлит прийти помилование, или просто оттого, что любил солнце и ненавидел могилу. Он обошелся с монахом резко и пренебрег его молитвами. Предстояла ужасная борьба, так как он продолжал противиться и упираться: он держал за руку свое дитя, которое незаметно для стражи подбежало к нему и обхватило его, направив на монаха взор своих выразительных глаз, полный глубокой мольбы. Отец крепко прижал девочку к своей груди, как бы желая этою молодую жизнью прикрыться от уничтожения; но палач повалил его и прижал его головою к плахе. Тут ребенок положил и свою голову и шею рядом с отцовскою. Хотел ли он пробудить сожаление в палаче? хотел ли ободрить отца, дать ему силу претерпеть неизбежное? хотел ли шепнуть непримиренному на ухо имя какого-нибудь святого? совершил ли неслыханное, не подумавши и без рассуждения, из непомерной детской любви? или просто хотел умереть вместе с отцом?

Тут краски засверкали так ярко, что монах в совершенно живом образе увидел в нескольких шагах перед собою две рядом лежащие шеи,—красную, как черепица, шею графа и белоснежную шейку ребенка с завитками темно-золотистого пуха. Эта шейка была чрезвычайно красива и необыкновенно стройна. Асторре вздрогнул: ведь падающий топор мог ошибиться!—и почувствовал себя потрясенным до глубины души, не меньше, чем в тот раз; только теперь он не лишился чувств, как это с ним случилось тогда, когда страшная сцена произошла на самом деле и в действительности, и он пришел в себя только тогда, когда все было уже кончено.

— Желает ли мой повелитель дать мне поручение?—прервал его мечты картавый голос дворецкого, которому было неприятно, что Асканио дает ему приказы.

— Буркардо,—ответил Асторре мягким голосом,—не забудь пригласить обеих госпож Каносса;—мать и дочь. Пусть не говорят, что монах отдаляет от себя избегаемых и покинутых светом. Я уважаю право несчастной,—тут дворецкий выказал свое одобрение усердными кивками,—быть приглашенной и принятой у меня. Если бы ее обошли, это тяжко обидело бы ее в нынешнем ее положении.

— Ради Бога, не надо!—предостерег его Асканио.—Не повреди себе еще этим,—твое обручение уже само по себе довольно странно, а странное возбуждает сумасшедших. Она, по своему обыкновению, сделает что-нибудь невероятное и бросит какое-нибудь безумное слово в празднество, которое и без того уже волнует всех падуанок!

Но Буркардо зубами вцепился за право госпожи Каносса—все равно, в здравом уме или нет,—быть приглашенной в числе двенадцати и, считая своим долгом послушание только Вичедомини и никому иному, глубоко поклонился монаху.—Твоей светлости одной будет оказано повиновение,—сказал он и удалился.

— О, монах, монах!—воскликнул Асканио,—ты несешь милосердие в свет, где и простая доброта едва остается безнаказанною!

— Вот каковы мы, люди,—вставил от себя Данте:—часто пророческий свет указывает нам край пропасти, но затем появляется остроумие, и умничает, и смеется, и уговаривает нас, что никакой опасности нет.

В этом же роде успокаивал и спрашивал себя легкомысленный: какое отношение имеет помешанная к монаху, в жизни которого она не играет ни малейшей роли? И в конце концов,—если она заставит нас посмеяться, то это будет приправою к амарелим! Он даже издали не догадывался о том, что делалось в душе Асторре: да если бы и догадался и захотел допытаться, то тот не выдал бы этому мирскому существу своей целомудренной тайны.

Таким образом, Асканио успокоился и, вспомнив о другом приказании тирана—вести монаха в общество—весело спросил:—А позаботились ли об обручальном кольце, Асторре? Ведь в книге церемоний написано,—отдел второй, параграф такой-то: происхо-

дит обмен кольцами.—Тот отвечал, что кольцо найдется в домашнем хранилище.

— Это не годится, Асторре, — сказал Асканио. — Послушайся меня, купи своей Диане новое. Кто знает, какие истории пристали к подержанным кольцам. Брось старое! Да это и очень легко устроить: ты купишь ей кольцо у флорентинца на мосту. Знаешь ты его? Да как тебе знать! Слушай: когда сегодня я, вместе с Джермано, в ранний час, возвращаясь в город, въехал на наш единственный мост через канал, нам пришлось спешиться и повести лошадей, — такая там была толпа: на выветрившейся вышке устоя моста открыл свою лавочку золотых дел мастер, и вся Падуя сбежалась туда покупать и торговаться. Отчего же на тесном мосту, Асторре, когда у нас столько площадей? Да оттого, что во Флоренции ювелирные лавки находятся на мосту через Арно. И вот — удивительная логика моды! — где же и купить хорошенькую вещицу, как не у флорентинца, и где же найти флорентинца, как не на мосту? Иначе он не поступает, потому что в противном случае его товар был бы грубой подделкой, и сам он — не настоящим флорентинцем. Но этот, кажется, настоящий. Ведь не даром же он огромными буквами написал над своей лавкой: *«Никколо Липпо деи-Липпи, золотых дел мастер, изгнанный из отечества корыстным и несправедливым приговором, какие стали обычны на Арно»*.

Вперед, Асторре! пойдем к мосту!

Монах не возражал, так как сам чувствовал потребность выйти из дома, которого он не оставлял с того времени, как сложил с себя рясу.

— А денег ты захватил, почтенный инок? — пошутил Асканио. — Ведь твой обет бедности теперь отпадает, а флорентинец запросит с тебя дорого!

Он постучал в раздвижное окошечко, расположенное в нижнем этаже домового управления, мимо которого проходили молодые люди. Показалось хитрое лицо, с обманом в каждой морщинке, и управляющий Вичедомини, — если не ошибаюсь, генуэзец, — с подобострастным поклоном протянул своему господину кошелек, наполненный византийскими червонцами. Затем слуга надел на монаха удобный падуанский летний плащ с капюшоном.

На улице Асторре глубоко натянул этот капюшон себе на голову, не столько в защиту от жгучих лучей солнца, сколько по давней привычке, и дружески обратился к своему спутнику:

— Не правда ли, Асканио, — сказал он, — эту прогулку я могу сделать и один? Купить простое золотое кольцо — это не выше моего монашеского ума? Ты мне в этом поверишь? Ну, до свидания на моем обручении, когда зазвонят к вечерне!

Асканио пошел, но еще крикнул, обернувшись, через плечо: — Одно, а не два! Твое даст тебе Диана. Запомни это, Асторре! — Это был один из тех ярких мыльных пузырей, которые весельчак пускал не раз ежедневно из своих уст на воздух.

Если вы спросите меня, господа, почему монах отослал своего друга, то я скажу: он хотел, чтобы тот небесный звук, который вызвала в его душе юная мученица детской любви, звучал до конца чисто.

Асторре дошел до моста, который, не смотря на зной, был полон народа, так как с обоих берегов к лавке флорентинца устремлялась двойная толпа. Монах оставался неизвестным под своим плащом, хотя время от времени тот или иной взгляд с вопросом останавливался на незакрытой части его лица. Дворяне и горожане друг перед другом старались пробиться вперед. Знатные дамы выходили из носилок и вмешивались в тесноту и давку, чтобы купить пару браслет или диадему новейшего образца. Флорентинец со звонками оповестил на всех площадях, что закрывает лавочку сегодня после Ave Maria. Он этого и не думал. Но, — что стоит флорентинцу солгать?

Наконец, монах, стиснутый между людьми, оказался перед лавкою. Торговец, которого все теребили, так что он разрывался на десять частей, скользнул по нему опытным взглядом — и сразу угадал новичка. — Чем могу служить тонкому вкусу вашей светлости? — спросил он. — Дай мне простое золотое кольцо, — отвечал монах. Купец схватил кубок, на котором, по флорентийскому стилю, красовалось какое-то роскошное рельефное изображение. Он потряс этот сосуд, внутри которого зазвенела сотня колец, и предложил его Асторре.

Тот оказался в тягостном затруднении. Он не знал меры пальца,

на который ему придется надеть кольцо, и, вынув несколько из них, видимо колебался между более широким и более узким. Флорентинец не мог удержаться от шутки, так как на Арно во всякой речи сквозит скрытая насмешка.—Разве господин не знает меры пальца, который он, ведь, иногда все-таки пожимал?—спросил он с невинным видом, но, как умный человек, сейчас же и поправился, и, сообразив про себя, что подозрение в незнании оскорбительно, а подозрение в грехе лестно, дал Асторре два кольца, одно побольше, другое поменьше, ловко перенадев их с большого и указательного пальцев обеих своих рук на большой и указательный пальцы монаха.—Для двух возлюбленных вашей светлости,—с поклоном прошептал он.

Прежде, чем монах успел рассердиться на легкомысленную речь, он почувствовал сильный толчек. Плечевое крыло лошадиного панциря задело его так крепко, что он уронил меньшее кольцо. В ту же минуту в ушах у него раздался оглушительный звук восьми труб. Военная музыка германской охраны правителя ехала через мост двумя рядами, оба по четыре лошади, расталкивая людей и заставляя их прижиматься к каменным перилам.

Как только трубачи проехали, монах, быстро спрятав в своем платье остававшееся у него большое кольцо, бросился за маленьким, которое под лошадиными копытами укатилось в сторону.

Старый настил моста был посередине выдолблен от езды, так что кольцо скатилось в углубление и затем собственным движением покатилося вверх на другую сторону его. Тут молодая служанка, по имени Изотта или, как сокращают это имя в Падуе, Зотта, поймала катившуюся блестящую вещичку, с опасностью быть раздавленной лошадьми.—Колечко счастья!—радостно вскрикнуло неразумное создание и с детским ликованием, подойдя к своей молодой госпоже, которую сопровождала, стала надевать ей находку на изящный палец, четвертый на левой руке, который по своему тонкому строению показался ей особенно подходящим и достойным этого небольшого украшения. Но в Падуе, как и здесь, в Вероне, если не ошибаюсь, на левой руке обыкновенно носят обручальное кольцо.

Благородная девушка, повидимому, досадовала на эту шутку,

которая, впрочем, немножко ее и забавляла. Она усердно старалась снять с пальца чужое кольцо, которое оказалось как будто нарочно для нее сделанным. Тут перед нею неожиданно оказался монах и поднял руки в радостном удивлении. Его движение состояло в том, что он протянул перед собою открытую правую руку, подняв левую на высоту сердца, так как он, не смотря на успешную развитую красоту, по удивительно стройной шее, а еще более—по движению своей души, узнал того ребенка, нежную головку которого он видел на плахе.

В то время, как девушка, смотря на монаха смущенным, возпросительным взором, все возилась с упрямым кольцом, Асторре медлил его потребовать. Но это надо было сделать. Он заговорил:

— Благородная девица,—начал он и вдруг почувствовал, что его обхватили две сильные руки, закованные в панцирь, овладели им и приподняли вверх. В одно мгновение, с помощью другого латника, он оказался верхом на перебирающей копытами лошади, одна нога направо, другая налево.

— Ну-ка, покажи,—раздался добродушный смех,—не разучился ли ты ездить верхом?—Это был Джермано: он ехал во главе немецкого отряда, которым командовал и которому правитель приказал явиться на смотр в поле, недалеко от Падуи. Неожиданно увидев в толпе своего друга и шурина, он позволил себе невинную шутку—посадить его рядом с собою на лошадь, с которой, по его знаку, спрыгнул молодой немец. Пылкое животное, почуяв перемену седока, сделало пару диких прыжков, лошади столпились на тесном мосту, и Асторре, с которого свалился капюшон и который с трудом удерживался в седле, был узнан расступившимся в ужасе народом.

— Монах! Монах!—кричали и указывали со всех сторон, но воинственная кучка уже съехала с моста и исчезла за углом улицы. Оставшийся без уплаты флорентинец побежал было вслед, но сделав всего два десятка шагов, испугался за свой товар, оставшийся под слабою охраною мальчугана; а из возгласов толпы он узнал, что имеет дело с известною личностью, которую легко будет разыскать. Он попросил указать ему дворец Асторре и стал являться туда сегодня, завтра, послезавтра. В первые два раза

он ничего не добился, потому что в доме монаха все шло вверх дном, а в третий раз нашел на запертых воротах печати тирана. С ним трус не захотел иметь никакого дела, и таким образом потерял свои деньги.

А женщины — к Антиопе и легкомысленной служанке присоединилась еще третья, оттесненная от них смятением на мосту, пошли в противоположную сторону. Эта третья была странного вида, казалось, преждевременно состаревшаяся женщина, с глубокими морщинами, всклокоченными седыми космами и возбужденными движениями; она влачила в пыли посреди улицы свою беспорядочную, но барскую одежду.

Зотта сейчас же с глупою радостью стала рассказывать старухе, очевидно, матери девушки, происшествие на мосту: Асторре — она также узнала его имя из криков народа — Асторре монах, который, как известно в городе, должен жениться, тайком подкатил к Антиопе золотое кольцо, и когда она, Зотта, поняв намек: Провидения и хитрость монаха, надела кольцо на руку милой девушке, тогда и сам монах предстал перед нею, и так как Антиопа, застыдившись, хотела возвратить ему кольцо, то он — тут она представила монаха — левую руку нежно прижал к сердцу, вот так! а правую протянул вперед с таким движением, которое во всей Италии ничего иного не говорит и не означает, как «Оставь у себя, дорогая!»

Наконец, удивленной Антиопе удалось заговорить; она стала заклинять мать не давать никакой веры глупой болтовне Изотты, но тщетно: мадонна Олимпия воздела руки к небу и среди улицы горячо возблагодарила святого Антония за то, что он, сверх всякой надежды и ожидания, услышал ее ежедневную молитву и наградил ее сокровище равным по рождению и добродетельным мужем, одним из собственных своих сыновей. При этом она вела себя так странно, что шедшие мимо стали со смехом указывать на лоб. Смущенная Антиопа делала всевозможные усилия, чтобы разуверить мать в ослепившей ее сказке; но та ничего не слушала и с увлечением продолжала строить свои воздушные замки.

Так женщины дошли до дворца Каносса и под сводом ворот встретили торжественно наряженного дворецкого, за которым сле-

довало шестеро роскошно одетых слуг. Господин Буркардо, почтительно отступив, пропустил мадонну Олимпию вверх по лестнице, затем, поднявшись за нею в пустую залу, сделал три точно размеренных поклона, каждый ближе и ниже предыдущего и произнес медленно и торжественно:

— Ваши светлости, меня посылает Асторре Вичедомини всепокорнейше просить ваши высокие особы пожаловать на его обручение сегодня, — он с болью проглотил: — через десять дней, когда зазвонят к вечерне.

Данте остановился. Его рассказ лежал перед ним во всем богатстве своего содержания, точно высыпанный на стол; но его строгий ум выбирал и упрощал подробности. Тут его окликнул Кан-Гранде.

— Мой Данте, — сказал он: — я удивляюсь, какими жесткими, резкими чертами ты обрисовал своего флорентинца! Твой Никколо Липпо деи-Липпи изгнан корыстным и несправедливым приговором. Но он сам — жадный торговец, лстец, лжец, насмешник, любящий двусмысленности и трус, и все «по флорентийской моде». И это только крошечный огонечек из того огненного дождя проклятий, которым ты осыпаешь свою Флоренцию, только одна капелька из тех горьких, пропитанных уксусом и желчью терцин, которыми ты в своей Комедии угощаешь родной город! Позволь тебе сказать, что неблагородно поносить свою колыбель, срамить свою мать! Это — дело не подходящее! Поверь мне, оно производит дурное впечатление!

Мой Данте, я хочу тебе рассказать про одну кукольную комедию, которую я смотрел недавно на нашей арене, переодетый, посреди окружавшего меня народа. Ты морщишь нос, что у меня такой низменный вкус, и я в свободные минуты нахожу удовольствие в куклах и шутах. Но, всетаки, подойди со мною к этой маленькой сцене. Что ты там видишь? Муж ссорится с женой. Она побита и плачет. Сосед просовывает голову в дверь, усовещивает, порицает, вмешивается. Но, — смотри! храбрая жена восстает против такого вмешательства и становится на сторону мужа. «А если мне нравится быть побитой!» — воет она.

Подобным же образом, мой Данте, и великодушный человек, оскорбленный своим родным городом, говорит: «Я хочу быть побитым!»

На флорентинца направилось много молодых, проницательных глаз. Он молча закрыл себе голову. Что в нем происходило, — никто не знает. Когда он опять поднял голову, его чело стало грустнее, уста горше и изгиб носа резче.

Данте прислушался. Ветер свистал за углами башни и отворил один плохо запертый ставень. Кряж Монте Бальдо послал свою первую вьюгу. Видно было, как носятся и крутятся хлопья, освещаемые пламенем очага. Поэт смотрел на снежную бурю, и его дни, которые, как он чувствовал, ускользают от него, представлялись ему в образе этой бледной погони и побега через колеблющуюся зарю. Он дрожал от холода.

И его отзывчивые слушатели почувствовали вместе с ним, что он бесприютен, что ему дает убежище только изменчивая благосклонность меняющихся доброжелателей, укрывающая его от зимы, которая засыпала снегом дороги и поля. Все поняли, и Кан-Гранде, человек благородного образа мысли, раньше других: здесь сидит лишенный родины!

Государь встал, как перышко, страхнув шута с своего плаща, подошел к изгнаннику, взял его за руку и повел на свое собственное место, близ огня.

— Тебе оно подобает, — сказал он, и Данте не возражал. А Кан-Гранде воспользовался освободившейся скамьей. Оттуда он мог с удобством смотреть на обеих женщин, между которыми теперь сидел странствователь по аду, ярко освещаемый огнем, и продолжавший свой рассказ следующим образом:

— В то время, когда мелкие колокола в Падуе зазвонили к вечерне, под кедровым потолком парадной залы Вичедомини собралось то, что оставалось от двенадцати знатных родов, в ожидании появления хозяина. Дизна была вместе с отцом и братом. Шел тихий разговор. Мужчины серьезно и основательно обсуждали политическую сторону союза двух знатнейших городских семей. Молодые люди вполголоса шутили над монахом, который женится. Женщины, несмотря на папскую грамоту,

приходили в ужас от кощунства, на которое только окруженные расцветающими дочерьми смотрели мягче, извиняя его гнетом обстоятельств или сердечною добротою монаха. Девушки были полны ожидания.

Присутствие Олимпии Каносса вызвало удивление и неудовольствие, так как она явилась в бросающемся в глаза, чуть не королевском одеянии, словно ей принадлежала на предстоящем торжестве главная роль, и с жуткою бойкостью убеждала в чем-то Антиопу, которая с замиранием сердца шопотом умоляла взволнованную мать успокоиться. Мадонна Олимпия сильно рассердилась еще на лестнице, где ее почтительно приветствовал Гоччоло, держа в руке новый ярко-красный колпак с серебряными бубенцами; Буркардо как раз в это время был занят приемом двух других господ. Теперь, стоя в кругу вместе с другими, она беспокоила или тревожила представителей своего сословия неумеренными жестами. На несчастную стали указывать подмигиванием и кивками. Никто на месте монаха не пригласил бы ее, и каждый был уверен, что она сыграет с ним какую-нибудь штуку.

Буркардо доложил о хозяине дома. Асторре скоро освободился от германцев, поспешил назад на мост, но уже не нашел там ни кольца, ни женщин, и, упрекая себя за это, хотя, в сущности, виноват был только случай, в оставшийся ему до вечерни час принял решение в будущем всегда поступать по правилам благоразумия. С этим намерением он и вошел в зал, в круг собравшихся. Давление обращенного к нему внимания и, так сказать, чувствуемые в воздухе формы и требования общества дали ему понять, что он не может передать в своих словах действительность такую, какая она есть — властною, а иногда и безобразною, но должен придавать ей смягченный и приятный вид. Таким образом, он невольно стал держаться середины между истинною и красивою видимостью и говорил безупречно.

— Господа и собратия по сословию, — начал он, — смерть собрала среди нас, Вичедомини, обильную жатву. Я стою перед вами, одетый в черное, — я ношу траур по отце, трем братьям и трем племянникам. Что я, отпущенный церковью, после зрелого размы-

шления — тут звук его голоса затуманился — и добросовестного испытания перед Богом, признал невозможным не исполнить желания умирающего отца — продолжать жизнь в сыне и внуке, об этом вы будете судить различно, одобряя или порицая меня, сообразно с тою справедливостью или снисходительностью, какая вам при-
суща. Но вы согласитесь в одном, — что мне, в виду моего прошлого, неуместно было медлить и выбирать, и что здесь только ближайшее, чего не надо было еще разыскивать, могло быть угодно Богу. А кто же стоял ко мне ближе, чем уже соединенная со мною безутешною печалью по последнем моем брате девственная вдова его? Поэтому я взял над дорогим мне гробом эту руку, как беру ее теперь, — он подошел к Диане и вывел ее на середину, — и надеваю ей на палец обручальное кольцо. — Так он и сделал. Кольцо оказалось впору. Диана сделала то же, надев монаху золотое кольцо. — Это — кольцо моей матери, — сказала она, — которая была правдивою и добродетельною женою. Я даю тебе кольцо, которое осталось верным. — Торжественным говором поздравлений со стороны всех присутствовавших закончился многозначительный обряд, а старый Пиццагварра, достойный старец — ибо скупость — здоровый порок и дает долголетие — пролил обычную слезу.

Мадонна Олимпия увидела, что вспыхнул ее воздушный замок и горит, его устои падают и балки трещат. Она сделала один шаг, как будто желая убедить свои глаза, что они ошибаются, потом — второй шаг, с возраставшею яростью, остановилась прямо перед Асторре и Дианою, с всклоченными седыми волосами, и ее бешенные слова ринулись вперед стремительно, как восставший народ.

— Несчастный! — закричала она. — Против кольца на пальце этой свидетельствует другое, раньше данное! — Она притащила стоявшую позади ее Антиопу, которая последовала за нею с возраставшею тревогою и умоляющими жестами, — и подняла руку девушки. — Вот это кольцо ты, меньше часа тому назад, надел на палец моей дочери у флорентинца на мосту:

Так исказились события в ее лживом зеркале.

— Вероломный человек! Прелюбодейный монах! И земля не разверзнется, чтобы поглотить тебя? Повесьте брата-привратника,

который заснул во хмелю и дал тебе возможность выскочить из кельи! Ты хотел предаваться своему сластолюбию, но тебе надо было выбрать другие жертвы, а не несправедливо гонимую, беспомощную вдову и незащищенную сироту!

Мраморные плиты пола не раскрылись, и в глазах окружающих несчастная, думавшая, что она еще слишком бедными и слабыми словами выражает справедливый гнев матери, прочла ясную наемешку или сожаление иного рода, чем то, какое надеялась найти. Она услышала сзади себя ясно произнесенное слово: — Помешанная! — и ее гнев разразился безумным смехом. — Эй, поглядите на этого дурака, — захохотала она, — который мог сделать такой глупый выбор между этими двумя! Будьте судьями, господа, — вы и всякий, у кого есть глаза! Здесь — милая головка, цветущая юность, — остальное я позабыл, но знаю одно: все молодые люди, бывшие в зале Вичедомини, — а между ними были, вероятно, и сластолюбцы, — все молодые люди, как воздержные, так и невоздержные, отвратили свои уши и глаза от возмутительных слов и жестов матери, попиравшей ногами приличие и стыд перед дочерью, которую она родила и которую теперь предлагала, точно сводня.

Все в зале сожалели об Антиопе. Только Диана, как ни мало сомневалась она в верности монаха, ощущала какой-то непонятный глухой гнев на дерзко выставляемую перед ее женихом красоту.

Антиопа, быть может, сама была виновата тем, что оставила несчастное кольцо у себя на пальце. Может быть, она сделала это для того, чтобы не раздражать обманывающей самое себя матери, думая, что она, разочарованная действительностью, перейдет, по своему обыкновению, от высокомерия к малодушию, и все кончится гневными взорами и парюю неясных слов. А может быть, юная Антиопа и сама омочила кончик пальца в шипучем источнике сказки. Разве встреча на мосту не была чудом, и разве ее избрание монахом было бы чудеснее той судьбы, которая вырвала его из монастыря?

Теперь она понесла жестокое наказание. Насколько можно было это сделать необузданною речью, собственная мать лишала ее защитных покровов.

Темный румянец, потом еще более потемневший, покрыл ее лоб и шею. Потом она в общей тишине стала громко и горько плакать.

Даже седая менада была поражена и стала прислушиваться. Потом ее лицо исказилось от ужасной боли, и ее бешенство удвоилось.—А другая!—пронзительно закричала она, указывая на Диану,—эта едва вырубленная из скалы здоровенная глыба мрамора! Эта неудавшаяся великанша, которую кропал Бог-Отец, когда был еще подмастерьем и только учился лепить! Плюю на это грубое тело без жизни и души! Да и кто мог бы дать ей душу? Ее незаконнорожденная мать, тупоумная Орсола? Или вон этот тощий скряга? Он только против воли подал ей жалкую милостыню кусочком души!

Старый Пиццагварра остался равнодушным. С ясным умом скупца он не забывал, кого он видит перед собою. Но его дочь Диана забыла об этом. Взволнованная, глубоко возмущенная грубым издевательством над ее телом и душою, она наморщила брови и сжала кулаки. Но она совсем вышла из себя, когда помешанная задела ее родителей, стала поносить ее покойную мать и выставить к позорному столбу ее отца. Безумный порыв ярости охватил и пересилил ее.

— Сука!—закричала она и ударила в лицо Антиопу, так как храбрая девушка в отчаянии бросилась заслонить собою мать. Антиопа вскрикнула, и ее крик потряс всю залу и все сердца.

Тут колесо в голове безумной совершенно перевернулось. Вышедшая ярость перешла в невыразимую скорбь.—Ударил мое дитя!—застонала она, упала на колени и зарыдала:—Неужели нет уже Бога на небе?

Мера переполнилась. Она переполнилась бы и раньше, но роковые события шли скорее, чем повествуют мои уста,—так быстро, что ни монах, ни близко стоявший Джермано не успели схватить и удержать поднятую руку Дианы. Асканио обхватил безумную, другой юноша схватил ее за ноги; она почти не сопротивлялась; ее унесли прочь, усадили в носилки и отправили домой.

Диана и Антиопа все еще стояли друг против друга, одна бледнее другой, Диана — расклаваясь и сокрушаясь после быстро

прошедшего припадка гнева, Антиопа — желая что-то сказать; но слова не шли у нее с языка, и она беззвучно двигала губами.

Монах взял руку Антиопы, чтобы проводить оскорбленную своей невестой; этим он только исполнил долг рыцарства и гостеприимства. Все нашли, что это само собою понятно. В особенности Диана должна была желать, чтобы жертву ее насилия удалили с ее глаз. Тогда и она также удалилась с отцом и братом. И собравшиеся гости тоже сочли наиболее удобным исчезнуть до последнего.

Под столом, уставленным амарелями и кипрским вином, что-то зазвенело. Показался дурацкий колпак, и Гоччولا на четвереньках вылез из своей засады. По его мнению, все произошло великолепно, так как у него была теперь полная свобода полакомиться амарелями и выпить стаканчик-другой. Так он наслаждался некоторое время, пока не слышал приближающиеся шаги. Он хотел бежать, но, бросив досадующий взгляд на помешавшего, счел бегство ненужным. Это был монах, вернувшийся домой, и монах был так же радостен и так же опьянен, как и он, ибо монах...

— Любил Антиопу,—с судорожным смехом прервала рассказчика подруга государя.

— Ты сказала правду, госпожа: он любил Антиопу,—трагическим тоном повторил Данте.

— Ну, конечно! — Как же иначе? — Это и должно было случиться! — Так обыкновенно и бывает! — слышалось рассказчику из всего круга слушателей.

— Тише, молодые люди, — строго сказал Данте. — Нет, так обыкновенно не бывает! Неужели вы думаете, что любовь с полной отдачей жизни и души есть нечто повседневное, и неужели вы думаете даже, что и вы так любили или любите? Разувьесьте! Всякий говорит о привидениях, но немногие видели их. Я приведу вам свидетеля неопровержимого. Здесь в доме ходит по рукам модная книга сказок. Осторожными перстами перелистывая ее, я среди многих пустяков нашел в ней одно истинное слово. — Любовь, — сказано там в одном месте, — редка и большею частью кончается плохо. — Это Данте сказал серьезно. Затем он пошутил:

— Так как вы все так изучили любовь и приобрели в ней опытность, а кроме того, — мне не пристало, чтобы охваченный страстью молодой человек говорил моими беззубыми устами, то я пропущу предательский разговор вернувшегося монаха с самим собою и скажу коротко: когда разумный Асканио подслушал его, то испугался и стал проповедывать ему благоразумие.

— Неужели ты так жалко изуродуешь свой трогательный рассказ, мой Данте? — с умоляющим движением рук обратилась к флорентинцу впечатлительная подруга государя. — Пусть монах заговорит, и мы с участием узнаем, как он обратился от грубой к нежной, от холодной к чувствительной, от сердца каменного к пламенному...

— Да, флорентинец, — перебила государыня в глубоком волнении и с темным румянцем на щеках, — пусть твой монах заговорит, и мы с удивлением узнаем, как это могло случиться, что Асторре, как ни был неопытен и доступен обману, изменил благородной женщине ради лукавой, — разве ты не заметил, Данте, что Антиопа лукава? Ты мало знаешь женщин! Сказать тебе правду, — она подняла сильную руку и сжала кулак, — и я бы тоже ударила не эту бедную сумасшедшую, а заведомую пройдоху, которая во что бы то ни стало хотела попасть на глаза монаху! — И она нанесла удар по воздуху. Другая слегка вздрогнула.

Кан-Гранде, который, сидя теперь против обеих женщин, не переставал смотреть на них, восхищался своей государыней и радовался ее могучей страстности. В эту минуту он находил ее несравненно прекраснее, чем та маленькая и нежная соперница, которую он поставил рядом с нею, — ибо высшее и глубочайшее чувство достигает своего выражения только в сильном теле и в сильной душе.

Данте, с своей стороны, в первый и единственный раз за весь вечер улыбнулся, видя, как сильно обе женщины стали качаться на качелях его сказки. Он дошел даже до того, что стал их поддразнивать.

— Государыни мои, — сказал он, — чего вы от меня требуете? Ведь разговор с самим собою — недоразумение. Разве умный человек когда-нибудь разговаривает сам с собою?

Тут в полутьме поднялась задорная кудрявая головка, и паж, который, вероятно, сидел, уютно притаившись, за каким-нибудь креслом или шлейфом, смело воскликнул: — Великий учитель! как мало ты знаешь сам себя — или думаешь, что знаешь! Узнай же, Данте: никто не разговаривает сам с собою больше тебя, и дотаккой степени, что ты не только не видишь нас, глупых мальчишек, но даже не замечаешь и проходящей совсем рядом, мимо тебя, красавицы и не кланяешься ей.

— В самом деле? — сказал Данте. — Где же это было? Где и когда?

— Да, вот, вчера, на мосту через Адидже, — засмеялся мальчик. — Ты стоял, прислонившись к перилам. Мимо прошла красавица Лукреция Нани и задела твою одежду. Мы, мальчики, восторгаясь ею, шли сзади, а навстречу ей выступали два пылких воина, жадно ловя взгляд ее нежных очей. Но она искала твоего взгляда: ведь не всякому удастся невредимо побывать в аду! А ты, учитель, смотрел на катившуюся посередине реки волну и что-то бормотал про себя.

— Я посылаю поклон морю. Волна была прекраснее девушки. Но вернемся к нашим двум безумцам. Слышите, они заговорили друг с другом! И ради всех муз, пусть теперь никто не перебивает меня, так как иначе полночь застигнет нас еще за сказкою у этого очага.

Когда монах, проводив Антиопу домой, опять вошел в свою залу, — но я забыл сказать, что он не встретился с Асканио, хотя тот, с носилками мадонны Олимпии, прошел тою же дорогою. Дело в том, что племянник, передав совершенно уничтоженную женщину ее прислуге, поспешил к своему дяде, тирану, чтобы подать ему на стол, как свежее печенье, это безумное происшествие. Он охотнее сообщал Эццелино о городских событиях, чем о заговорах.

Не знаю, был ли монах и в самом деле так красиво сложен, как говорил ему насмешник Асканио. Но я вижу его перед собою цветущим молодым человеком. Он проносится по залу окрыленными стопами, словно его несет зефир или ведет Ирида. Его глаза полны солнца; он тихо произносит слова из языка блаженных.

Гоччола, проглотивший много кипрского вина, почувствовал себя также смелым и помолодевшим. И под его стопами также мраморный пол обратился в белое облачко. Он почувствовал неутолимую жажду подслушать тихие слова, вылетающие из свежих уст Асторре, — так пьют, наклонившись к источнику, — и стал рядом с ним мерить длину зала то длинными шагами, то прыжками, держа подмышкою свой дурацкий жезл.

— Нежная головка, предлагавшая себя в жертву за отца, отдала себя в жертву и за мать! — шептал Асторре. — Стыдливая! как она горела! Обиженная! как она страдала! Побитая! как она вскрикнула! Покидала ли она меня с тех пор, как я увидел ее на плахе? Она жила в моей душе. Она всегда была со мною, предносилась в моей молитве, сияла в моей келье, приникала к моему изголовью. Разве не лежала эта милая головка с тонкой белой шейкой рядом с головою святого Павла...

— Святого Павла? — хихикнул дурачек.

— Святого Павла на нашем запрестольном образе...

— С черными курчавыми волосами и красной шеей на широкой плахе, над которою поднят топор палача? — Гоччола иногда молился у францисканцев.

Монах кивнул. — Когда я долго смотрел, топор двигался, и я вздрагивал. Разве я не исповедывался в этом настоятелю?

— А что сказал настоятель? — спросил Гоччола.

— Сын мой, — сказал он, — то, что ты видел, было преждевременно появившееся дитя сонма небожителей. Не бойся ничего! Этой небесной шейке не будет никакого зла!

— Но, — поддразнивал его злой шут, — дитя, ведь, выросло вот как высоко! — Он поднял руку. Затем опустил ее и стал держать над полом. — А ряса вашей светлости, — ухмыльнулся он, — лежит там, совсем низко!

Пошлость не могла затронуть монаха. Творческое пламя перешло из руки Антиопы в его руку и загорелось в его жилах сперва тихо и нежно, потом — все сильнее и горячее.

— Слава Богу-Отцу, — вдруг радостно воскликнул он, — сотворившему мужа и жену!

— Еву? — спросил шут.

— Антиопу! — отвечал монах.

— А другую? большую? Что ты с нею будешь делать? Пошлишь ее просить милостыни? — Гоччола вытер себе глаза.

— Какую другую? — спросил монах. — Разве есть жена, кроме Антиопы?

Это было слишком сильно даже для шута. Он в испуге вытаращил глаза на Асторре, но в это время чья-то рука схватила его за ворот, подтащила к дверям и выбросила в сени. Затем та же рука опустилась на плечо Асторре.

— Проснись ты, во сне бродящий! — воскликнул вернувшийся Асканио, который слышал последние мечтательные слова монаха. Он привлек восторженного друга на скамью у окна, пристально поглядел ему в глаза и сказал: — Асторре, ты с ума сошел!

Тот сперва, как ослепленный, уклонился от испытующих взоров, но потом встретил их своими глазами, все еще полными ликования, и робко потупился. — Ты удивляешься? — сказал он, наконец.

— Так же мало, как вспышке пламени, — отвечал Асканио. — Но так как ты — не слепая стихия, а разум и воля, то затопчи это пламя, а не то — оно пожрет и тебя, и всю Падую. Неужели светский человек должен проповедывать тебе законы божеские и человеческие? Ведь ты обручен! Об этом говорит вот это кольцо у тебя на пальце. Если ты нарушишь свое обручение, как нарушил свой обет, то ты разрушишь и нравственность, и долг, и честь, и спокойствие города. Если ты быстро и геройски не вырвешь из своего сердца стрелы слепого божка, то он убьет тебя, Антиопу и еще несколько человек, в кого она случайно попадет. Асторре, Асторре!

Шаловливые уста Асканио дивились тем высоким и важным словам, какие он в своей сердечной тревоге заставлял их произносить. — Твое имя, Асторре, — сказал он затем полу-шутя, — гремит, как труба, и зовет тебя на бой с самим собою!

Асторре опомнился. — Меня оцелил зельем! — воскликнул он. — Я безумствую, я с ума сошел! Асканио, даю тебе власть надо мною, свяжи меня!

— Я хочу тебя связать с Дианою, — сказал Асканио. — Иди за мною, искать ее.

— Разве не Диана ударила Антиопа?—спросил монах.

— Это тебе приснилось! Все ты видел во сне! Ты не владел своими чувствами! Пойдем! Заклинаю тебя! Повелеваю тебе! Я тебя схвачу и поведу!

Асканио хотел прогнать истину, но ее снова привели назад раздавшиеся в сенях звонкие шаги Джермано. Брат Дианы с решительным лицом подошел к монаху и взял его за руку.—Испорчен праздник, шурин!—сказал он.—Сестра послала меня,—я лгу, она меня не посылала; она заперлась у себя в комнате и там хнычет и проклинает свою вспыльчивость. Нынче мы тонем в бабьих слезах. Она тебя любит,—только это нейдет у нее с языка; это — наша семейная черта: ведь и я тоже не могу высказаться. В тебе она ни минуты не сомневалась. Дело просто: ты где-нибудь уронил кольцо,—если это было твое,—а маленькая Каносса,—как бишь ее зовут? да, — Антиопа! — надела его себе на палец. Сумасшедшая мать увидела его и сплела из этого свою сказку. Антиопа, конечно, во всем этом не виновата, как новорожденный младенец, — кто думает иначе, тому придется иметь дело со мной.

— Не мне!—воскликнул Асторре.—Антиопа чиста, как небо. Кольцо случайно подкатилось к ней.—И он бегом рассказал, как это вышло.

— Но и на сестру, поступившую опрометчиво, ты не должен сердиться, Асторре!—решительно сказал Джермано.—У ней кровь бросилась в голову, она не видела, кто стоит перед нею; хотела ударить эту безумную, что позорила ее родителей, а попала в милую невинную девочку. Но ее следует снова оправдать и почитать перед Богом и людьми. Предоставь это дело мне, шурин. Ведь я—брат. Это просто.

— Ты все говоришь, но всетаки неясно, Джермано. Что у тебя на уме? чем ты возместишь обиду бедняжке? — спросил Асканио.

— Дело просто,—повторил Джермано: — я предложу Антиопе Каноссу руку и возьму ее за себя замуж.

Асканио схватился за голову: эта мысль ошеломила его. Но, быстро одумавшись, он ближе сообразил дело и нашел, что это

героическое средство вовсе не так дурно; он только бросил опасливый взгляд на монаха. Тот снова овладел собою, молчал и внимательно слушал. Чувство чести война ярким призывом прозвучало в пустыне его души.

— Таким образом, я убью двух мух одним ударом, шурин,—пояснил Джермано. — Доброе имя и честь девушки будут восстановлены. Поглядел бы я на того, кто посмеет шипеть за спиной моей жены! А затем — я водворю мир между вами, супругами. Диане уже не придется стыдиться ни перед тобой, ни перед собой, и она будет основательно вылечена от своей вспыльчивости. Поверь мне: она испелилась на всю жизнь.

Асторре пожал ему руку.—Ты молодец,—сказал он. В монахе окрепло желание мужественно побороть свою небесную или земную страсть. Но это желание было несвободно, и добродетель была не бескорыстна, так как она цеплялась за опасный софизм: я буду обнимать нелюбимую, утешал себя Асторре, — но и Антиопа даст себя обнять человеку, который сватается за нее только для того, чтобы загладить чужую вину. Мы все приносим жертву! Отречение и умерщвление плоти и в миру, как в монастыре.

— Что быть должно, того я не откладываю,—настаивал Джермано.—Не то—она будет ворочаться без сна.—Я не знаю,—говорил ли он о Диане или об Антиопе.—Шурин, ты пойдешь со мною свидетелем: я это сделаю по форме.

— Нет, нет,—в испуге вскрикнул Асканио.—Не надо Асторре! Меня возьми!

Джермано покачал головой.—Асканио, друг мой,—сказал он,—ты для этого не годишься. Ты—слишком неосновательный свидетель для брачных дел. Да и брат мой Асторре не уступит другому права участия в моем сватовстве. Ведь это в большей части—его же собственное дело. Не правда ли, Асторре? — Тот кивнул. — Ну, так собирайся, шурин! Принарядись! Надень цепь на шею.

— А когда пойдешь через двор,—принужденно пошутил Асканио,—окупись головою в фонтан. А ты сам, Джермано, в панцире? Так воинственно? Идет ли это к сватовству?

— Я давно не снимал вооружения, и оно мне пристало. Что ты осматриваешь меня с головы до ног, Асканио?

— Я спрашиваю себя: откуда берется у этого латника уверенность, что он вместе со своей осадной лестницей не будет сброшен в ров?

— Об этом не может быть и речи, — спокойно сказал Джермано. — Как опозоренная и побитая девушка откажет рыцарю? Тогда она была бы еще безумнее своей матери! Это же ясно, как солнце, Асканио! Пойдем, Асторре.

Между тем как оставшийся Асканио, скрестив руки, обдумывал этот новый оборот событий, сомневаясь, приведет ли он на игорную площадку цветущих детей или на кладбище, друзья его юности шли недлинным путем ко дворцу Каносса.

Безоблачный день погасал в пламени чистого вечернего золота, — и вдруг послышалось Ave. Монах внутренне проговорил обычные молитвы, а его несколько выше расположенный монастырь случайно продлил знакомый звон еще парой мирных и грустных ударов, которые уже не нашли себе отзыва в воздухе со стороны других городских колоколов. И монах также причастился общему умиротворению.

Тут его взгляд упал на лицо друга и остановился на его обветренных чертах. Они были ясны и радостны, без сомнения, от сознания исполненного долга, а вероятно также и от несознательного или незамеченного счастья — на гонимых чество парусах рыцарского деяния достигнуть гавани блаженного острова. — Милая невинность! — вздыхал воин.

С бешеною быстротою мысли монах понял, что брат Дианы обманывается, считая себя бескорыстным, что Джермано уже полюбил Антиопу и стал его соперником. Он почувствовал в груди резкий укол, затем — второй, еще более резкий, так что чуть не вскрикнул. И теперь у него в сердце зашевелилось и закипело целое гнездо злых змей. Господь да охранит нас всех, и мужчин, и женщин, от ревности! — Это — самая мучительная из всех мук, и кто ею страдает, тот несчастнее моих осужденных в аду!

С искаженным лицом и стесненным сердцем монах пошел вслед за самоуверенным женихом по лестнице дворца. Он был безлюден и запущен. Мадонна Олимпия, вероятно, заперлась. Никакой прислуги, и все двери настежь. Они прошли без доклада ряд уже

потемневших покоев; но перед порогом последней комнаты остановились, так как юная Антиопа сидела у окна.

Свод окна, оканчивавшийся очертанием трилистника, был полон сиянием вечерней зари, которое освещало привлекательный образ в полукруге от груди до шеи. Ее вздерошенные волосы в верхней части головы были похожи на шипы тернового венца, а губы жадно глотали воздух. Побитая девушка была утомлена тяжестью перенесенного позора, ее веки и руки бессильно опустились, но в глубине сердца она ликовала и радовалась своему позору, ибо он навеки соединял ее с Асторре.

Разве не возгорается еще и ныне, и не будет возгораться до скончания дней из глубочайшей жалости величайшая любовь? Кто может противиться виду красоты, когда она страдает несправедливо? Я не богохульствую и сознаю различие, — но, ведь, и Божество претерпело удары, и мы лобызаем его рубцы и раны.

Антиопа не умствовала, любит ли ее Асторре. Она это знала. В этом не было никакого сомнения. Она была в этом убеждена больше, чем в дыхании собственной груди и биении собственного сердца. С первого шага пути, пройденного ею вместе с Асторре, она не обменялась с ним ни одним словом. Их руки не держались крепче в конце, чем в начале этого пути; они как-то срослись, не сжимая друг друга. Они проникали одна в другую, точно два легких пламени, и при расставании едва могли отделиться одна от другой, словно корни — от земли.

Антиопа захватила чужое владение и совершила похищение у Дианы почти невинно, так как у нее не было уже ни совести, ни простого самосознания. Падуя, лежавшая перед нею со своими башнями, мать, обручение монаха, Диана, вся земля, — все уничтожилось; не осталось ничего, кроме бездны небес, наполненной светом и любовью.

Асторре с первой до последней ступени лестницы боролся сам с собою и думал, что одержал победу. — Я принесу эту жертву, — хвастался он перед самим собою, — и помогу Джермано в его сватовстве. На верхней ступени он призвал всех своих святых, и в особенности — св. Франциска, учителя самопреодоления. Он испытал себя и поверил, что он с помощью неба стал силен, как Геркулес, и

убил змея. Но святой с четырьмя ранами отвернулся от неверного ученика, который пренебрег его веревкою и рясою.

Между тем, стоявший рядом Джермано придумывал свою речь, но не мог пойти дальше тех двух доводов, которые с самого же начала пришли ему в голову. Впрочем, он не унывал, — ведь ему часто приходилось в конном бою обращаться с речами к своим германцам, — и не боялся девушки. Он не выносил только ожидания, так же, как и перед боем. Он тихонько позвенел мечом о панцырь.

Антиопа вздрогнула, взглянула, быстро встала и остановилась, повернувшись спиною к окну, с потемневшим лицом, перед поклонившимися ей в сумеречном свете мужчинами.

— Не бойся, Антиопа Каносса! — заговорил Джермано. — Я привел к тебе с собою вот этого Асторре Вичедомини, которого называют монахом, нареченного моей сестры Дианы, как законного свидетеля; вот, я пришёл — так как ты живешь без отца и с такою матерью — у тебя самой просить тебя в жены. Моя сестра забылась перед тобою, — он не хотел сказать более резкого слова, чтобы не обидеть Дианы, которую он уважал, — а я, брат ее, пришел загладить то дурное, что сделала она. Диана с Асторре, ты со мною, так, идя навстречу одна другой, вы, женщины, подадите друг другу руки.

Чувствительную душу прислушивавшегося к этой речи монаха оскорбило грубое сопоставление обиды и страдания, нанесшей и получившей удар, — или зашевелилась змея? — Джермано, так не сватаются! — шепнул он латнику.

Тот услышал, и так как потемневшая Антиопа продолжала молчать, — смутился. Он почувствовал, что ему надо было говорить помягче, — и заговорил еще грубее. — Без отца и с такою матерью, — повторил он, — вы нуждаетесь в защите мужчины! В этом вы могли убедиться сегодня, благородная девица. Ведь не захотите же вы в другой раз быть опозоренною и побитою перед всей Падуей! Будьте моею, и я стану оборонять вас от головы до пят! — Джермано подумал о своем панцыре.

Асторре нашел такое сватовство возмутительно грубым: ему казалось, что Джермано обращается с Антиопой, как со своею

пленницею, — или зашипела змея? — Так не сватаются, Джермано! — тяжело дыша, сказал он. Тот сделал полуоборот. — Если ты умеешь лучше, — сердито сказал он, — то сватайся за меня, шурин! — И уступая ему место, он отошел в сторону.

Тут Асторре приблизился, встал на одно колено, поднял руки, соединив их концами пальцев, и его робкий взор вопросительно обратился к нежной головке на бледном золотом фоне. — Найдется ли любовь слова? — нерешительно произнес он. Сумерки и молчание.

Наконец, Антиопа прошептала: — За кого ты сватаешься, Асторре? — За вот этого, за моего брата Джермано, — с усилием вымолвил он. Тогда она закрыла лицо руками.

Тут у Джермано лопнуло терпение. — Я заговорю с нею на немецкий лад! — воскликнул он: — Ну, коротко и ясно, Антиопа Каносса, — грубо обратился он к девушке: — будешь ты моей женой или нет?

Антиопа нежно и тихо покачала головкой; несмотря на возмущавшую темноту, ясно было видно отрицание.

— Значит, — отказ, — сухо сказал Джермано. — Пойдем, шурин! — И он вышел из залы такими же твердыми шагами, как и вошел. Но монах не пошел за ним.

Асторре остался в своем умоляющем положении. Затем он, сам дрожа, взял дрожавшие руки Антиопы и отвел их от ее лица. Чьи уста стали искать других, — я не знаю, потому что в комнате стало совсем темно.

И так стало тихо, что любящие, если бы их слух не был наполнен бурным ликованием и блаженными хорами, легко могли бы расслышать доносившиеся из соседнего покоя молитвы. Дело было в том, что рядом с комнатою Антиопы, несколькими ступенями ниже, находилась домашняя часовня, а на следующий день исполнялась третья годовщина смерти графа Каносса. После полуночи должна была быть отслужена заупокойная обедня в присутствии вдовы и сироты. Священник уже явился на место, ожидая своего служку.

Так же, как этих подземных молитв, не слышали оба и шарканья туфель мадонны Олимпии, которая пошла искать дочь и теперь, при скудном свете домашнего светильника, который держала

в руке, тихо и пристально смотрела на влюбленных. Что самая дерзкая лож непомерной фантазии обратилась перед ее глазами, в этих нежно обнявшихся фигурах, в подлинную правду, — этому мадонна Олимпия не удивилась; но — и это надо сказать в похвалу безумной — она не почувствовала также и удовольствия мести. Она не радовалась предстоявшим насильнице Диане горьким мучениям, а ею овладела простая материнская радость при виде того, что ее дитя оценено по достоинству, желанно и любимо.

И вот, когда оба с удивлением подняли взоры, пораженные резким лучем ее светильника, она мягким и естественным голосом спросила: — Асторре Вичедомини, любишь ли ты Антиопу Каносса.

— Превыше всего, мадонна! — отвечал монах.

— И будешь ее защищать?

— Перед целым светом! — смело воскликнул Асторре.

— Так. Хорошо, — одобрила она, — но твои намерения честны, не правда ли? Ты не отвергнешь ее, как Диану? Ты не обманешь меня? Ты не сделаешь несчастною бедную помешанную, как они меня называют? Ты не опозоришь еще раз мое дитя? Не станешь искать никаких уверток и отсрочек? Подтвердишь то, что я видела, и, как добрый христианин и честный дворянин, сейчас же поведешь Антиопу к алтарю? Да тебе и не нужно далеко ходить за священником: слышишь молитвы? Там, внизу, один уже стоит на коленях.

И она отворила низенькую дверь, за которою несколько крутых ступеней вели в домашнее святилище. Асторре взглянул: под тяжелым сводом перед небольшим алтарем, при неясном свете одной свечки молился босоногий монах, несколько похожий на него самого по возрасту и фигуре и также одетый в подпоясанную веревкою рясу святого Франциска.

Я думаю, что этот босоногий монах должен был молиться на коленях здесь, именно в этот час, по указанию божественного Провидения, чтобы в последний раз утратить и сблизить Асторре. Но в его пылающих жилах целительное средство стало ядом. Когда он увидел это воплощение своей монастырской жизни, им овладел упорный дух дерзости и самоуверенности. — Такими же

босыми ногами я переступил через свой первый обет, — усмехнулся он, — и эта преграда рушилась от моего прыжка; отчего же не переступить и через другой? Мои святые не дали мне победы в борьбе; быть может, они спасут и защитят грешника! В диком порыве он схватил Антиопу и не столько повел, сколько понес ее вниз по ступеням; а мадонна Олимпия, ум которой после короткого светлого промежутка снова помутился, захлопнула за монахом и своею дочерью тяжелую дверь, как западню за попавшуюся добычею, и стала подслушивать в замочную скважину.

Что она увидела, — остается неизвестным. В народе говорили, будто Асторре грозил босоному обнаженным мечем и заставил его повиноваться. Это невозможно, потому что Асторре еще ни разу не опоясывался мечем. Может быть, ближе к истине, что босоногий — грустно говорить это — был плохим монахом и что, вероятно, под его рясу перешел тот самый кошелек, который Асторре взял с собою, когда пошел покупать кольцо для Дианы.

Но что священник сперва противился, что оба монаха боролись друг с другом, что под тяжелым сводом произошла безобразная сцена, — это я читаю на искаженном и испуганном лице подслушивающей. Донна Олимпия поняла, что там, внизу, совершается преступление, что она, как его подстрекательница и совиновница, предает себя строгости закона и мщению пострадавших от измены; а так как наступала годовщина казни графа, ее супруга, то ей стало казаться, что и ее безумная голова неминуемо попадет под топор. Ей почудилось, будто она слышит приближающиеся шаги Эццелино; тут она вскочила и закричала: — На помощь! Убийцы!

Терзаясь, она бросилась в прихожую, к окну, выходившему на узкий внутренний двор. — Мула мне! Носилки мне! — закричала она вниз, — и прислуга помешанной, смеясь над этим двойным приказом — мул нужен был для загородной поездки, а носилки — для города, — медленно и лениво поднялась из угла, где бражничала и играла в кости при свете сделанного из тыквы фонаря. Старый конюший, который один только сохранил верность несчастной госпоже, озабоченно оседлал двух мулов и вывел их за ворота на находившуюся на улице перед дворцом площадку; он уже много

раз сопровождал донну Олимпию в ее блужданиях. Другие, посмеиваясь, пошли за ним с носилками.

На большой лестнице бежавшая, которую чрезвычайно сильное даже у помешанных чувство самосохранения заставило позабыть о своей любимой дочери, натолкнулась на озабоченного Асканио, который, не получая никакой вести, в сильной тревоге пошел на разведки.

— Что случилось, синьора? — торопливо спросил он.

— Несчастье! — каркнула она, как взлетающий ворон, сбегала по лестнице, села на своего мула, бешено ударила его пяткою и скрылась в темноте.

Асканио стал искать в темных покоях и дошел до комнаты Антиопы, освещенной оставшимся там светильником донны Олимпии. В то время, как он там осматривался, дверь домашней капеллы отворилась, и из глубины поднялись два прекрасные призрака. Несмотря на свое бесстрашие, Асканио задрожал. — Асторре, ты обвенчался с нею! — Громко произнесенное имя гудело под сводами, как труба того дня. — А на пальце у тебя — кольцо Дианы!

Асторре сорвал с себя кольцо и швырнул его прочь.

Асканио бросился к отворенному окну, в которое вылетело кольцо. — Оно скользнуло в трещину между двумя плитами, — сказал кто-то на улице. Асканио увидал чалмы и железные шлемы. Это были люди наместника, начавшие ночной обход.

— На одно слово, Абу-Мохаммед! — крикнул он, быстро сообразив что-то, седобородому старику, который вежливо ответил: — Твое желание — мне приказ! — и вместе с двумя другими сарацинами и одним немцем исчез в воротах дворца.

Абу-Мохаммед-аль-Табиб не только наблюдал за безопасностью на улицах, но входил также и в самые современные покои домов, чтобы захватывать изменников империи или тех, кого так называл правитель. Император Фридрих отдал его своему зятю, тирану, чтобы нанять ему сарацинский отряд телохранителей, во главе которого он и остался в Падуе. Абу-Мохаммед обладал изящной внешностью и привлекательными манерами. Он принимал участие в скорби семейства, члена которого вел в тюрьму или на

плаху, и утешал скорбящих на своем ломаном итальянском языке изречениями арабских поэтов. Я думаю, что своим прозвищем «аль-Табиб», то-есть врач, он, — хотя, может быть, и обладал некоторыми хирургическими познаниями и приемами, — был обязан прежде и больше всего известным манерам врачей: ободряющим жестам, успокоительным словам, как, например: — «Это не больно!» или: — «Это пройдет!», которыми ученики Галена обыкновенно готовят к болезненной операции. Словом, Абу-Мохаммед относился к трагическому мягко и во время моего рассказа, несмотря на свою суровую и огорчительную должность, вовсе не был в Падуе ненавистной личностью. Позднее, когда тиран стал находить удовольствие в терзании человеческих тел, — чему ты не можешь поверить, Кан-Гранде! — Абу-Мохаммед покинул его и возвратился опять к своему доброму императору.

На пороге покоя Абу-Мохаммед дал знак трем своим спутникам остановиться. Немец, несший факел, молодец упрямого вида, оставался на месте недолго. В этот день, в час вечерни, он сопровождал Джермано во дворец Вичедомини, и тот, улыбаясь, сказал ему:

— Ну, теперь оставь меня! Здесь я обручаю свою сестрицу Диану с монахом. Германец знал сестру своего начальника и питал к ней молчаливую склонность ради ее высокого роста и честных глаз. И вот, увидев теперь монаха, с которым он сегодня же, в полдень, ехал вместе верхом, — рука об руку с маленькой изящной женщиной, которая, по сравнению с величественною фигурою Дианы, показалась ему куклой, он почувствовал измену, гневно бросил пылающий факел на каменный пол, с которого его осторожно поднял один из сарацинов, и поспешил уйти, чтобы рассказать Джермано о вероломстве монаха.

Асканио, угадавший намерение немца, просил Абу-Мохаммеда отозвать его назад. Но тот отказался: — Он бы не послушался, — мягко сказал он, — и зарубил бы двоих или троих из моих людей. Чем другим могу я служить тебе, господин? Должен ли я арестовать этих цветущих молодых людей?

— Асторре, они хотят нас разлучить! — закричала Антиопа, ища защиты в объятиях монаха. Совершив преступление перед

алтарем, она вместе с невинностью души утратила также и приобретенное мужество. Монах, которого виновность, наоборот, ободрила и воодушевляла, сделал шаг навстречу сарацину и неожиданно выхватил у него меч из ножен. — Осторожнее, мальчик, — ты можешь порезаться! — добродушно предостерег его тот.

— Позволь тебе сказать, Абу-Мохаммед, — объяснил Асканию, — этот бешеный — товарищ моих детских игр; он долгое время был монахом Асторре, и ты, наверное, видал его на улицах Падуи. Собственный отец заставил его отречься от монашеских обетов и обручиться с нелюбимою женщиною. Несколько часов тому назад он обменялся с нею кольцами, а теперь — видишь — он стал супругом вот этой другой.

— Судьба! — мягко рассудил сарацин.

— А та, кому он изменил, — продолжал Асканию, — Диана Пиццагварра, сестра Джермано. Ты его знаешь. Он долго верит и доверяется, но если увидит и поймет, что он обманут и предан, то кровь бросится ему в голову, и он убьет.

— Не иначе, — подтвердил Абу-Мохаммед. — Он по матери — немец, а они — дети верности!

— Дай мне совет, сарацин. Я знаю только один выход, быть может, — и спасение: мы донесем об этом деле наместнику. Пусть Эццелино рассудит. А пока твои люди посмотрят за монахом в его собственном крепком доме. Я спешу к дяде. А эту ты сам, Абу-Мохаммед, отведешь к маркграфине Кунице, сестре правителя, благочестивой и ласковой госпоже, которая живет здесь уж несколько недель. Возьми же прекрасную грешницу! Я вверяю ее твоей седой бороде.

— Можешь доверить! — подтвердил Мохаммед.

Антиопа обхватила монаха и закричала еще жалостнее, чем в первый раз: — Они хотят разлучить меня с тобою! Не покидай меня, Асторре! ни на час! ни на минуту! или я умру! — Монах поднял меч.

Асканию, ненавидевший всякое насилие, вопросительно взглянул на сарацина. Этот смотрел на обнявшуюся пару отеческими глазами. — Пускай тени обнимаются! — ласково сказал он, — оттого ли, что он был философ и считал жизнь призраком, или оттого,

что хотел сказать: может быть, завтра Эццелино приговорит их к смерти. — подари же этим влюбленным мотылькам один час!

Асканию не сомневался в действительности жизни, — и тем доступнее был ему второй смысл изречения. Не только как легкомысленный человек, каким он действительно был, но и как добрый и человеколюбивый, он не решался отрывать влюбленных друг от друга.

— Асторре, — спросил он: — ты знаешь меня?

— Ты был мне друг, — отвечал тот.

— Таким и остаюсь. Вернее друга у тебя нет!

— О, не разлучай меня с нею! — стал умолять монах так трогательно, что Асканию не в силах был противиться. — Так оставайтесь же вместе, — сказал он, — пока не предстанете перед судом. — Он перешепнулся с Абу-Мохаммедом.

Тот подошел к монаху, тихонько взял у него меч, отгибая от рукоятки палец за пальцем, и вложил его в ножны, висевшие у него за поясом. Затем он подошел к окну, сделал знак своему отряду, и сарацины овладели оставшимися на площадке носилками мадонны Олимпии.

Быстро пробежали по узкому, темному переулку: впереди — Антиопа, которую несли четыре сарацина, рядом с нею — монах и Асканию, затем — чалмы. Абу-Мохаммед заключал шествие.

Дойдя до небольшой площади, они прошли мимо освещенной церкви. При входе в темное продолжение переулка, натолкнулись на другую процессию, которая шла навстречу в сопровождении многочисленной толпы. Поднялась сильная перебранка. — Дорогу Спозине! — кричала толпа. Мальчики-певчие вынесли из церкви длинные свечи, заслоняя рукою их колеблющиеся огоньки. В желтоватом мерцании показались склоненные на бок носилки и опрокинутый погребальный одр. Спозина была умершая невестой простая девушка, которую теперь несли в могилу. Мертвая не двигалась и спокойно дала снова положить себя на одр. Но собравшийся народ заметил монаха, обнявшего выскочившую из носилок Антиопу; между тем, все знали, что монах сегодня обручился с Дианою Пиццагварра. Абу-Мохаммед восстановил порядок. Без дальнейших приключений дошли до дворца.

Асторре и Антиопа были встречены прислугой с удивленными и смущенными взорами. Они скрылись в воротах, не простившись с Абу-Мохаммедом и Асканио. Последний закутался в плащ и прошел еще несколько шагов вместе с сарацином, который обходил порученный его надзору городской замок, считая ворота и измеряя взглядом высоту его стен.

— День, полный событий,—сказал Асканио.

— Благодатная ночь,—отвечал сарацин, смотря на усеянное звездами небо. Вечные светила, господствуют они над нашею судьбою или нет, совершали путь по своим немим законам, пока новый день, последний день Асторре и Антиопы, не поднял своего божественного факела.

В утренний час этого дня тиран вместе с племянником через небольшое сводчатое окно своей городской башни прислушивался к возбужденной толпе, которая наполнила ближайшую площадь, бушуя и волнуясь, как изменчивый морской прибой.

Весть о вчерашней встрече носилок с погребальным шествием и вызванном ею смятении с быстротою молнии разнеслась по всему городу. Все головы и наяву, и во сне были заняты только монахом и его свадьбою. Вероломный не только нарушил свои обеты перед небом, но теперь и на земле изменил своей невесте, бросил ее кольцо, с бешеной быстротою сразу вспыхнувшей страсти взял себе новую жену, пятнадцатилетнюю девочку, в цвете жизни, и вылетел из своей разорванной рясы жадною хищною птицею. Но справедливый властитель, не ведающий лицепрятия, велел своим сарацинам стеречь дом, где укрылся преступник с преступницею; скоро, теперь же, сегодня же, он покарает своим судом это злодеяние двух знатных людей (ведь юная грешница Антиопа—графиня Каносса), восстановит права непорочной Дианы и велит выбросить в окно добродетельному народу, оскорбленному дурным примером своего дворянства, окровавленные головы двух виновных.

Тиран, зорким взглядом следя за взволнованною толпою, слушал рассказ Асканио о вчерашнем дне. Влюбленность его не тронула,—только подкатившееся кольцо обратило на себя, на минуту, его внимание, как новая форма судьбы.

— Я не одобряю,—сказал он,—что ты вчера же их не разлучил. Хвалю, что ты отдал их под стражу. Обручение с Диаволом сохраняет законную силу. Тайнство, вынужденное мечем или купленное кошельком, совершенно ничтожно. Поп, который дал себя испугать или подкупить, заслуживает виселицы, и если попадется, то будет повешен. Но еще раз: зачем ты не вмешался между этим неразумным и ребенком? зачем ты не вырвал упоенной из рук опьяненного? Ты отдал ее ему. Теперь они—супруги.

Асканио, проснувшийся опять веселым и легкомысленным, скрыл улыбку.—Эпикурец!—бранил его Эццелино. Но тот польстил ему:

— Так уже случилось, строгий дядя. Но если ты вовлечешь события в круг своего могущества, то все будет спасено. Обе стороны вызваны мною к твоему суду к девяти часам.—На ближайшей колокольне пробило девять.—Стоит тебе только захотеть. Эццелино,—и твоя твердая и умная рука шутя развяжет этот узел. Любовь расточительна, а скупость не знает чести. Влюбленный монах бросит гнусному скряге, каким мы все знаем этого достойного Пиццагверру, все, чего только он потребует. Конечно, Джермано обнажит меч, но ты повелишь вложить его обратно в ножны. Он—твой служилый. Он заскрежещет зубами, но послушается.

— Я спрашиваю себя,—сказал Эццелино,—хорошо ли я сделаю, если избавлю монаха от меча моего Джермано. Должен ли Асторре оставаться в живых? Может ли он жить теперь, когда он, отбросив сандалии монаха, обратил надетый им рыцарский сапог в стоптанную туфлю и променял благочестивый монашеский напев на визг уличной песенки?

Я—насколько от меня это зависит—готов продлить существование этого непостоянного и недостойного; но я бессилен против судьбы. Если Асторре суждено погибнуть от меча Джермано, то я могу приказать опустить поднятый меч, но тот всетаки на него набегит. Я это знаю. Я это испытал.—И он погрузился в тяжелое раздумье.

Асканио робко отвел глаза в сторону. Он знал ужасную историю.

Некогда тиран взял одну крепость и осудил защищавших ее бунтовщиков на плаху. Исполнителем казни был первый попа-

впавший воин. Готовясь принять смертельный удар, встал на колени один красивый мальчик, черты которого обратили на себя внимание тирана. Эццелино показалось, что он узнает черты собственного лица; он стал расспрашивать юношу об его происхождении. Юноша оказался сыном одной женщины, с которою Эццелино в юности был в греховной связи. Он помиловал осужденного. Тот, раздражаемый и преследуемый как собственным любопытством, так и завистливыми уколами тех, чьи сыновья или родственники погибли от кровавого приговора, не успокоился до тех пор, пока не решил загадки оказанной ему милости. Говорят, он грозил своей матери кинжалом и вырвал у нее злую тайну. Открытое таким образом незаконное происхождение отравило его юную душу. Он снова вступил в заговор против тирана, напал на него на улице, и тот же самый воин, случайно первым прибежавший на помощь к Эццелино, сразил его тем же самым мечем.

Эццелино, закрыв голову правою рукою, вспоминал некоторое время о гибели своего сына. Затем он медленно поднял голову и спросил:

— А что же будет с Дианой?

Асканио пожал плечами.—У Дианы несчастная звезда. Она лишилась двух мужей: одного взяла у нее Брента, другого—более привлекательная женщина. А к тому еще—скупой отец! Она пойдет в монастырь. Что же ей еще больше делать?

Тут внизу, на площади, послышался ропот, брань, проклятия, угрозы.—Убейте монаха!—закричали отдельные голоса, но когда они уже готовы были слиться в один общий крик, тогда народный гнев странным образом вдруг заменился удивленным возгласом:—Ах! Ах, как она прекрасна!—Тиран и Асканио могли удобно наблюдать за шествием в окно: сарацины на стройных варварских конях окружали монаха и его молодую жену, которые ехали на мулах. Новая Вичедомини была закрыта покрывалом. Но когда на монаха, ее супруга, поднялась тысяча кулаков, она порывисто бросилась вперед на его защиту. От этого движения любви разорвалось ее покрывало. И не одна только красота ее лица, не одна только ее юность, но все движение души, выразившееся в нем чувство, дыхание жизни, обезоружило и увлекло толпу, как вчера—

монаха, который теперь шествовал, как цветущий триумфатор со своей горячей добычей, без малейшего страха, потому что считал себя неуязвимым и замороженным.

Эццелино почти презрительно посмотрел на это торжество красоты. Он с участием обратил свои взоры на второе шествие, выходившее на площадь из другой улицы. Три знатных всадника, с такою же многочисленною свитою, как Асторре и Антиопа, прокладывали себе путь через толпу. Посередине—снежно-белая голова: полная достоинства фигура старого Пиццагварры. По левую руку от него—Джермано. Этот вчера страшно разгневался, когда немец принес ему весть об измене, и сейчас же бросился, чтобы отомстить, но его настиг сарацин, позвавший его, отца и сестру на утро в башню, к суду наместника. Тогда ему пришлось открыть сестре преступление монаха, о котором он предпочел бы говорить ей не раньше, как отомстив,—и был удивлен ее самообладанием. Диана ехала по правую руку отца, такая же, как всегда, только ниже, чем вчера, опустив голову под тяжестью мыслей.

Толпа, которая минутою раньше с гневным ликованием стала бы приветствовать оскорбленную и требующую справедливого возмездия, теперь, еще ослепленная блеском Антиопы, понявшая измену монаха, и тем приобщившаяся к ней, ограничилась только сострадательными возгласами об удрученной Диане:

— Бедная! Бедняжка! Всегдашняя жертва!

Теперь все пятеро предстали перед тираном, который сидел в зале среди голых стен на стуле, поднятом всего на две ступени над полом. Перед ним стали друг против друга обвинители и обвиняемые: здесь—оба Пиццагварры и несколько в стороне от них крупная фигура Дианы, там, рука об руку, монах и Антиопа, все в глубоком благоговении. Асканио прислонился к высокому стулу тирана, как бы желая сохранить свое беспристрастие и среднее положение между обоими товарищами юности.

— Господа,—начал Эццелино,—я стану рассматривать ваше дело не как дело государственное, где вероломство есть измена а измена—оскорбление величества, а только как дело семейное, которое может быть улажено. Действительно,—Пиццагварра, Вичедомини, Каносса такой же благородной крови, как и я, и только

высокая воля императора сделала меня его правителем в этих его областях. Эццелино, при упоминании о высшей власти, преклонил голову; он не мог ее обнажить, потому что, когда на ней не был надет боевой шлем, он везде являлся по античному образцу с непокрытою головою, даже под ветром и дождем.—Таким образом, двенадцать родов составляют одну большую семью, к которой принадлежу также и я, через одну из моих прабабок. Но как мы растаяли из-за несчастного ослепления и преступного восстания некоторых из нас против высшей светской власти! Если вы мне доверитесь, то станем беречь по мере сил то, что у нас еще остается. В этом смысле я препятствую мщению Пиццагварры против Асторре Вичедомини, хотя по существу и признаю его справедливым. Если вы,—обратился он к трем Пиццагварра,—несогласны с моею снисходительностью, то выслушайте и обдумайте одно: я, Эццелино да Романо,—первый и потому главный виновник. Если бы я в известный день и в известный час не погнал своей лошади вдоль Бренты, то Диана была бы обвенчана сообразно своему званию, а монах продолжал бы бормотать свои молитвы. Если бы я в известный день и в известный час не назначил смотра своим немцам, то мой Джермано не посадил бы так безвременно на коня монаха, и он снял бы с пальца женщины, которую теперь держит за руку, подброшенное ей его злым демоном...

— Добрым демоном!—радостно воскликнул монах.

— ...подброшенное его демоном венчальное кольцо. Поэтому, господа, будьте ко мне благосклонны и помогите мне распутать и привести в порядок это запутанное дело; ведь если бы вы стали настаивать на строгости, то мне пришлось бы прежде всего осудить самого себя!

Эта необычная речь несколько не смутила старого Пиццагварры, и когда тиран обратился к нему:—Благородный господин,—вы являетесь истцом!—он отвечал коротко и скупой:—Государь, Асторре Вичедомини публично и во всем сообразно с обычаями обручился с моею дочерью Дианою. Но затем он нарушил свое обручение, хотя Диана ни в чем перед ним не провинилась. Беспочинно, незаконно, коншунственно. Это—проступок тяжкий и

требует если не крови, пролития которой ты, государь, не желаешь допустить, то тяжелого воздаяния.—Он сделал движение торговца, кладущего гирию за гирию на чашку весов.

— Диана ни в чем не провинилась?—повторил тиран.—Мне думается, она провинилась. Разве перед нею была не сумасшедшая? А Диана бранится и дерется. Это потому, что Диана вспыльчива и неразумна, когда считает себя обиженною в своем праве.

Тут Диана кивнула головою и сказала:

— Ты правду говоришь, Эццелино!

— По этой-то причине,—продолжал тиран,—Асторре и отвратил от нее свое сердце: он увидел варварку.

— Нет, государь,—возразил монах, снова оскорбляя ту, кому изменил:—я и не глядел на Диану, а видел только милое лицо, которое приняло удар, и вся моя внутренность прониклась жалостью.

Тиран пожал плечами.—Ты видишь, Пиццагварра,—усмехнулся он,—монах похож на скромную девицу, которая в первый раз хлебнула крепкого вина и ведет себя соответственно. Но, ведь, мы все—люди трезвые. Посмотрим же, как можно уладить это дела.

Пиццагварра сказал:—Многое, Эццелино, сделал бы я в угоду тебе, ради твоих заслуг перед Падуею. Но можно ли воздать за оскорбление семейной чести чем-либо иным, кроме обнаженного меча?—Так говорил отец Дианы и сделал рукою благородное движение, которое, однако, казалось удивительно похожим на движение раскрытой и протянутой за чем-нибудь руки.

— Давай, Асторре,—сказал наместник двусмысленно: «давай руку!» или: «давай деньги и добро!»

— Государь,—открыто и благородно обратился теперь монах к тирану:—если ты видишь во мне лишенного опоры, даже лишенного разума,—я за это на тебя не сержусь, потому что могучее божество, которое я отрицал, не подозревая об его существовании, отомстило мне и пересилило меня. Еще и теперь оно гонит меня, как буря, набрасывая мне плащ на голову. Если за свое счастье—нищенское слово! жалкий язык!—если за самое высшее в жизни я должен запла-

тить жизнью,—я это понимаю и нахожу цену еще низкою. Но если я смею жить, и жить вот с этою,—я не торгуюсь.—Он блаженно улыбнулся.—Возьми мое достояние, Пиццагвэрра!

— Господа!—властно сказал тиран.—Я беру в опеку этого расточительного юнца. Будем мы сговариваться с тобою, Пиццагвэрра. Ты слышал: я имею широкие полномочия. Что ты думаешь о рудниках Вичедомини?

Почтенный старец молчал, но его близко поставленные один к другому глаза засверкали точно два бриллианта.

— Прибавь еще мои жемчужные промыслы!—воскликнул Асторре, но Асканио, сбегав со ступенек, зажал ему рот.

— Благородный Пиццагвэрра,—стал искушать старика Эццелино:—возьми рудники! Я знаю,—честь твоего дома тебе дороже всего, и ты не продашь ее ни за какую цену, но я знаю также, что ты—добрый падуанец и сделаешь что-нибудь ради успокоения города.

Старик упорно молчал.

— Возьми прииски,—повторил Эццелино, любивший играть словами,—и дай приязнь.

— Рудники и промыслы?—спросил старик, словно не дослышав.

— Рудники, говорю я,—и этого довольно. Они дают много тысяч фунтов. Если ты потребуешь больше, Пиццагвэрра, то я стану думать, что ошибся в твоих чувствах, и ты подвергнешь себя гнусному подозрению, что ты торгуешься за честь.

Так как скряга боялся тирана и не мог получить большего, то он проглотил свою досаду и протянул монаху сухую руку.—Письменное условие, на случай живота и смерти,—сказал он затем, вынул из поясной сумочки перо и счетную книжку, дрожащими пальцами набросал документ «*scagam domino Azzolino*» и дал монаху подписать. Затем поклонился наместнику и просил извинить его, если он, хотя и один из двенадцати, по своей старческой слабости не будет присутствовать на свадьбе монаха.

Джермано, сдерживая свою ярость, стоял рядом с отцом. Теперь он снял одну из своих железных перчаток—и бросил бы ее монаху в лицо, если бы его не остановило властное движение тирана.

— Сын, ты хочешь нарушить общественный мир?—вмешался тут и старый Пиццагвэрра.—Слово, данное мною, заключает в себе и твое слово, и ручается за него. Повинуйся! Под страхом моего проклятия! Под страхом лишения наследства!—угрожал он.

Джермано рассмеялся.—Хлопочите вы о своем грязном торговстве, отец!—презрительно бросил он.—Но даже и ты, Эццелино, властелин Падуи, не можешь мне этого запретить. Это—право мужа и честное дело. Если я откажу в повиновении императору и тебе, его наместнику, отруби мне голову; но ты справедлив и не можешь помешать мне уничтожить этого монаха, который одурачил мою сестру и лицемерно обманул меня. Если измена останется без наказания, то кто же стал бы жить? На земле слишком мало места для монаха и для меня. Это он и сам поймет, когда опять придет в себя.

— Джермано,—повелительно сказал Эццелино.—Я—твой военачальник. Может быть, завтра позовет труба. Ты не принадлежишь себе, ты собственность государства.

Джермано не возражал. Он укрепил перчатку.—В древние времена,—сказал он,—у язычников было божество, которое мстило за нарушение верности. С колокольным звоном это едва ли изменилось. Предаю свое дело на волю этого божества!—Он быстро поднял руку.

— Ну, и хорошо!—улыбнулся Эццелино.—Нынче вечером во дворце Вичедомини будет отпразднована свадьба с масками, по обычаю. Этот праздник даю я, и я приглашаю вас, Джермано и Диана. Без панцыря, Джермано! С коротким мечом!

— Жестокий,—застонал воин.—Пойдемте, отец. Как можете вы дольше выставлять напоказ наш позор?—Он увлек старика за собою.

— А ты, Диана?—спросил Эццелино, увидев перед собою только ее да новобрачных.—Ты не идешь вместе с отцом и братом?

— Если позволишь, государь,—сказала она,—мне хотелось бы сказать одно слово Антиопе Вичедомини.—Она пристально посмотрела мимо монаха, на его жену.

Антиопа, которую Асторре продолжал держать за руку, прини-

мала в суде тирана бездейственное, но глубочайшее участие. То краснела любящая женщина, то бледнела виноватая, открывая под улыбкою и милостивыми словами Эццелино его настоящий, осуждавший ее приговор; то ликовало избежавшее наказания дитя, то давало себя чувствовать первое самосознание молодой госпожи, новой Вичедомини. Теперь, когда Диана заговорила с нею лицом к лицу, она стала бросать на нее робкие и враждебные взгляды.

Диана не смутилась. — Посмотри сюда, Антиопа! — сказала она. — Вот мой палец, — она протянула его, — на нем кольцо твоего супруга. О нем ты не должна забывать! Я не суевернее других, но на твоём месте у меня было бы худо на душе. Ты тяжко согрешила передо мною, но я хочу быть доброй и милостивой. Нынче вечером ты будешь праздновать свадьбу с масками, по обычаю. Я явлюсь к тебе. Подойди с раскаянием и смирением и сними у меня с пальца это кольцо!

Антиопа в испуге вскрикнула и прижалась к своему супругу. Потом, укрывшись в его объятиях, она бурно заговорила: — Мне надо унизиться? Как ты прикажешь, Асторре? Моя честь — твоя честь! Я — не больше, как твоя собственность, биение твоего сердца, твоё дыхание, твоё душа! Если ты захочешь и повелишь, то...

Асторре, нежно успокаивая свою жену, сказал Диане: — Она это сделает! Пусть примирит тебя с нею её смирение! И мое! Будь моею гостью нынче вечером и останься благосклонною к моему дому! — Он обратился к Эццелино, почтительно поблагодарил его за суд и милость, поклонился и увел свою жену. Но на пороге он опять обратился к Диане с вопросом: — А в каком платье явишься ты у нас, чтобы могли мы узнать тебя и оказать тебе честь?

Та презрительно улыбнулась. Снова она обратилась к Антиопе.

— Я явлюсь такою, какою зовусь и какова я есть: нетронутая, непорочная! — гордо сказала она. Потом повторила: — Антиопа, помни же: с раскаянием и смиренно!

— Ты добросовестно это говоришь, Диана? Ты ничего не замышляешь? — усомнился тиран, когда Пиццагвэрра осталась перед ним одна.

— Ничего, — отвечала она, не считая нужным еще подтверждать свои слова.

— А что будет с тобою, Диана? — спросил он.

— Эццелино, — с горечью отвечала она: — перед твоим судейским креслом мой отец пробарышничал честь и месть своей дочери за несколько кусков руды. Я не стою того, чтобы на меня светило солнце. Для таких есть келья. — И она покинула залу.

— Наипревосходнейший дядя! — торжествовал Асканио. — Ты соединяешь браком счастливейшую чету в Падуе и из опасной истории делаешь привлекательную сказку, которою я когда-нибудь, когда стану почтенным старцем, буду забавлять своих внуков и внучек у домашнего очага.

— Идиллический племянник! — посмеялся тиран. Он подошел к окну и посмотрел вниз, на площадь, где толпа все еще стояла с лихорадочным любопытством. Эццелино отдал приказание выпустить призванных им через задние ворота.

— Падуанцы! — громко заговорил он, — и тысячи смолкли, словно пустыня. — Я расследовал дело. Оно было запутано и виновность разделилась. Я простил, потому что я склонен к милости всякий раз, когда не затрагивается величество империи. Нынче вечером Асторре Вичедомини и Антиопа Каносса празднуют свадьбу с масками. Я Эццелино, даю этот праздник и зову всех вас. Кушайте на здоровье, — я хозяин! Шинки и улицы принадлежат вам. Но во дворец Вичедомини пусть никто не является и не смеет угрожать ему, не то — клянусь моей рукою!.. А теперь ступайте спокойно по домам, если вы меня любите.

Кверху поднялся неопределенный говор, понемногу ослабел и затих.

— Как они тебя любят! — пошутил Асканио.

Данте перевел дух. Потом быстро, в коротких словах, закончил свой рассказ.

Покончив свой суд, тиран около полудня поехал в один из своих замков, где у него шла постройка. Он хотел вернуться в Падую своевременно, чтобы посмотреть, как Антиопа станет унижаться перед Дианою.

Но, вопреки ожиданию и своему желанию, он задержался

в замке, удаленном от города на несколько миль. Туда прискакал за ним покрытый пылью сарадин и передал ему собственноручное письмо от императора, требовавшее немедленного ответа. Дело было значительное. Эццелино недавно в ночное время напал на один императорский замок в Феррарской области: в лице управителя этого замка, сицилианца, его пронизательный взор заподозрил измену; он взял замок и заковал в цепи двусмысленного имперского управителя. Теперь император требовал отчета в этом умном, но дерзком вмешательстве в сферу его власти. Оперевшись напряженным челом на левую руку, Эццелино правой рукою водил по пергаменту, и перо увлекало его от первого ко второму, а от второго—к третьему. Он основательно побеседовал с августейшим тестем о возможностях и целях предстоявшего или, по крайней мере, замышляемого похода. Таким образом, для него исчезли часы и мера времени. Только опять севши на коня, он увидел по знакомому положению созвездий—они блистали теперь с полной ясностью,—что он едва ли доберется до Падуи раньше полуночи. Оставив свою свиту далеко за собою, быстро, как привидение, полетел он ночью по равнине. Но он выбирал дорогу и осторожно объезжал какую-нибудь неглубокую канаву, через которую смелый всадник в другое время шутя перескочил бы: он не давал судьбе угрожать его поездке и свалить его жеребца. Он поглощал пространство на своем расстилавшемся скакуне, но огни Падуи все еще не показывались.

Там, перед широкою городской твердынею Вичедомини, черневшею в быстро опускавшихся сумерках, собрался пьяный народ. На небольшой площади сцены разгула сменялись шутовскими. В теснившейся толпе забродило дикое, гневное веселье, вакхическое опьянение, к которому веселая молодежь университета примешивала шутки и насмешки.

Вот послышалась тягучая песня, вроде церковной, какие обыкновенно поют наши поселяне. Это было шествие крестьян, старых и молодых, из одной из принадлежавших Вичедомини многочисленных деревень. Этот бедный народ, который, по отдаленности ничего не знал о выходе монаха в мир, а только слышал в неопределенных выражениях про свадьбу наследника, отправился

в путь на рассвете с обычными свадебными подарками и теперь достиг своей цели после долгого пути по пыльной дороге. Он держался и теснился кучкой, медленно продвигаясь вперед по волнующейся площади. Здесь виден был кудрявый мальчик, почти еще ребенок, с золотистым сотом меда, там—гордая девушка с блестящим, украшенным лентами ягненком на заботливых руках. Все они горячо желали видеть своего нового господина.

Теперь они постепенно стали скрываться под сводом ворот, где справа и слева, в борьбе с последними лучами дня, пылали зажженные факелы в железных кольцах. В воротах Асканио, как распорядитель праздника, обычно такой приветливый, отдавал приказания крикливым и раздраженным голосом.

Своеволие народа росло с часу на час, и когда, наконец, прибыли знатные маски, их стали толкать, вырывать у прислуги факелы и растаптывать их на каменных плитах, благородные женщины были оттеснены от провожавших мужчин и над ними непристойно издевались,—и все это проходило даром, между тем как в обыкновенный вечер такая дерзость была бы немедленно наказана ударом меча.

Недалеко от ворот дворца высокая женщина в костюме Дианы отбивалась от все теснее и теснее смыкавшегося кружка клириков и учеников самого низшего разряда. Какой-то худошавый человек блистал своими мифологическими познаниями.—Ты не Диана,—бесстыдно гнул он,—ты—другая! Я тебя узнал! Здесь сидит твой голубок!—И он указал на серебряный полумесяц над челом богини. Но она не обошлась с ним ласково, как Афродита, а разгневалась, как Артемида.—Прочь, свиньи!—бранилась она.—Я чистая богиня и ненавижу клириков!—Гурр, гурр,—заворковал верзила и стал ощупывать ее костлявыми руками, но сейчас же послышался пронзительный крик: несчастный с визгом поднял руку и показал свою рану. Рука была проколота насквозь и истекала кровью: разгневанная девушка достала висевший у нее за спиною колчан,—взятый ею охотничий колчан ее брата,—и одною из остро отточенных стрел наказала мерзкую руку.

Эта быстрая сцена скоро сменилась другой, столь же дикой, хотя и бескровной. Музыка, состоявшая из сплетения всевозмож-

ных противоречий и резких диссонансов, похожая на бешеную брань осужденных в аду, пролагала себе путь сквозь оглушенную и восхищенную толпу. Самый низкий и дурной народ — карманные воры, сводники, девки, нищие — дудили, царапали, били в литавры, свистали, квакали, блеяли и хрюкали спереди и сзади странной пары: большая одичалая женщина со следами бывшей красоты шла рука об руку с пьяным монахом в изорванной рясе. Это был брат Серанион. Подстрекаемый примером Асторре, он ночью убежал из кельи и уже целую неделю валялся в уличной грязи. Эта орда остановилась перед освещенным внутренним балконом, выдававшимся из темной стены дворца, и женщина резким голосом, с манерами публичного глашатая, закричала: — Да будет всем известно и ведомо, господа: через короткое время монах Асторре будет спать рядом со своею супругою Антипою! — Это объявление вызвало неудержимый смех.

Тут из узкого сводчатого окошка балкона высунулся звенящий погремушками колпак Гоччолы и на улицу выглянуло грустное лицо.

— Добрая женщина, замолчи! — плаксиво сказал шут, поглядев на площадь. — Ты обижаешь мое воспитание и оскорбляешь мою стыдливость!

— Добрый шут, — отвечала бесстыдница: — не обижайся! Что делают знатные, то мы называем по имени. Мы наклеиваем ярлыки на аптечные банки!

— Клянусь моими смертными грехами, — весело кричал Серанион: — именно это мы и делаем! До полуночи нам надо развозить и громко оповестить о свадьбе моего братца на всех площадях Падуи. Вперед, марш! Гоп-гоп! — И он поднял из висящих лохмотьев запачканной рясы голую ногу в сандалиии.

Эта шутка, которой неистово рукоплескала толпа, разбилась о крутые стены мрачного замка, которого окна и покои большую частью выходили во внутренние дворы.

В одной тихой, уединенной комнате Зотта и другая служанка одевали и украшали Антиопу, в то время как Асторре встречал на верхней площадке лестницы бесконечную вереницу гостей. Антиопа смотрела в собственные испуганные глаза, глядевшие на

нее из серебряного зеркала, которое держала в голых дерзких руках горничная с завистливым лицом.

— Зотта, — прошептала молодая женщина служанке, заплетавшей ей волосы: — ты похожа на меня и одного со мною роста; если ты меня любишь, поменяйся со мною платьем! Поди туда и сними у нее кольцо с пальца! С раскаянием и смиренно! Склонись, скрестивши руки, перед Пиццагвэррой, как последняя рабыня! Упав на колени! Валайся по полу! Унизься совсем, только возьми у нее кольцо! Я награжу по княжески! — Увидев, что Зотта не решается, госпожа стала умолять ее: — Возьми и оставь себе все, что я ношу драгоценного! — Этому искушению тщеславная Зотта не могла противиться.

Асторре, на минуту оторвавшись от обязанностей хозяина дома, чтобы заглянуть к своей возлюбленной, нашел в комнате двух передевавшихся женщин. Он догадался. — Нет, Антиопа, — запретил он: — Ты не смеешь так ускользать. Слово надо сдержать. Я требую этого от твоей любви. Я тебе это приказываю! — В то время, как он поцелует в любимую шейку обращал эту строгую речь в ласку, его увлек прибежавший Асканио, который сообщил, что его крестьяне желают без замедления вручить ему свои подарки, чтобы пуститься в обратный путь домой в ночной прохладе. Антиопа, обернувшись, чтобы ответить супругу поцелует же, поцеловала воздух.

Теперь она быстро закончила одевание. Даже легкомысленная Зотта испугалась бледности отражавшегося в зеркале лица. В нем не было ничего живого, кроме страха в глазах и блеска стиснутых маленьких зубов. На белом лбу выступала красная полоса — след удара Дианы.

Покончив с нарядом, жена Асторре встала с бьющимся пульсом и стучащими висками, вышла из комнаты и быстро пошла по залам, разыскивая Диану. Ее гнало мужество страха. Ей хотелось как можно скорее радостно с возвращенным кольцом пойти на встречу мужу, которого она хотела избавить от зрелища своего покаяния.

Вскре она различила среди масок высокую богиню охоты, узнала в ней неприятельницу и, дрожа и лепеча гневные слова,

пошла следом за нею. Та шла мерными шагами, вышла из главного зала и милостиво удалилась в одну из слабо освещенных и невысоких боковых комнат. Казалось, богиня требовала не публичного унижения, а сердечного смирения.

В полумраке Антиопа склонилась перед Дианой. — Отдай мне кольцо! — с усилием сказала она и коснулась сильного пальца.

— Смиренно и с раскаянием? — спросила Диана.

— Да как же иначе, госпожа? — лихорадочно говорила несчастная. — Но ты играешь со мною, жестокая! Ты сгибаешь палец, теперь ты совсем согнула его!

Представилось ли так Антиопе? Действительно ли Диана затеяла такую игру? Как мало значит согнутый палец! Кан-Гранде, ты обвинял меня в несправедливости. Я не решаю вопроса.

Достаточно сказать, что Вичедомини подняла свое гибкое тело и воскликнула, устремив свои пламенные глаза в строгие очи Пиццагварры: — Ты издеваешься над женщиною, девушка? — Затем она снова согнулась и пыталась обеими руками сорвать с пальца кольцо, — и вдруг ее поразила молния. Оставив ей левую руку, наказующая Диана правой рукою вынула из колчана стрелу и пронзила ею Антиопу. Та упала сперва на левую, потом на правую руку, повернулась и легла на бок, со стрелою, прошедшею до затылка.

Монах, распростившись со своими деревенскими гостями, поспешил назад, стал нетерпеливо искать свою жену и нашел — бездыханную. С заглушенным криком бросился он рядом с нею на пол и вынул у нее из шеи стрелу. Брызнула кровь. Асторре потерял сознание.

Когда он пришел в себя, перед ним стоял, скрестив руки, Джермано. — Ты убийца? — спросил монах.

— Я не убиваю женщин, — печально ответил тот. — Это — моя сестра, искавшая своего права.

Асторре ощупью нашел стрелу. Вскочив и размахивая длинным оружием с окровавленным острием, как клинком, он в слепой ярости бросился на своего товарища. Воин слегка вздрогнул перед этим бледным, одетым в черное привидением, с волосами, вставшими дыбом, и стрелою в руке.

Он отступил на один шаг. Обнажив короткий меч, который он взял сегодня с собою, не надев панцыря и удерживая им стрелу, он с состраданием сказал: — Вернись в свой монастырь, Асторре, которого тебе никогда не следовало покидать!

Тут он вдруг увидел тирана, который, в сопровождении всех участников праздника, бросившихся встречать давно ожидаемого повелителя у самых ворот, теперь входил в дверь прямо против него.

Эццелино протянул правую руку, повелительно призывая к миру, и Джермано почтительно опустил оружие перед военачальником. Этим мгновением воспользовался бешеный монах и вонзил стрелу в грудь Джермано, смотревшему на Эццелино. Но и сам был поражен на смерть снова с быстротою молнии поднявшимся мечем воина.

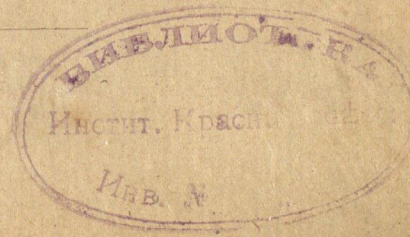
Джермано упал молча. Монах, поддерживаемый Асканио, сделал, шатаясь, несколько шагов к своей жене и, опущенный на пол своим другом, лег с нею рядом, уста к устам.

Свадебные гости обступили новобрачных. Эццелино смотрел на зрелище смерти. Потом он встал на одно колено и закрыл глаза сперва Антиопе, потом Асторре. В тишине в отворенное окно донеслись неблагозвучные голоса. Из мрака послышалось: — Теперь монах Асторре спит рядом со своей супругой Антиопой! — И отдаленный смех.

Данте встал. — Я заплатил за свое место у огня, — сказал он, — теперь пойду искать счастливого сна. Господь мира да сохранит нас всех! — Он повернулся и вышел в дверь, растворенную перед ним нажег. Глаза всех следили за ним, когда он медленно поднимался по освещенной факелами лестнице.

Перевел с немецкого

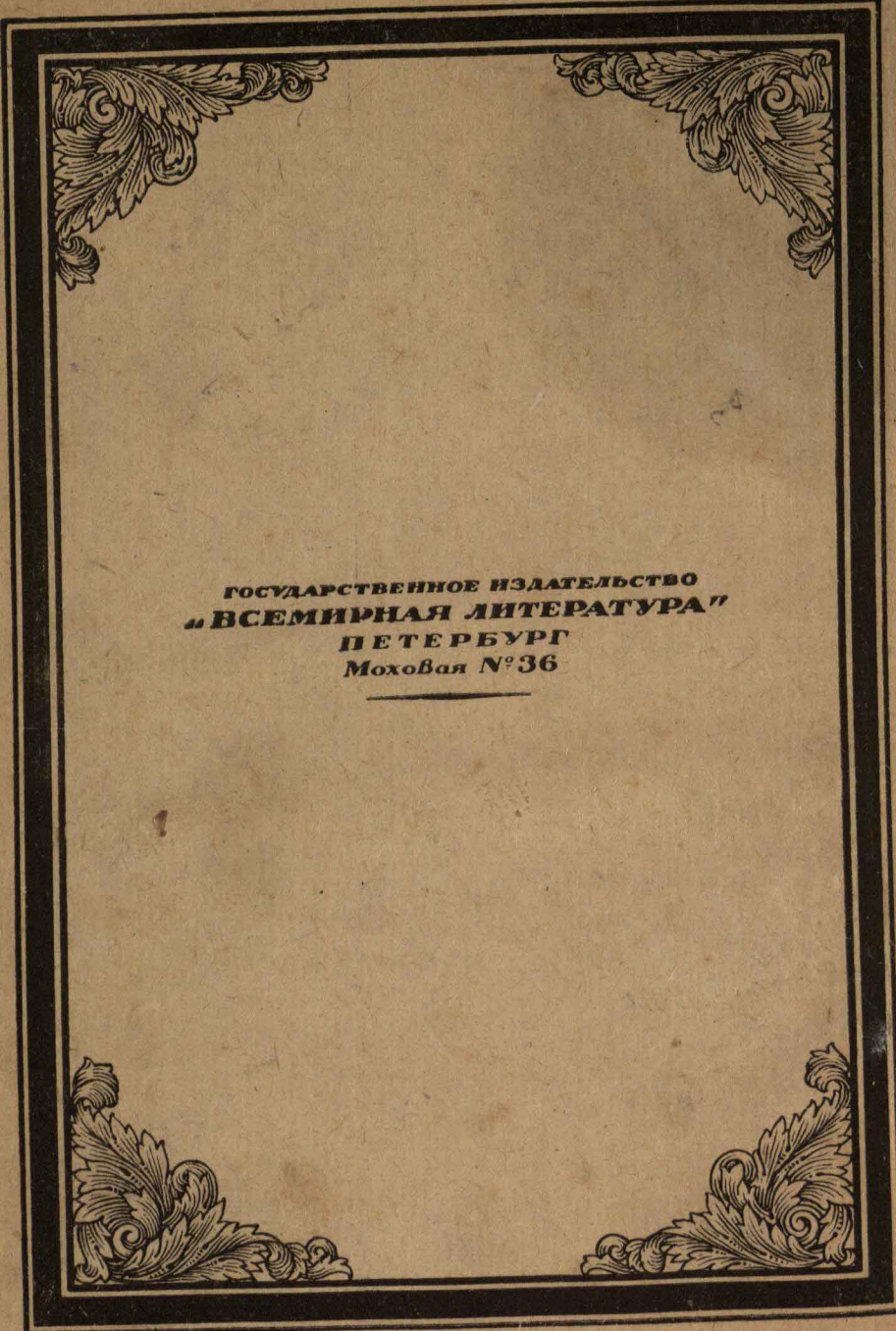
П. О. Морозов.



СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Предисловие <i>А. Г. Горнфельда</i>	7
Амулет	27
Выстрел с церковной кафедры	34
— Плавт в женском монастыре	33
Паж Густава Адольфа	60
Страдания одного мальчика	106
— Женильба монаха	266

62



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ПЕТЕРБУРГ
Моховая №36